Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ЦЕНТРАРХИВ СССР и РСФСР

Krasnïĭ arkiv

КРАСНЫЙ АРХИВ

ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ТОМ ПЕРВЫЙ
(ВОСЬМИДЕСЯТЫЙ)

1937

ГОСУДАРСТВЕННОЕ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА 1937

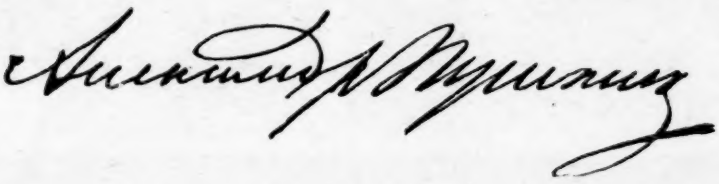
1886 — 1937

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЕ СООБЩЕНИЕ

18 февраля в 17 часов 30 минут в Москве, у себя на квартире в Кремле, от паралича сердца скоропостижно скончался Народный Комиссар Тяжелой Промышленности, член Политбюро Центрального Комитета ВКП(большевиков)

товарищ Григорий Константинович

ОРДЖОНИКИДЗЕ



1837–1937

А. С. ПУШКИН

Портрет маслом В. Тропинина (1827 г.).
Третьяковская галлерея, Москва

UNIV. OF MICH.

Александр Сергеевич Пушкин

Со дня гибели Пушкина прошло сто лет. Эта дата приковывает внимание всех народов Советского Союза, всего культурного мира к памяти великого поэта, к его творчеству.

Пушкин с торжеством выдержал тяжелое испытание времени. Множество имен, славных при жизни, отброшено в небытие. Множество людей, гордившихся своими делами и подвигами,— навсегда забыто потомками.

Но Пушкин входит в нашу жизнь как современник. Он помогает культурному росту отдельного человека и целых народов нашей страны. Он приносит в нашу жизнь ритм, звучание, энергию и бодрость своих стихов. Он заражает нас сочувствием ко всему прекрасному, героическому, мужественному; отвращением — ко всему низменному, пошлому, унижающему достоинство, ум и сердце человека.

Постановление ЦИК СССР об учреждении Всесоюзного пушкинского комитета в связи со столетием со дня смерти А. С. Пушкина (16 декабря 1935 г.) определяет его историческую роль:

«Великий русский поэт, создатель русского литературного языка, родоначальник новой русской литературы, обогативший человечество бессмертными произведениями художественного слова».

Трудно найти другого поэта и писателя, который выполнил бы подобную гигантскую задачу.

Публикуемые в настоящем номере «Красного архива» материалы освещают преимущественно юношеский период жизни Пушкина,— время его пребывания в лицее. Этот период имел огромное значение для поэта. В эти годы формировалось мировоззрение А. С. Пушкина. В эти годы в стенах лицея сформировался и тот дружеский союз, который включал в себя, наряду с Пушкиным, передовых политических деятелей его времени.

Дружба с Пущиным, с Кюхельбекером и их единомышленниками прошла через всю жизнь Пушкина, как явление исключительное по крепости, силе и благотворности влияния.

Стихи Пушкина к лицейским годовщинам, а также посвященные декабристам— «Послание в Сибирь», «Арион»,— увековечили эту дружбу.

Незабываемы такие эпизоды жизни Пушкина, как приезд Пущина в село Михайловское, как встреча в Кюхельбекером, под конвоем жандармов направлявшимся в Сибирь.

В лицее Пушкин получил возможность соприкоснуться с передовыми идеями его времени, воспринять идеи французских писателей и философов XVIII столетия.

Укрепляли и расширяли мировоззрение Пушкина беседы с Чаадаевым — просвещеннейшим человеком своего века.

Пушкин рано осознает свое поэтическое призвание: он становится агитатором против деспотизма, против крепостного права («Вольность», «Деревня»), против ханжеского благочестия.

Александр I быстро понял опасность, которую представлял поэт необычайной силы, направлявший свои удары против его трона. С 20-го года Пушкин подвергается опале и изгнанию. Но пребывание на юге не отрывает его от политической жизни: он вращается среди будущих декабристов, он дышит отголосками греческой революции.

В 1825 г. умирает Александр I.

Восстание декабристов раздавлено. Николай I вызывает Пушкина в Петербург, возвращает из изгнания, берет на себя цензуру его произведений.

Нельзя правильно оценить все творчество Пушкина, не поняв смысла его мнимого примирения с царем, не поняв того перелома, который произошел с поэтом в 1825—1826 гг.

К 1825 г. Пушкин переживает страшное разочарование. Он видит крушение революции в ряде европейских стран.

Он пишет стихотворение «Сеятель», где выражается его разочарование,— «Свободы сеятель пустынный, я вышел рано, до звезды»...

Насытесь, мирные народы!
Вас не пробудит чести глас...

Поражение декабристов показало поэту, что и в России еще не выросла сила, которая могла бы поднять народные массы на победоносную борьбу против самодержавия.

Пушкин понял, что ему не скоро удастся или вообще не удастся увидеть осуществление своих идеалов — свободы и законности.

Но он до конца дней остался демократом, не только любящим народ, но и понимающим, что народ является единственной движущей силой истории.

В «Борисе Годунове» он вкладывает в уста своего предка, представителя «мятежного рода Пушкиных», слова:

Но знаешь ли, чем мы сильны, Басманов?
Не войском, нет, не польскою помогой,
А мнением; да! мнением народным.

Все творчество Пушкина было проникнуто одним стремлением — помочь народу воспринять величайшие идеи, наиболее совершенные понятия, до которых дошла человеческая мысль. В своем творчестве Пушкин сочетал идеи французской философии XVIII века и психологию, лучшие мечты, поэзию русского народа.

Эта высокая задача была определена Пушкиным еще в юношеские годы:

Пока свободою горим,
Пока сердца для чести живы,
Мой друг, отчизне посвятим
Души прекрасные порывы.

(«К Чаадаеву» 1818 г.)

Крушение декабризма вызвало мучительное раздумье Пушкина. На кого опираться в героической борьбе за просвещение народа? Где искать помощи и поддержки?

Его друзья и единомышленники в изгнании,
«Во глубине Сибирских руд...»

Погибли кормщик и пловец—
Лишь я, таинственный певец,
На берег выброшен грозою...»

— писал Пушкин в стихотворении «Арион» (1827 г.).

«Милость» царя возвратила Пушкину мнимую свободу. Он надеется творить в условиях царской России Николая I. Он пишет:

В надежде славы и добра
Гляжу вперед я без боязни...

(1827 г.)

Новое разочарование ожидало поэта. Высочайший цензор запрещает произведения Пушкина. Вскоре его обязуют представлять свои труды обычной цензуре. Он не может выехать из города без разрешения шефа жандармов. Неусыпный взгляд тайных агентов следит за каждым его шагом, проникает в его переписку. Стремление увидеть культурный мир, передовые страны — остается несбыточной мечтой. Царские рогатки не выпускают Пушкина из страны военных поселений, страны жандармов, мертвых пространств грязи или снега, по которым кибитки и сани везут поэта из Петербурга в Москву, из Москвы в Болдино. Поездка на Кавказ, в действующую армию, считается преступлением. Женитьба Пушкина отягощает его положение: наряды жены, долги, оскорбительное в возрасте Пушкина звание камер-юнкера, обязывающее его посещать все обеды, вечера, балы, обедни; наконец, гнусное поведение монархиста эмигранта Дантеса, которому русское самодержавие милостиво предложило звание гвардейского офицера, почет, деньги; клевета, обошедшая петербургское общество,— так смыкалась вокруг Пушкина петля, наброшенная самодержавием на шею поэта.

Оскорбляемый критиками, твердившими об упадке таланта Пушкина в момент наибольшего раскрытия его гения, он продолжает борьбу против деспотизма, угнетающего народ.

Замечательно одно из последних его стихотворений «Мирская власть», написанное 5 апреля 1836 г.

— Когда умирал Иисус, по бокам его креста стояли две женщины, погруженные в «неизмеримую печаль». Теперь на их место поставлено

Как будто у крыльца правителя градского
с ружьем и кивером два грозных часовых...

Стихотворение оканчивают язвительные строки:

Иль опасаетесь, чтоб чернь не оскорбила
Того, чья казнь весь род Адамов искупила,
И чтоб не потеснить гуляющих господ,
Пускать не велено сюда простой народ!

Пушкин до последнего вздоха продолжал творить, видя перед собой великую цель — просвещение народа. В его творчестве идея свободы сочеталась с идеей великой родины.

Свобода немыслима вне страны, где она осуществляется. И родина не может стать великой, пока она не свободна.

Отношение Пушкина к своему отечеству было сложно и противоречиво. Он ненавидит правительство, светское общество, его лицемерие, лакейство, продажность, фальшивую религиозность.

«Что мне в России делать?»

«Пошлость и гнусность наших обоих столиц одна и та же».

«Чорт надоумил меня родиться в России с душою и талантом» (Письма).

В «Евгении Онегине» он говорит о своей мечте — «покинуть скучный брег

Мне неприязненной стихии,
И средь полуденных зыбей,
Под небом Африки моей,
Вздыхать о сумрачной России,
Где я страдал, где я любил,
Где сердце я похоронил».

Но сердце его принадлежало России.

В письме Чаадаеву Пушкин говорит: «...что касается нашего исторического ничтожества, я положительно не могу с вами согласиться...». Он отмечает в удельных войнах «жизнь кипучей отваги и бесцельной и недозрелой деятельности,

которая характеризует молодость всех народов», «пробуждение России, развитие ее могущества, ход к единству», «Петра Великого, который один — целая всемирная история...» (октябрь 1836 г.).

И в то же время он признает, что «наша общественная жизнь весьма печальна. Это отсутствие общественного мнения, это равнодушие ко всякому долгу, к справедливости и правде, это циническое презрение к мысли и к человеческому достоинству действительно приводят в отчаяние».

Разрешение этим противоречиям Пушкин пытается дать в своей гениальной поэме «Медный всадник». Евгений противопоставляет благу государства свое личное счастье, свои интересы. Потеряв невесту, он грозит Медному всаднику. И, взглянув в металлические глаза ужасной, беспощадной государственной силы, он убегает от призрака этой власти и впадает в безумие.

Казалось бы, эта поэма выражает отчаяние и разочарование поэта в своих юношеских иллюзиях. Он с горечью должен был вспоминать слова своего лицейского наставника Куницына о праве личности расторгать договор с верховной властью.

Разве история с Евгением не напоминала жизненного пути самого Пушкина, его попытки освободиться от пут и цепей режима, в тисках которого он не раз говорил: «не дай мне бог сойти с ума...»

Но поэт знал, что безумен не он, что неразумен тот строй, действительность которого он должен был ощущать всеми тяготами, унижениями и горестями своей жизни. И в «Медном всаднике» он сильно и уверенно ставит вопрос о разумности и действительности государства, о государстве и личности.

Николай I не допустил напечатания поэмы.

Самая постановка вопроса о праве личности оспаривать мудрость и незыблемость верховной самодержавной власти представляла для него губительную угрозу. Не Евгения — жалкого безумца — боялся Николай. Он боялся тех, кто мог прийти вслед за Евгением и задать истукану самодержавия тот же вопрос от имени крепостных рабов, от имени униженного народа, от имени томящихся «во глубине Сибирских руд».

Только строй социализма разрешает поставленную Пушкиным проблему, разрешает вопрос о гармоничном развитии личности и общества.

И только в наши дни — побед социализма и Сталинской Конституции, в наши дни, когда народы Советского Союза глубоко ощутили величие и силу своей родины, — становятся понятными мучения и поиски гениального поэта.

Мы знаем, что в ходе исторического развития рост российского государства был явлением прогрессивным. Этот рост государства создавал ту территориальную базу, на которой развернулась будущая революция.

Мы знаем также, что развитие российского государства сопровождалось порабощением народов, угнетением трудовых масс.

Народы этого государства испытывали гнет самодержавия и всей своры царских жандармов и чиновников. Но, с другой стороны, они испытывали благотворное влияние передовой мысли России и революционных идей.

Нельзя забывать слов Энгельса в его письме к Марксу (от 23 мая 1851 г.):

Россия ...«по сравнению с Востоком, действительно прогрессивна. Русское господство со всей его пошлостью, со всей его славянской грязью, было цивилизующим для Черного и Каспийского морей и для Центральной Азии, для башкир и татар.

Россия по сравнению с Польшей, лежебоко-шляхетской, по самой природе своей восприняла в себя гораздо больше элементов просвещения и особенно промышленности» [1].

Товарищ Сталин в статье «Марксизм и национальный вопрос», говорит, что «В то время, как на Западе нации развились в государства, на Востоке сложились национальные государства, государства, состоящие из нескольких национальностей». «В России роль объединителя национальностей взяли на себя вели-

[1] Маркс и Энгельс, Письма. Партиздат, 1932 г. стр. 52.

короссы, имевшие во главе исторически сложившуюся сильную и организованную дворянскую военную бюрократию» [1].

Развивающееся под влиянием невыносимых условий жизни и труда недовольство, негодование трудящихся масс, находящее свое высшее выражение в сознательной борьбе пролетариата под руководством партии большевиков, определило размах и масштаб социалистической революции.

Пушкин предчувствовал будущее своего народа. Он мучительно переживал его порабощение, угнетение свободной мысли деспотическим государством. Но он не терял мужества.

Своим творчеством он помогал культурному росту не только русского народа, но и всех народов России.

Но перед Пушкиным стояла еще одна задача — в его время русский народ не имел совершенного литературного языка. Первые опыты создания такого языка были сделаны Ломоносовым. Пушкину надлежало их развить и усовершенствовать. И эту работу, которую в других странах выполняли поколения писателей, Пушкин совершает в течение двух десятилетий.

В статье «Марксизм и национальный вопрос» товарищ Сталин указывает признаки нации. Это — «исторически сложившаяся устойчивая общность языка, территории, экономической жизни и психического склада, проявляющегося в общности культуры» [2].

Во времена Пушкина «общество» стыдилось родного языка, предпочитая ему французский или английский; оно рабски подражало культуре Западной Европы.

С. Венгеров в речи, сказанной в Москве 22 октября 1911 г. на праздновании столетнего юбилея Общества любителей российской словесности, говорил:

«Сто лет тому назад, почти в самый год основания Общества любителей российской словесности, в Москву приезжала m-me de Stael и, ознакомившись с московскими писательскими кружками, пришла к тому заключению, что «quelques gentilhommes russes s'occupent de la litterature» [3],— это и была литература того времени» [4].

Умирая, Пушкин оставлял русскому народу доведенный им до высокого совершенства русский язык и образцы художественного творчества, равные лучшим образцам мировой литературы. Он успешно соперничал в поэзии с Данте, Петраркой, Гете, Гюго, Байроном, в драме — с Шекспиром, в прозе — со Стендалем, Мериме, Вальтер-Скоттом.

В его произведениях литературный русский язык приобретает необыкновенную силу. Он изображает глубину и характер чувств самых разнообразных, от убийственного гнева до покоряющей нежности. Он становится выразителен, точен, энергичен, предельно ясен и, если дозволено применить этот эпитет по отношению к языку, совершенно правдив.

Но Пушкин выполняет великую культурную миссию не только по отношению к русскому народу. В многонациональном Советском Союзе русский пролетариат, русская наука, искусство, литература играют роль цемента, об'единителя.

Русская культура помогает росту культур всех братских народностей, вызывает к жизни новые языки и литературы; под ее влиянием вырастают ученые, работники искусства прежде угнетенных национальностей. Творчество Пушкина помогает культурному росту всех народов Советского Союза.

Пушкин обладал одним качеством, свойственным всем передовым русским людям даже той далекой эпохи,— чувством интернационализма. Пушкин любит все народы своей родины, он посвящает дружественные строки горцам Кавказа.

---

[1] И. Сталин, Марксизм и национальный вопрос, Партиздат ЦК ВКП(б), 1934 г., стр. 10.

[2] Там же, стр. 6.

[3] «Несколько господ русских развлекаются литературой».

[4] С. Венгеров, В чем очарование русской литературы XIX века, изд-во «Прометей». СПБ 1912 г.

калмычке, украинцам, полякам. Русского генерала, «героя» покорения горцев, он называет «бичем Кавказа». В «Делибаше» он изображает стычку казака с турецким кавалеристом, как поединок двух рыцарей, двух героев. В эпиграмме на Булгарина он говорит:

Не то беда, что ты поляк:
Костюшко лях, Мицкевич лях!
Пожалуй, будь себе татарин...

Творчество Пушкина ценно для нас не только совершенством его языка, не только его чувством интернационализма, не только его ненавистью к деспотизму; Пушкин сумел гениально понять и отразить дух его эпохи, психологию движущих классов, сумел подняться над этой психологией, показывая редкий пример исторического предчувствования. К нему в полной мере относятся слова Ф. Энгельса о Гете и Шиллере:

«Каждое замечательное произведение этой эпохи проникнуто духом протеста, возмущения против всего тогдашнего немецкого общества» [1].

Пушкин понимает прогрессивную роль капитализма, он мечтает увидеть железные дороги, он устает от страны «грязи, чумы и пожаров». Но он исключительно глубоко проникает в сущность стремлений и целей буржуазного общества. Ему открыта эгоистическая, себялюбивая, жадная сила, двигающая этим обществом,— жажда прибыли, накопления. Эта сила подчиняет человека другому человеку, привязывает его к рабскому труду, искажает естественные отношения между людьми и вещами. Этому направлению духа эпохи соответствуют ложные страсти, пустые чувства, которые могут доводить людей до убийства, преступления, но которые не преследуют благородных целей, не руководятся стремлениями подлинно человеческими. Целый ряд образов Пушкина характеризует эту психологию буржуазного мира. Таковы скупой рыцарь, Сальери, Герман, Дон-Гуан. Но и тот класс, из среды которого вышел Пушкин,— класс дворянства, был разоблачен, подвергнут беспощадному осмеянию. Одновременно с Грибоедовым и Гоголем, Пушкин заклеймил эгоизм, тупость, жестокость этого класса, начиная от захолустных деревенских помещиков и кончая великосветской знатью. В «Евгении Онегине» Пушкин нарисовал поразительную реалистическую картину класса, жившего за счет крепостных рабов и почитавшего себя хозяином их души и тела. В письме А. И. Тургеневу (1 декабря 1823 г.) Пушкин говорит: «Пишу новую поэму Евгений Онегин, где захлебываюсь желчью».

В то же время Пушкин жадно ищет подлинного героя, ищет проявлений чувств, искренних и благородных. Он находит их в борьбе против социальной несправедливости. Он дает образы Кирджали, Дубровского, Пугачева. Степана Разина Пушкин называет «единственным поэтическим лицом русской истории».

Мы знаем, что многие представители дворянства, предвидя гибель своего класса, уходили в прошлое, там черпали утешение, там находили смысл жизни. Так поступали многие французские и немецкие романтики в своих произведениях, посвященный, светское общество — пустое, себялюбивое, полное «холопьев добромен». Но он и здесь раскрывает классовый смысл борьбы крестьян и горожан против рыцарей; он говорит через своего героя Франца:

«Разве мещанин не достоин дышать одним воздухом с дворянином? Разве не все мы произошли от Адама?»

Видя современников острым глазом реалиста — народ порабощенный и непросвещенный, светское общество — пустое, себялюбивое, полное «холопьев добровольных»,— легко было притти к отчаянию и безнадежности.

В упомянутой выше статье Ф. Энгельса говорится о Германии эпохи Гете и Шиллера: «Даже самые лучшие и самые сильные умы народа потеряли всякую надежду на будущее своей страны» [2].

---

[1] Ф. Энгельс, Положение Германии. Маркс и Энгельс, Сочинения, т. V, ИМЭЛ, Госиздат, 1929 г., стр. 7.

[2] Там же.

Этой надежды никогда не терял Пушкин. Затравленный сворой царских слуг, не видя ясной перспективы исторического развития, он смело смотрит в глаза ужасной действительности. Он подымается над грозящим ему ужасом — гибелью всех надежд и упований. Вспомним, что и Татьяна «тайну прелесть находила и в самом ужасе...», а торжествующая песнь «Пира во время чумы» утверждает:

Есть упоение в бою
И бездны мрачной на краю...
Все, все, что гибелью грозит,
Для сердца смертного таит
Неиз'яснимы наслажденья —
Бессмертья, может быть, залог!
И счастлив тот, кто средь волнения
Их обретать и ведать мог.

Даже слова Пушкина о превосходстве русского крепостного крестьянина над английским рабочим вытекают из его стремления утвердить достоинство, значительность и будущее русского народа.

Это мужество Пушкин не только выражает в своем творчестве,— он проносит его через свою жизнь, через свои поступки, от юношеских лет и до предсмертного стона, который он скрывает от жены, говоря:

«И смешно же, чтобы этот вздор меня пересилил. Не хочу!»

Это мужество сочетается с огромным сочувствием ко всем угнетенным условиями жизни. Пушкин неоднократно помогает нуждающимся, пострадавшим от наводнения и заботится, чтобы эта помощь осталась втайне. Он просит царя помочь вдове декабриста Раевского, рискуя навлечь на себя немилость. Он заботится о каждом молодом писателе, проявившем проблеск таланта. Без капли самомнения и самовозвеличения он стремится сплотить вокруг себя современных ему писателей. «Мне кажется, что если все мы будем в кучке, то литература не может не согреться и чего-нибудь да не произвести». (Письмо П. Плетневу, 11 апреля 1831 г.)

Естественно то высокое значение, которое Пушкин придавал своей литературной деятельности. Он требовал от поэта мощного напряжения его ума, высокого биения сердца, искренних и сильных чувств.

Служенье муз не терпит суеты.
Прекрасное должно быть величаво.

Через всю жизнь он действенно пронес завет, воспринятый на лицейской скамье:

«Чтоб хорошо писать, надобно прежде хорошо мыслить... Кто желает сего достигнуть, тому надобно сперва иметь природную крепость духа и благородство сердца».

В истории русской литературы Пушкин — явление единственное, исключительное и не только по красоте и совершенству своего стиха и речи, не только потому, что «у него художественность составляет не одну оболочку, а зерно и оболочку вместе» (Чернышевский).

Его исключительность определяется, наряду с гениальным художественным совершенством, мужеством его взгляда на мир, верой в будущее русского народа. Сегодня, когда Советский Союз принял Сталинский Основной Закон, вера Пушкина в творческие силы народа кажется нам особо значительной и близкой. Он видел страдания, нищету, невежество, грязь, в которых томился русский народ. Но Пушкин деятельно боролся за то, чтобы вывести народ из этого состояния.

Все творчество Пушкина противно лицемерному возвеличению и узаконению отрицательных сторон народной жизни, его темноты и невежества. Он жил и творил для того, чтобы народ мог овладеть просвещением, культурой, передовыми идеями своего времени.

Любовь к родине приближает к нам Пушкина.

Сегодня он находит новую родину. И множество людей, освобожденных великой социалистической революцией, и целый ряд народов, вчера еще не имевших возможности запечатлеть свою речь и мысль, находят в Пушкине своего друга и учителя. Он наш современник, он учит нас любить и защищать свою страну, укреплять могущество родины, освобожденной, растущей, просвещенной; родины, которая стоит на страже мира всех народов и является опорой и знаменем передовых сил всего человечества.

Традиции Пушкина — это традиции мужества, борьбы за просвещение народа, за лучшую жизнь трудящихся масс.

В русской литературе с этой традицией боролось другое направление писателей и философов, пытавшихся оправдать нищету и невежество народных масс, провозгласив нищету и страдания народа выражением, свойством «его духа».

Мы сталкиваемся с подобными воззрениями у Толстого, Достоевского, Тютчева и др.

Защитники старого строя использовали эти высказывания. Долгие годы они убеждали народ в благодетельности для него страданий и бедности, повторяя слова Тютчева:

Эти бедные селенья,
Эта скудная природа.
Край родной долготерпенья,
Край ты русского народа!

Наша гордость в том, что прежние бедные селенья превращены в цветущие колхозы; что наша природа дает богатые урожаи хлебов и открывает неисчислимые богатства своих недр; что русский народ умеет проявлять великий гнев по отношению к силам старого мира и великую любовь и сочувствие ко всем угнетенным, борющимся за свое освобождение. Наша гордость в том, что в наши дни, через сто лет после смерти А. С. Пушкина, в эпоху социализма осуществляются пророческие слова Пушкина:

Слух обо мне пройдет по всей Руси великой,
И назовет меня всяк сущий в ней язык,
И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой
Тунгуз, и друг степей Калмык.

Е. Чернявский

НЕИЗДАННЫЕ АВТОГРАФЫ А. С. ПУШКИНА

I

„Деревня“

В Государственном архиве феодально-крепостнической эпохи в фонде Остафьевского архива Вяземских, помимо автографа Пушкина, его стихотворения «Деревня» («ОА», к. 2, ф. № 195), хранятся три списка того же стихотворения («ОА», к. 45, «Стихотворения разных авторов» лит. «П» и «ОА», к. 15, № 384). Среди них находится один, написанный на двух листах сероватой, слегка шероховатой писчей бумаги, без водяных знаков (291,5 × 209,5 мм.) с собственноручными пометками и поправками П. А. Вяземского [1].

Этот список, помимо других разночтений, по сравнению с беловым автографом Пушкина, хранящимся в Остафьевском архиве, особенно обращает на себя внимание первоначальной редакцией стиха 59:

«И рабство падшее и падшего царя».

Вяземский, просматривая и исправляя список, изменил этот стих, согласно официальной редакции:

«И рабство падшее по манию царя».

Воспроизводя здесь фототипически автограф Пушкина «Деревня» [2], нельзя не привести одновременно и основных разночтений, какие мы находим в названном списке.

В целях наибольшей ясности приводятся параллельно стихи автографа и соответствующие им разночтения этого списка.

Предел спокойствия, трудов и размышления
Приют . . . . . вдохновенья
Безумные пиры, заботы, заблуждения
Веселые . . . . . .
На праздность вольную, подругу вдохновенья
. . . . . *размышленья*
Я твой — люблю сей темный сад
. . . . . *лес*
Где светлые ключи в кустарниках журчат
. . . *чистый ручеек . . . . . журчит*
Участьем отвечать застенчивой Мольбе
Усердьем . . . . . .
Среди цветущих нив и гор
Куда окрест ни кинет взор

---

[1] Полное описание как автографов, так и списков рукописей произведений, писем, заметок Пушкина, хранящихся в ГАФКЭ, с текстуальными вариантами, подготовлено ГАФКЭ для печати отдельным сборником и сдано в Пушкинскую комиссию Академии наук. Комментария к автографу «Деревня» дан М. Светловой.

[2] В транскрипции стихотворение «Деревня» дано Н. Ф. Бельчиковым в сборнике «Пушкин», II, под редакцией Пиксанова, изд. 1930 г.

Мудрец печальной замечает
Другъ человечества печально замечает
Везде невежества убійственной Позор
. . . . . *губительный* . . . . . .
Не видя слез, не внемля стона
. . . *зная* . . . . . .
Присвоило себе насильственной лозой
Себе присвоило . . . . . .
Здесь горестный ярем до гроба все влекут
. . . . . *тягостный* . . . . . *несут*
Для дерзкой прихоти злодея
. . . *прихоти бесчувственной злодея*
Почто в груди моей горит напрасный жар
. . . . . *бесплодный* . . . .
И Рабство изгнанно по манію царя.
рабство падшее и падшего царя [1].

Деревня

Привѣтствую тебя, пустыни уголокъ,
Предѣлъ спокойствія, трудовъ и размышленья,
Гдѣ льется дней моихъ невидимый потокъ
На лонѣ щастья и забвенья.
Я твой — я промѣнялъ порочный дворъ Цирцей
Безумные пиры, заботы, заблужденья
На сладкій шумъ дубравъ, на тишину полей
На праздность вольную, подругу вдохновенья.
Я твой — люблю сей темный садъ
Съ его прохладой и цвѣтами,
Сей лугъ уставленный душистыми скирдами
Гдѣ свѣтлые ключи в кустарникахъ журчатъ.
Везде вокруг меня [2] подвижныя картины.
Здѣсь вижу двухъ озеръ лазурныя равнины
Гдѣ парусъ рыбарей бѣлѣетъ иногда
За ними — рядъ холмовъ и нивы полосаты —
Вдали разсыпанныя хаты
На злачныхъ берегахъ бродящія стада
Авины, мельницы крылаты
Вездѣ слѣды довольства и труда...

Я здѣсь, отъ суетныхъ оковъ освобожденной,
Учуся в истинѣ блаженство находить
Желать не многаго, добро боготворить —
Роптанью не внимать толпы непросвѣщенной.
Участьемъ отвѣчать застенчивой мольбѣ
И не завидывать судьбѣ
Злодѣя иль граща — въ величіи неправомъ.

[1] Последняя строка подчеркнута Вяземским; у последнего слова сделана сноска и внизу написано «по манию царя».
[2] После слова: «меня» — зачеркнуто слово «лазурныя».

Деревня

Привѣтствую тебя, пустынный уголокъ,
Пріютъ спокойствія, трудовъ и вдохновенья,
Гдѣ льется дней моихъ невидимый потокъ
На лонѣ счастья и забвенья.
Я твой — я промѣнялъ порочный дворъ Цирцей,
Роскошные пиры, забавы, заблужденья
На мирный шумъ дубровъ, на тишину полей,
На праздность вольную, подругу размышленья.

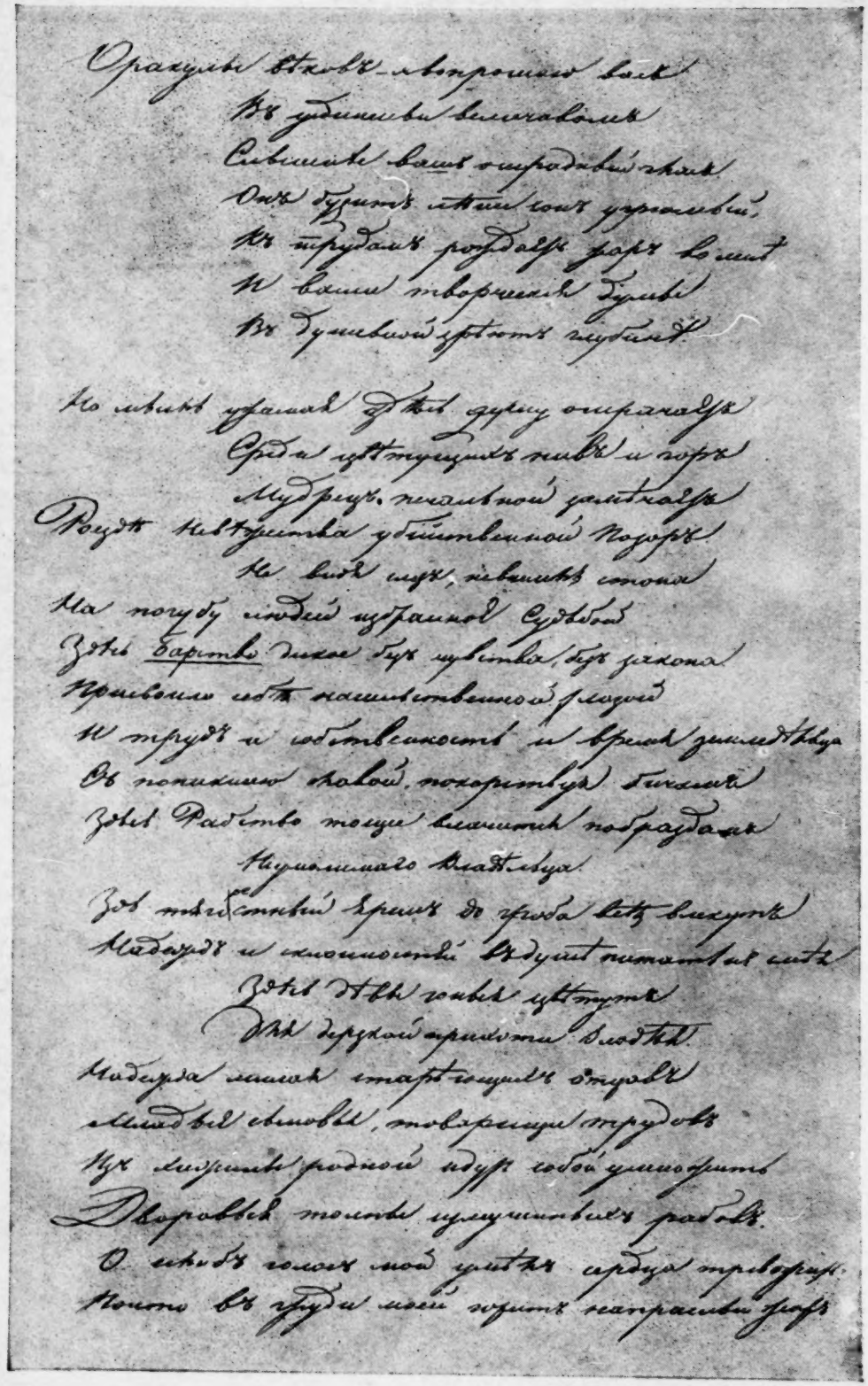
Я твой — люблю сей темный садъ
Съ его прохладой и цвѣтами,
Сей лугъ, уставленный душистыми скирдами,
Гдѣ свѣтлые ручьи въ кустарникахъ шумятъ.
Вездѣ передо мной подвижныя картины:
Здѣсь вижу двухъ озеръ лазурныя равнины,
Гдѣ парусъ рыбаря бѣлѣетъ иногда,
За ними рядъ холмовъ и нивы полосаты,
Вдали разсыпанныя хаты,
На влажныхъ берегахъ бродящія стада,
Овины дымные и мельницы крылаты;
Вездѣ слѣды довольства и труда....

Я здѣсь, отъ суетныхъ оковъ освобожденный,
Учуся въ истинѣ блаженство находить,
Свободною душой законъ боготворить,
Роптанью не внимать толпы непросвѣщенной,
Участьемъ отвѣчать застѣнчивой мольбѣ
И не завидовать судьбѣ
Злодѣя иль глупца — въ величіи неправомъ

Оракулы вѣковъ — я вопрошаю васъ.
Въ уединеньи величавомъ
Слышнѣе вашъ отрадный гласъ
Он будитъ лѣни сонъ угрюмый,
Къ трудамъ рождаетъ жаръ во мнѣ,
И ваши творческія думы
Въ душевной зрѣютъ глубинѣ.
Но мысль ужасная здѣсь душу омрачаетъ:
Среди цвѣтущихъ нивъ и горъ
Мудрецъ печальной замѣчаетъ
Вездѣ невѣжества убійственной позоръ.
Не видя слезъ, не внемля стона
На пагубу людей избранное судьбой
Здѣсь — Барство дикое безъ чувства, безъ закона

Присвоило себѣ насильственной лозой
И трудъ и собственность и время земледѣльца
Съ поникшею главой, покорствуя бичамъ
Здѣсь Рабство тощее влачится по браздамъ
Неумолимаго Владѣльца.
Здѣсь горестный[1] яремъ до гроба всѣ влекутъ
Надеждъ и склонностей въ душѣ питать не смѣя
Здѣсь дѣвы юныя цвѣтутъ
Для дерзкой прихоти злодѣя.
Надежда милая старѣющихъ отцовъ
Младые сыновья, товарищи трудовъ
Изъ хижины родной идутъ собой умножить
Дворовыя толпы измученныхъ рабовъ.
О еслибъ голосъ мой умѣлъ сердца тревожить!
Почто въ груди моей горитъ напрасный жаръ

[1] Первоначально: «тягостный».



И не данъ мнѣ судьбой Витійства грозный даръ:
Увижу ль, о друзья! народъ неугнетенной
И Рабство изгнанно по манію царя.
И надъ отечествомъ Свободы просвѣщенной
Взойдетъ ли наконецъ прекрасная Заря?..

1819
июля

★ ★ ★ ★

И не данъ мнѣ судьбой витiйства грозный даръ:
Увижу ль, о друзья! народъ неугнетенной
И Рабство падшее по манiю Царя.
И надъ отечествомъ Свободы просвѣщенной
Взойдетъ-ли наконецъ прекрасная Заря!?

1819
iюль

II

Автографы лицейских стихотворений А. С. Пушкина

В архиве А. М. Горчакова, хранящемся в Государственном архиве феодально-крепостнической эпохи, среди многочисленных документов, имеющих историко-литературное значение, одно из первых мест занимают пушкинские материалы. Они делятся на две неравные во всех отношениях части: на материалы лицейского периода и на материалы, относящиеся к последующим годам жизни поэта.

Лицейские материалы заключают в себе, во-первых, альбом Горчакова с записями гувернера А. Н. Иконникова и двадцати лицеистов и в том числе А. С. Пушкина, во-вторых, собрание лицейских автографов Пушкина, в-третьих, копии лицейских стихотворений Пушкина, в-четвертых, письма Горчакова к родным за 1814—1818 годы [1], в-пятых, записи Горчаковым лекций профессоров лицея [2].

Собрание автографов Пушкина, хранящихся в архиве Горчакова, имеет первостепенное значение во многих отношениях. Прежде всего в этом собрании оказались три песни неоконченной поэмы («Монах», из текста которой до разбора архива Горчакова не было известно ни одного стиха) [3]. Кроме «Монаха», в этом собрании имеются автографы следующих лицейских стихотворений Пушкина: 1. «Послание к Натальи», 2. «К другу стихотворцу», 3. «Князю А. М. Горчакову» [4] («Пускай, не знаясь с Аполлоном...»), 4. «Послание к Батюшкову» («Философ резвой и пиит...»), 5. Stances («Avez-vous vu la tendre rose...»), 6. «К Лицинию» и 7. «К молодой вдове» [5]. Кроме этих автографов, в собрании Горчакова имеются написанные рукой Пушкина тексты стихотворений А. А. Дельвига «Триолет. Князю Горчакову» и Д. В. Давыдова «Возьмите меч — он недостоин брани».

Таким образом, в архиве Горчакова всего одиннадцать лицейских автографов Пушкина. Значение воспроизводимых нами автографов лицейских стихотворений заключается в том, что они дают тексты ранних редакций. Но не только этим интересны автографы собрания Горчакова.

Сравнительное изучение почерка Пушкина в этих автографах с почерком других ранних автографов поэта, хранящихся в Пушкинском доме Академии наук

---

[1] «Красный архив» № 6 (79) за 1936 г., стр. 175—206.

[2] Часть этих лекций печатается в настоящем номере.

[3] Напечатано в «Красном архиве» № 6 (31) и 7 (32) за 1928 г.

[4] «Красный архив» № 6 (79) за 1936 г., стр. 207—209.

[5] Стихотворения: «Посланіе къ Натальи», «Къ другу стихотворцу», «Къ Батюшкову», «Къ молодой вдове» по автографам опубликованы ранее М. А. Цявловским в собрании сочинений А. С. Пушкина, изданном Госиздатом в 1930—1931 гг., в виде приложения к журналу «Красная нива», т. I.

и в Публичной библиотеке Союза ССР им. Ленина, позволило с полной уверенностью установить, что самым ранним из известных до сих пор автографов Пушкина является запись его в альбоме Горчакова[1], что автографы стихотворения «Послание к Натальи» и поэмы «Монах» датируются 1813 годом и, таким образом, являются самыми ранними из известных до сих пор произведений Пушкина. Кроме этого, сличение почерка автографа стихотворения «Князю А. М. Горчакову» («Пускай, не знаясь с Аполлоном...») с копией Пушкина стихотворения Дельвига «Триолет. Князю Горчакову», датированной «30 августа 1814 г.», привело к несомненному заключению, что оба стихотворения написаны в одно время, т. е. ко дню именин Горчакова в 1814 году, а не в 1815 году, как датировалось послание во всех изданиях сочинений Пушкина.

М. Цявловский

★ ★ ★

Посланіе къ Натальи[2]

Pourquoi craindrais-je de le dire
C'est Margot qui fixe mon gout.

Такъ и мнѣ узнать случилось
Что за птица Купидонъ;
Сердце страстное забилось;
Признаюсь; и я влюбленъ
Пролетѣло щастія время
Какъ любви, не зная бремя
Я живалъ да попѣвалъ
Какъ въ театрѣ и на балахъ,
На гулянье иль въ ваксалахъ
Легкимъ Зефиромъ леталъ —

[1] Запись А. С. Пушкина в альбом А. М. Горчакова будет воспроизведена в следующем томе «Красного архива».

[2] Автограф А. С. Пушкина «Посланіе къ Натальи» — тетрадка, сшитая из двух полулистов писчей голубой бумаги, сложенных пополам (восемь страниц).
На первой странице: «Посланіе къ Натальи».
На третьей — восьмой страницах: текст стихотворения.
Тетрадка сильно потрепана, что может явиться указанием на то, что она ходила по рукам лицеистов.

Посланіе къ Натальѣ.

Pourquoi craindrois-je de le dire
C'est Margot qui fixe mon goût

Такъ и мнѣ узнать случилось
Что за птица Купидонъ;
Сердце страстное забилось;
Признаюсь; и я влюбленъ
Пролетѣло щастія время
Какъ любви не зная бремя
Я живалъ да попѣвалъ
Какъ въ театрѣ и на балахъ
На гуляньяхъ иль въ воксалахъ
Легкимъ зефиромъ леталъ —

Какъ смѣясь во зло Амуру
Я писал Карикатуру
На любезный женской полъ;
Но напрасно я смѣялся
Наконецъ и самъ попался,
Самъ увы съ ума сошелъ.
Смехи, вольность все подъ лавку
Изъ Катоновъ я въ отставку
И теперь я — Целадонъ.
Миловидной жрицы Тальи
Видѣл прелести Натальи
И ужъ в сердце — Купидонъ!

Такъ, Наталья признаюся
Я тобою полоненъ
в первый разъ еще (стыжуся)
в женски прелести влюбленъ.
Целой день какъ не верчуся
Лишь тобою занятъ я;
Ночь придетъ и лишь тебя
вижу я в пустомъ мечтаньи
Вижу въ легкомъ одѣяньи
Будто милая со мной
робко, сладостно дыханіе

Какъ шалилъ во зло Амуру
Я писалъ Карикатуру
На любезный женской полъ,
Но напрасно я шалилъ
Наконецъ и самъ попался
Самъ увы! съ ума сошелъ
Смѣхи, вольность — все подъ лавку
Изъ Катоновъ я въ отставку
И теперь я — Селадонъ.
Миловидной жрицы Таліи
Видѣлъ прелести Натальи
И ужъ въ сердце — Купидонъ.

Такъ, Наталья признаюся
Я тобой полоненъ
Въ первый разъ еще (стыжуся)
Въ женски прелести влюбленъ.
Цѣлой день какъ не верчуся
Лишь тобою занятъ я;
Ночь придетъ и лишь тебя
Вижу я въ пустомъ мечтаньи
Вижу въ легкомъ одѣяньи
Будто милая со мной
Робко, сладостно дыханье

Бѣлой груди колебаніе
Снѣгъ затмившей бѣлизной
И полуотверсты очи...
Скромной мракъ безмолвной ночи...
Духъ в восторгъ приводятъ мой — —
Я одинъ в бесѣдкѣ с нею...
Вижу... дѣвственну Лилею
Трепѣщу, томлюсь, нѣмѣю...—
И проснулся... вижу мракъ
вкругъ постелѣ; одинокой
Испускаю вздохъ глубокой!
Сонъ лѣнивый, томноокой
Отлетаетъ на крылахъ.
Страсть сильнѣе становится
А любовью утомясь
Я слабѣю всякой часъ
Все к чему — то умъ стремится...
А къ чему?— Никто изъ насъ
Дамамъ въ слухъ того не скажетъ
А ужъ такъ и сякъ размажетъ —
Я — по свойски объяснюсь.

Всѣ любовники желаютъ
и того чего не знаютъ
Это свойство ихъ дивлюсь

Бѣлой груди колыбели
Сквозь затмившей близной
И полуотверсты очи...
Скромной мракъ безмолвной ночи...
Душу въ восторгъ приводятъ мой — —
Я одинъ въ беседкѣ съ ней...
Вижу... дѣвственну лилею
Трепещу, томлюсь, нѣмѣю... —
И проснулся... вижу мракъ
вкругъ постели; одинокой
Изпускаю вздохъ глубокой!
Сонъ лѣнивый, томноокой
Отлетаетъ на крылахъ.
Страсть сильнѣе становится
А любовью утомляясь
И слабѣю всякой часъ
Вы къ чему-то умъ стремятся..
А къ чему? — никто изъ насъ
Дамамъ въ угодъ того не скажетъ
А ужъ такъ и самъ размажетъ —
Я — По своейски объяснитъ.

Всѣ любовники решатъ
(и того, что не знатъ)
Что свойство изъ дивныхъ

Завернувшись балахономъ
Съ хватской шапкой на бекрѣнь
Я желалъ бы Филимономъ
Подъ вечеръ как всюду тѣнь,
Взявъ Анюты нѣжну руку
Изъяснять любовну муку
Говорить: она моя
Я желалъ бы чтобъ Назорой
Ты старалася меня
Удержать умильнымъ взоромъ.
Иль сѣдымъ Опекуномъ
Легкой, миленькой Розины
Старымъ пасынкомъ судьбины
Въ Епанчѣ и съ Парикомъ
Дерзкой пламенной рукою
Бѣлоснѣжну, полну Грудь...
Я желалъ... да вѣдь нагою [1]
Моря не перешагнуть
И хоть по уши влюбленный
Но съ табою разлученный
Всей надежды я лишенъ.

Но Наталья, ты не знаешь
Кто твой нѣжной Целадонъ

[1] Описка, вместо «ногою».

Завернувшись балахономъ
Съ хватской шапкой на бекрѣнь
я желалъ бы Филимономъ
Подъ вечеръ какъ всюду тѣнь;
Взять Анюты нѣжну руку
Изъяснять любовну муку
Говорить: она моя
Я желалъ бы чтобъ Назорой
ты старалася меня
Удержать умильнымъ взоромъ.
Иль сѣдымъ Опекуномъ
Легкой, миленькой Розины
Старымъ пасынкомъ судьбины
Въ Епанчѣ и съ Парикомъ
Дерзкой пламенной рукою
Бѣлоснѣжну, полну Грудь.....
Я желалъ... да нѣтъ ничто
Моря не перешагнуть
И хоть по уши влюбленный
Но съ тобою разлученный
Всей надежды я лишенъ
Но Наталья, ты не знаешь
Кто твой нѣжной Селадонъ

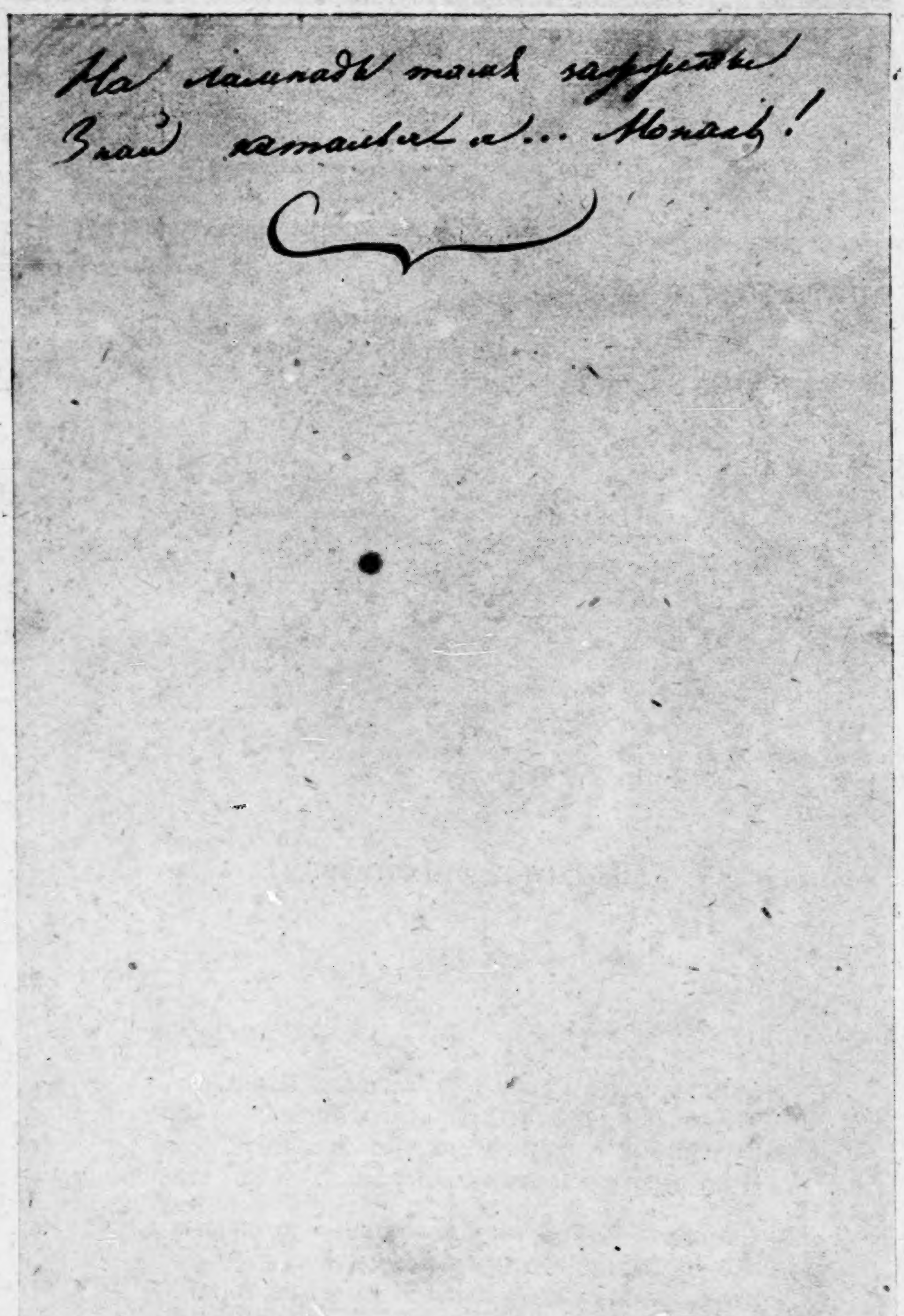
Ты еще не понимаешь
Отъ чего не смѣетъ онъ
И надѣется? — Наталья!
Выслушай еще меня.

Ни владѣтель я сераля
Ни Арабъ, ни турокъ я
За учтиваго Китайца
Грубаго Американца
Почитать меня не льзя.
Не представь и нѣмчурою
Съ колпакомъ на волосахъ
Съ кружкой пивом налитою.
И съ цыгаркою в зубахъ
Не представь Кавалергарда
въ каскѣ, съ длиннымъ палашомъ;
Не люблю я бранный громъ.
Шпага, сабля, Галебарда
Не тягчатъ моей руки
За Адамовы грѣхи.
— Да кто жъ ты болтунъ влюбленный?—
— Вглянь на стены возвышенны
Гдѣ безмолвья вѣчной мракъ
Вглянь на окны загражденны

Ты еще не понимаешь
Отъ чего не сіяетъ онъ
И надежда? — Наталья!
Выслушай еще меня!
Не владѣтель я Сераля
Ни Арабъ, ни турокъ я
За учтиваго Китайца
Грубаго Американца
Почитать меня не льзя
Не представь и нѣмчурою
Съ колпакомъ на волосахъ
Съ кружкой пивомъ налитою —
И съ цыгаркою въ зубахъ
Не представь Кавалергарда
въ Каскѣ, съ длиннымъ палашомъ;
Не люблю я бранный громъ
Шпага, сабля, Галебарда
Не тягчатъ моей руки
За Адамовы грѣхи
— Да кто-жъ ты болтунъ влюбленный? —
— Взглянь на стѣны возвышенны
Гдѣ безмолвье вѣчной мракъ
Взглянь на окны загражденны

На лампады тамъ зажженны
Знай Наталья — я... Монахъ!

★ ★ ★


На лампадѣ такъ загрустка
Знай катались я... Монахъ!

Къ другу стихотворцу [1]

Аристъ, и ты в толпѣ служителей Парнасса;
Ты хочешь осѣдлать упрямаго Пегаса;
За лаврами спѣшишь опасною стезёй,
И съ строгой критикой вступаешь смѣло въ бой.

Аристъ повѣрь ты мнѣ оставь перо, чернилы
Забудь ручьи, лѣса, унылыя могилы;
Въ холодныхъ пѣсенкахъ любовью не гори;

[1] Автограф «Къ другу стихотворцу» — тетрадка в шесть листов писчей бумаги (двенадцать страниц). «Къ другу стихотворцу» — первое стихотворение, напечатанное А. С. Пушкиным в «Вестнике Европы» 1814 г., № 13.

Текст автографа, не имеющий здесь заглавия и значительно отличающийся от текста «Вестника Европы», можно рассматривать как более раннюю редакцию стихотворения.

Аристъ, и ты въ толпѣ служителей Парнаса;
Ты хочешь осѣдлать упрямаго Пегаса;
За лаврами спѣшишь опасною стезей.
И съ строгой критикой вступаешь смѣло въ бой.
Аристъ повѣрь ты мнѣ оставь перо, чернилы
Забудь ручьи, лѣса, унылыя могилы;
Въ холодныхъ пѣсенкахъ любовью не гори;

Покамѣсть не слетѣлъ скорѣй сойди съ горы;
Довольно безъ тебя поэтовъ есть и будетъ
Ихъ напечатаютъ и цѣлой свѣтъ забудетъ
Быть можетъ и теперь отъ шума удалясь
И съ глупой музою родствомъ соединясь
Подъ сѣнью мирною Минервиной эгиды [1]
Сокрытъ другой отецъ второй Телемахиды.—
Страшись безславія.— Что есть ли Апполонъ
Услышавъ что и ты полезъ на Геликонъ,
Съ презрѣньемъ покачавъ кудрявой головою,
Твой геній наградитъ спасительной лазою?

Но что ты хмуришься и отвѣчать готовъ
Пожалуй, говоришь [2], не трать излишнихъ словъ
Когда на что рѣшусь ужъ я не отступаю
И знай мой жребій палъ я лиру избираю
Пусть судитъ обо мнѣ какъ хочетъ цѣлой свѣтъ

[1] т. е. въ школѣ. (Примеч. А. С. Пушкина.)
[2] «Говоришь» вписано наверху вместо зачеркнутого: «скажешь мнѣ».

Покамѣстъ не слетѣлъ [illegible] сойди съ горы;
Довольно безъ тебя поэтовъ есть и будетъ,
Ихъ напечатаютъ и цѣлый свѣтъ забудетъ.
Быть можетъ и теперь отъ шума удаленъ
И съ глупой музою родствомъ соединенъ
Подъ сѣнью мирною Минервиной эгиды*
Сокрытъ другой отецъ второй Телемахиды.—
Страшись безславія! — Что если Аполлонъ
Услышавъ что и ты полезъ на Геликонъ,
Съ презрѣніемъ покачавъ кудрявой головою,
Твой геній наградитъ спасительной лозою.

Но что ты хмуришься и отвѣчать готовъ;
Пожалуй, говоришь мнѣ — не трать излишнихъ словъ;
Когда на что рѣшусь уже я не отступаю
И знай мой жребій палъ и лиру избираю
Пусть судитъ обо мнѣ какъ хочетъ цѣлый свѣтъ

---

* т. е. въ школѣ.

Сердись, кричи, бранись, а я — таки поэтъ?

Аристъ, не тотъ поэтъ кто Риѳмы плесть умѣетъ
И перьями скрыпя бумаги не жалѣетъ,
Хорошіе стихи не такъ легко писать
Какъ Витгенштеину французов побѣждать,
Потомство поздное поэтамъ справедливо
На Пиндѣ лавры есть но есть тамъ и крапива
Страшися участи безсмысленных пѣвцовъ
Насъ убивающихъ громадою стиховъ.
Межъ тѣмъ какъ Дмитріевъ, Державинъ, Ломоносовъ,
Пѣвцы безсмертные и честь и слава Россовъ
Питаютъ здравой умъ и вмѣстѣ учатъ насъ
Сколь много гибнетъ книгъ на свѣтъ едва родясь
Творенья громкія Риѳматова, Графова,
Съ тяжеломъ Бибрусомъ, гніютъ у Глазунова
Никто не вспомнитъ ихъ, не станетъ взоръ [1] читать
И Фебова на нихъ проклятія печать!
Положимъ что на Пиндъ взобравшися щастливо,

[1] Описка, вместо «вздор».

сердись, кричи, бранись, а я таки поэтъ.

Аристъ, не тотъ поэтъ кто рифмы плесть умѣетъ
И перьями скрыпя бумаги не жалѣетъ,
Хорошіе стихи не такъ легко писать
Какъ Витгенштейну французовъ побѣждать.
Потомство позднее поэтамъ справедливо
На Пиндѣ лавры есть но есть тамъ и крапива.
Страшися участи безсмысленныхъ пѣвцовъ
Насъ убивающихъ громадою стиховъ.
Межъ тѣмъ какъ Дмитріевъ, Державинъ, Ломоносовъ,
Пѣвцы безсмертные и честь и слава Россовъ
Питаютъ здравый умъ и вмѣстѣ учатъ насъ
Сколь много гибнетъ книгъ на свѣтъ едва родясь
Творенья громкія Рифматова, Графова,
Съ тяжелымъ Бибрусомъ, гніютъ у Глазунова
Никто не вспомнитъ ихъ, не станетъ вздоръ читать
И Фебова на нихъ проклятія печать!!

Положимъ что на Пиндъ взобравшися
счастливо,

Поэтомъ можешь ты назваться справедливо,
Всѣ съ удовольствіемъ тогда тебя прочтутъ.
Но мнишь-ли что къ тебѣ рѣкою потекутъ
За то что ты поэтъ несмѣтныя богатства
Что ты уже берешь на откупъ государства
Въ желѣзныхъ сундукахъ червонцы хоронишь
И лежа на боку спокойно ѣшь и спишь;
Не такъ любезный другъ писатели богаты,
Судьба имъ недала ни мраморны палаты
Ни чистымъ [1] золотомъ набиты сундуки;
Лачужка подъ землей, высоки чердаки,
Вотъ пышны ихъ дворцы великолѣпны залы
Поэтовъ хвалятъ всѣ питаютъ лишь журналы
Катится мимо ихъ фортуны колесо;
Родился нагъ и нагъ вступаетъ въ гробъ Руссо,
Камоэнсъ [2] съ нищими постелю раздѣляетъ
Кастровъ на чердакѣ безвѣстно умираетъ
Руками чуждами могилѣ преданъ онъ.

[1] Описка, вместо «чистым».
[2] Авторъ Лузіады умеръ въ Гофшпиталѣ питаясь милостынею (Примеч. А. С. Пушкина.)

Потомъ можешь ты назваться справедливо.
Все съ удовольствиемъ тогда тебя прочтутъ
Но мнишь-ли что къ тебѣ рѣкой потекутъ
За то что ты поэтъ несмѣтныя богатства
Что ты уже берешь на откупъ государства
Въ желѣзныхъ сундукахъ червонцы хоронишь
И лежа на боку спокойно ѣшь и спишь;
Не такъ любезный другъ писатели богаты,
Судьба имъ не дала на мраморны палаты
Ни чистымъ золотомъ набиты сундуки,
Лачужка подъ землей, высоки чердаки,
Вотъ пышны ихъ дворцы великолѣпны залы
Поэтовъ слава въ нихъ питаетъ лишь журналы
Катится мимо ихъ фортуны колесо;
Родился нагъ и нагъ вступаетъ въ гробъ Руссо,
Камоэнсъ* съ нищими постель раздѣляетъ
Костровъ на чердакѣ безвѣстно умираетъ
Руками чуждыми могилѣ преданъ онъ.

---

* Авторъ Лузіады умеръ въ Гошпиталѣ питаясь милостынею.

Иль жизнь — рядъ горестей, гремяща слава — сонъ.

«Постойте, скажешь мнѣ, вѣдь я не однодворецъ
«Могу я быть богатъ хотя и стихотворецъ».
Согласенъ.— будь богатъ и ты какъ тотъ поэтъ [1],
Которой именемъ наполнивъ цѣлой свѣтъ —
Развратной прозою, опасными стихами
Успѣшно торгавалъ с Голландскими купцами.
Но развѣ бѣдность лишь заставитъ слезы лить?
Иль зависть богача не смѣетъ уязвить?
Что есть ли воружась шипящей клеветою
Всечасно ползуя повсюду за тобою,
Наполнитъ горечью всю чашу бытія
Покроетъ мракомъ жизнь и ввергнетъ в гробъ тебя?

Ты кажется теперь задумался не много.
Да что-же, скажешь мнѣ, судя о всѣхъ такъ строго
Перебирая все какъ будто Ювеналъ,
Ты о Поэзіи такъ долго толковалъ
А самъ поссорившись с Парнасскими сестрами
Мнѣ проповѣдать [2] пришолъ сюда стихами,

[1] Волтеръ. (Примеч. А. С. Пушкина.)
[2] Оп іска, вместо «проповѣдовать».

Иль жизнь — рѣчь горитей, границa слава — сонъ.
„Постойте, скажешь ты, вѣдь я не однодворецъ,
„Могу я быть богатъ хотя и стихотворецъ."
Согласенъ — будь богатъ и будь какъ тотъ поэтъ *
Которой именемъ наполнилъ цѣлой свѣтъ —
Развратной прозой, опаснѣйшими стихами
Успѣшно торговалъ съ Голландскими купцами
Но развѣ бѣдность лишь заставитъ слезы лить?
Иль зависть богача не смѣетъ уязвить?
Что если вооружась шипящей клеветою
Всечасно ползая повсюду за тобою,
Наполнитъ горечью всё наше бытіе
Покроетъ мракомъ жизнь и ввергнетъ въ гробъ тебя?
Ты кажется теперь задумался немного.
Да что-жъ, скажешь мнѣ, судя о вѣкѣ такъ строго
Перебиралъ все какъ будто Ювеналъ,
Ты о Поэзии такъ долго толковалъ
А самъ поссорившись съ Парнасскими сестрами
Мнѣ проповѣдать пришолъ сюда стихами.

---

* Волтеръ.

Что сдѣлалось съ табой въ умѣ ли ты иль нѣтъ.
Аристъ! безъ дальнихъ словъ вотъ мой тебѣ отвѣтъ.

В деревнѣ, помнится, съ мирянами простыми
Священникъ пожилой и съ кудрями сѣдыми,
Въ миру съ сосѣдями, въ чести довольствѣ жилъ
И первомъ мудрецомъ у всѣхъ издавно слылъ.
Однажды осушивъ бутылки и стаканы
Со свадьбы подъ вечеръ онъ шолъ не много пьяный
Попалися ему невстрѣчу мужики.
Послушай, Батюшка сказали простяки
Настави грѣшныхъ насъ ты пить намъ запрещаешь
Быть трезвымъ всякому всегда повелѣваешь,
(И вѣримъ мы тебѣ) а чтожъ теперь ты самъ?..
— «Запомнитежъ, сказалъ священникъ мужикамъ,
Как в церквѣ васъ учу такъ вы и поступайте.
Живите хорошо, а мнѣ не подражайте».

И мнѣ пришлося тожъ сегодня отвѣчать.
Я нехочу себя нимало оправдать;
Щастливъ кто ко стихамъ не чувствуя охоты

Что сдѣлалось съ тобой въ уединеньи нѣгъ,

Аристъ! безъ дальнихъ словъ вотъ мой тебѣ совѣтъ.

Въ деревнѣ, помнится, съ мирянами простыми
Священникъ пожилой и съ кудрями сѣдыми,
Въ миру съ сосѣдями, въ чести довольствуясь,
И первымъ мудрецомъ у всѣхъ издавна слылъ.
Однажды осушивъ бутылки и стаканы
Со свадьбы подъ вечеръ онъ шолъ не много пьяный
Попались ему навстрѣчу мужики.
Послушай, батюшка, сказали простяки
Настави грѣшныхъ насъ ты пить намъ запрещаешь
Быть трезвымъ всякому всегда повелѣваешь,
И вѣримъ мы тебѣ, а чтожъ теперь ты самъ?...
— „Послушайте, сказалъ священникъ мужикамъ,
Какъ въ церкви васъ учу такъ вы и поступайте
Живите хорошо, а мнѣ не подражайте."

И мнѣ пришлось тожъ сегодня отвѣчать.
Я нiхочу себя нимало оправдать.
Щастливъ кто ко стихамъ не чувствуя
охоты

Проводитъ тихой вѣкъ безъ горя, безъ заботы
Своими одами журналы не тягчитъ
И надъ экспромптами нѣдели не сидитъ
Не любитъ онъ гулять по рощицамъ Парнасса.
Не ищетъ чистыхъ музъ, ни пылкаго пегаса
Его съ перомъ въ рукахъ Макаров [1] не страшитъ
Спокоенъ, веселъ онъ — Аристъ онъ не Пиитъ.

Но полно разсуждать — боюсь тебѣ наскучить
И сатирическимъ перомъ тебя замучить
Пора мнѣ замолчать — я далъ тебѣ совѣтъ
Оставишь-ли свирѣль замулкнешь [2] или нѣтъ
Подумай обо всемъ и выбери любое,
Быть славным — хорошо, спокойнымъ — лучше вдвое.

Александръ НКПШ.

[1] Славной журналистъ. (Примеч. А. С. Пушкина).
[2] Описка, вместо «замолкнешь».

Проводитъ тихой вѣкъ безъ горя, безъ заботъ
Своими одами журналъ не тягчитъ
И надъ экспромтами недѣли не сидитъ
Не любитъ онъ гулять по рощицамъ Парнаса
Не ищетъ чистыхъ музъ, ни пылкого Пегаса
Его съ перомъ въ рукахъ Макаровъ* не страшитъ
Спокоенъ, веселъ онъ - Аристъ онъ не Піитъ.

Но полно разсуждать - боюсь тебѣ наскучить
И сатирическимъ перомъ тебя замучить
Пора мнѣ заключать - я далъ тебѣ совѣтъ
Оставишь-ли лиру, замолкнешь или нѣтъ
Подумай обо всемъ и выбери любое,
Быть славнымъ - хорошо, спокойнымъ - лучше вдвое.

Александръ НКШП.

---

* Славной журналистъ

Къ Батюшкову [1]

Философъ рѣзвой и піитъ,
Парнасскій щастливой лѣнивецъ
Харитъ изнѣженной любимецъ,
Наперстникъ милыхъ Аонидъ,
Почто на Арфѣ златострунной
Умолкнулъ радости пѣвецъ?
Ужель и ты, мечтатель юной,
Раз[с]тался с Фебомъ наконецъ?
Уже съ вѣнком изъ розъ душистыхъ
Межъ кудрей вьющихся златыхъ,
Подъ тѣнью тополовъ вѣтвистыхъ,
Въ кругу красавицъ молодыхъ;
Заздравнымъ не стучишь фіаломъ,
Любовь и Вакха не поешь,
Довольный щастливымъ началомъ,
Цвѣтовъ Парнасскихъ вновь не рвешь;
Не слышенъ нашъ Парни Россійской!..

[1] Автограф «Къ Батюшкову» — тетрадка в 4 листа писчей бумаги (восемь страниц). На первой странице «Посланіе къ Батюшкову. Къ Александру Горчакову Отъ Автора». На третьей — шестой страницах — текст послания.

Стихотворение «Къ Батюшкову» было напечатано А. С. Пушкиным в 1815 г. в № 1 «Российского музеума». Напечатанный в «Российском музеуме» текст короче текста автографа на тридцать стихов — начиная со стиха: «Скажи, по милости, Графону»... и кончая стихом «Вотъ каково писать стихи!».

Къ Батюшкову

Философъ рѣзвой и пїитъ,
Парнасской щастливой лѣнивецъ
Харитъ изнѣженной любимецъ,
Наперстникъ милыхъ Аонидъ,
Почто на Арфѣ златострунной
Умолкнулъ радости пѣвецъ?
Ужель и ты, мечтатель юной,
Разстался съ Фебомъ наконецъ?

Уже съ вѣнкомъ изъ розъ душистыхъ
Межъ кудрей вьющихся златыхъ,
Подъ тѣнью тополовъ вѣтвистыхъ,
Въ кругу красавицъ молодыхъ;
Заздравнымъ не стучишь фіаломъ,
Любовь и Вакха не поешь,
Довольный щастливымъ началомъ,
Цвѣтовъ Парнасскихъ вновь не рвешь;
Не слышенъ нашъ Парни Россїйской!..

Пой юноша — Пѣвецъ Тійской
Въ тебя вліялъ свой нѣжной духъ
Съ тобою твой прелестной другъ,
Лилета красныхъ дней отрада;
Пѣвцу любви любовь награда;
Прими-же лиру. По струнамъ,
Летай игривыми перстами,
Как вешній Зефиръ по цвѣтамъ,
И сладострастными стихами,
И тихимъ шопотомъ любви.
Лилету въ свой шалашъ зови.
И блѣдныхъ звѣздъ при тихомъ свѣтѣ
Плывущихъ въ дальной вышинѣ,
Въ уединенномъ кабинетѣ
Волшебной внемля тишинѣ,
Слезами щастья грудь прекрасной
Щастливецъ милой окропляй;
Но упоенъ любовью страстной
И нѣжныхъ музъ не забывай;
Любви нѣтъ болѣ щастья в мірѣ:
Люби — и пой ее на лирѣ.

Пой юноша — Пѣвецъ Тiйской
Въ тебя вліялъ свой нѣжной духъ
Съ тобою твой прелестной другъ.
Лилета красныхъ дней отрада;
Пѣвцу любви любовь награда,
Прими жъ лиру По струнамъ,
Катай игривыми перстами,
Какъ вешній Зефиръ по цвѣтамъ,
И сладострастными стихами,
И тихимъ шопотомъ любви.
Лилету въ свой шалашъ зови.
И блѣдныхъ звѣздъ при тихомъ свѣтѣ
Плывущихъ въ дивной вышинѣ,
Въ уединенномъ кабинетѣ
Волшебной внемля тишинѣ,
Слезами щастья грудь прекрасной
Щастливецъ милой окропляй;
Но упоенъ любовью страстной
И нѣжныхъ музъ не забывай;
Любви нѣтъ болѣ щастья въ мірѣ:
Люби — и пой и на лирѣ.

Когда жъ къ тебѣ въ досужный часъ
Друзья, знакомые сберутся,
И вины пѣнные польются
От плѣна съ тр[е]скомъ свободясь:
Описывай въ стихахъ игривыхъ,
Веселье, шумъ гостей болтливыхъ
Вокругъ накрытаго стола;
Стаканъ кипящій пѣной бѣлой
И стукъ блестящаго стекла.
И гости дружно стихъ веселой
Бокалъ въ бокалъ ударя въ ладъ
Не стройнымъ хоромъ повторятъ.
Поэтъ! въ твоей предмѣты волѣ.
Во звучны струны смѣло грянь,
Съ Ж.[1] пой кроваву брань
И грозну смерть на ратномъ поле.
И ты въ строяхъ ее встрѣчалъ
И ты постигнутый судьбою,
Как Россъ, питомцемъ славы палъ!

[1] С Жуковским.

Когда жъ къ тебѣ въ досужный часъ
Друзья знакомые сберутся,
И вина пѣнныя польются
Отъ пробки съ трескомъ свободясь:
Одушевляй въ стихахъ игривыхъ,
Веселье, шумъ гостей болтливыхъ,
Вокругъ накрытаго стола;
Стаканъ кипящій пѣной бѣлой
И стукъ блестящаго стекла
И гости дружно стихъ веселой
Бокалъ въ бокалъ ударя въ ладъ
Нестройнымъ хоромъ повторятъ.

Поэтъ! въ твоемъ предметѣ воля
Во звучны струны смѣло грянь,
Съ Ж. пой кровавую брань
И грозну смерть на ратномъ полѣ. —
И ты въ строяхъ ея встрѣчалъ
И ты постигнутый стрѣлою,
Какъ Россъ, питомецъ славы, палъ!

Ты палъ — и хладною косою
Едва скошенный не увялъ!... [1]
Иль вдохновенный Ювеналомъ
Вооружась сатиры жаломъ,
Подъ часъ при ее свистокъ,
Рази осмѣивай порокъ,
Шутя показывай смѣшное
И, естьли можно, насъ исправь.
Но Тредьяковскаго оставь
Въ столь часто рушенномъ покоѣ.
Увы! Довольно безъ нево
Найдемъ безсмысленных поэтовъ,
Довольно въ мірѣ есть предметовъ
Пера достойныхъ твоево!
Скажи по милости Графону
Ползкомъ ползущу къ Геликону,
Чтобъ пересталъ писать, писать
И бѣдныхъ насъ морить со скуки

[1] Комы неизвѣстны Воспоминанья на 1807 годъ? (Примеч. А. С. Пушкина.) (Вместо слова «кому» в подлиннике ошибочно написано: «комы».)

Ты правъ — и гладкою стопою
Едва, смиренный, не увялъ!.. (*)
Иль вдохновенный Ювеналомъ
Вооруживъ сатиры жаломъ,
Подъячихъ шпили и свистковъ,
Рази отъявленный порокъ,
Шутя показывай смѣшное
И, если можно, нашъ исправь.
Но Тредьяковскаго оставь
Въ столь часто рушенномъ покоѣ.
Увы! Довольно безъ него
Найдешь безсмысленныхъ поэтовъ,
Довольно въ мірѣ и предметовъ
Пера достойныхъ твоего!
Скорей по милости Графову
Поэзію ползущу къ Геликону,
Чтобъ перестала писать, писать
И бѣдныхъ насъ морить со скуки

(*) Каковы неизвѣстны воспоминанія въ 1807 году?

Скажи ему что наши внуки
Не станутъ вздоръ его читать.
Все, все позволено поэту:
Скажи всему коль хочешь свѣту
Что... не впопадъ
Уродовъ выстовя на сцену,
Визжать заставилъ Мельпомену;
Что Клитъ былъ добрый человѣкъ
Тихонько проводилъ свой вѣкъ,
Своимъ домкомъ спокойно правилъ
И жилъ безъ горя, безъ заботъ,
Покамѣсть не печаталъ одъ
Гдѣ здравый смыслъ верхъ — дномъ поставилъ,
Гдѣ вы навидитесь всево,
Гдѣ всѣ чудовища Геенны
На жертву Агнцы обреченны...
Гдѣ нѣтъ — лишь смысла однаво;
Что съ горя нынѣ изсыхаетъ·
Что неуклюжій Славянинъ,
Измѣнник ревностнымъ [1] дружинъ,

[1] Описка вместо «ревностныхъ».

Скажи ему что наши внуки
Не станутъ вздоръ его читать.
Да, все позволено поэту:
Скажи ему коль лжешь свѣту
Что ... не впопадъ
Уродовъ вытовъ на сцену,
Визжать заставилъ Мельпомену;
Что Климтъ былъ добрый человѣкъ
Тихонько проводилъ свой вѣкъ.
Своимъ домкомъ спокойно правилъ
И жилъ безъ горя, безъ заботъ,
Покамѣстъ не печаталъ одъ
Гдѣ здравый смыслъ вверхъ-дномъ поставилъ,
Гдѣ вы навидитель всего,
Гдѣ всѣ чудовища Геенны
На жертву Агнцы обречены...
Гдѣ нѣтъ — лишь мысли одного;
Что съ горя пѣвъ цевила[illegible];
Что Неуклюжій Славянинъ
Измѣнникъ ревностныхъ дружинъ,

Воряжски пѣсни затѣваетъ
Теперь на дудочкѣ простой
И слогомъ древности сѣдой
Въ деревню братьевъ приглашаетъ,
Сошелъ съ ума и въ постухи! —
Вотъ каково писать стихи!

Но что!. цѣвницею своею
Не славный в мірѣ семъ поэтъ,
Я пѣсней продолжать не смѣю.
Прости,— но помни мой совѣтъ:
Доколѣ музами любимый
Ты Піеридъ горишь огнемъ,
Доколь сраженъ стрѣлой незримой
Въ подземной ты не снидешь домъ;
Мірския забывай печали
На лирѣ что младой Назонъ,
Эротъ и Граціи вѣнчали,
А самъ настроилъ Аполлонъ.

НКШП.

Вергерьки пѣсни затѣваетъ
Теперь на дудочкѣ простой
И слогомъ древности сѣдой
Въ деревню братьевъ приглашаетъ,
Сошелъ съ ума въ поступки! —
Вотъ каково писать стихи!

Не что̀ цѣвницу свою
Не славный въ мірѣ имъ поэтъ,
Я пѣсней продолжать не смѣю.
Прости, — но помни мой совѣтъ:
Доколѣ музами любимый
Ты Піеридъ горишь огнемъ,
Доколь сраженъ стрѣлой незримой
Въ подземной ты не снидешь домъ;
Мірскіе забывай печали
Не мирь что младой Назонъ,
Эротъ и Граціи вѣнчали,
А самъ настроилъ Аполлонъ

НКШП.

Къ Лицинію [1]

Лициній, зришь ли ты? на быстрой колесницѣ
Увѣнченъ лаврами, въ блестящей багряницѣ
Спѣсиво развалясь Ветулій молодой
Въ толпу нарадную[2] летитъ по мостовой
Смотри какъ всѣ предъ нимъ усердно спину клонятъ
Какъ Ликторовъ полки народъ нещастной гонятъ.
Льстецовъ, сенаторовъ, прелестницъ длинной рядъ
Съ почтеніемъ ему умильный мещутъ взглядъ
Ждутъ въ тайномъ трепетѣ улыбки, глазъ движенья
Какъ будто дивнаго Боговъ благословенья;
И дѣти малые и старцы съ сѣдиной
Стремятся всѣ за нимъ и взоромъ и душой
И даже слѣдъ колесъ въ грязи напечатлѣнный
Какъ нѣкій памятникъ имъ кажется священный.
О Ромуловъ народъ! предъ кѣм ты палъ во прахъ
Предъ кѣмъ возчувствовалъ въ душѣ столь низкой страхъ?
Квириты гордые подъ иго преклонились!..
Кому жъ, о небеса! кому поработились?...
Скажу ль?— Ветулію! отчизнѣ стыдъ моей
Развратной юноша возсѣлъ въ совѣтъ мужей,
Любимецъ деспота[3] сенатомъ слабымъ[4] правитъ,
На Римъ простеръ яремъ, отечество безславитъ
Ветулій, Римлянъ царь!... о срамъ! о времена
Или вселенная на гибель предана? —

---

[1] Автограф «Къ Лицинію» — полулист писчей бумаги, согнутый пополам (четыре страницы). Стихотворение впервые напечатано А. С. Пушкиным в 1815 г. в № 5 «Российского музеума». Напечатанный текст имеет отличия от более раннего текста автографа. По автографу текст печатается впервые.

[2] Описка, вместо «народную»

[3] Дальше зачеркнуто «какъ Царь».

[4] «Слабымъ» вписано наверху.

Къ Лицинію.

Лициній, зришь ли ты? на быстрой колесницѣ
Увѣнчанъ лаврами, въ блестящей багряницѣ
Спесиво развалясь Ветулій молодой
Въ толпу народную летитъ по мостовой
Смотри какъ всѣ предъ нимъ усердно спину клонятъ
Какъ Ликторовъ жезлы народъ нещастной гонятъ
Льстецовъ, сенаторовъ, прелестницъ длинной рядъ
С почтеніемъ ему умильный мещутъ взглядъ
Ждутъ въ тайномъ трепетѣ улыбки, глазъ движенья
Какъ будто дивного боговъ благословенья,
И дѣти малые и старцы съ сѣдиной
Стремятся всѣ за нимъ и взоромъ и душой
И даже слѣдъ колесъ въ грязи напечатлѣнный
Какъ нѣкій памятникъ имъ дорогой священный.
О Ромуловъ народъ! предъ кѣмъ ты палъ во прахъ,
Предъ кѣмъ воцарствовалъ ведущій срамъ низкой страхъ,
Квириты гордые подъ иго преклонились!..
Кому жъ, о небеса! кому поработились?
Скажу ль? — Ветулію! отчизны стыдъ моей
Развратной юноша возсѣлъ въ совѣтъ мужей,
Любимецъ деспота ~~[illegible]~~ слабымъ сенатомъ правитъ,
На Римъ простеръ яремъ, отечество безславитъ
Ветулій, Римлянъ царь!.. о срамъ! о времена!
Иль вселенная на гибель предана?..—

Но кто, подъ портикомъ, съ руками за спиною
В изорванномъ плащѣ и съ нищенской сумою
Поникнувъ головой нахмурившись идетъ?
Не ошибаюсь я, философъ то Даметъ;
Даметъ! куда, скажи, въ одѣждѣ столь убогой
Средь Рима пышного бредешь своей дорогой?
— Куда? не знаю самъ. Пустыни я ищу
Среди разврата жить ужъ болѣ не хочу
Япетовых дѣтей пороки, злобу вижу.
На вѣкъ оставлю Римъ: я людства ненавижу.—
Лициній, добрый другъ! не лучше-ли и намъ,
Отдавъ поклонъ мечтѣ, Фортунѣ, суетамъ,
Сѣдова стоика примѣром научиться?
Не лучшель навсегда со градом разпроститься,
Гдѣ все на откупѣ: законы, правота
И жены, и мужья, и честь, и красота?
Пускай Глицерія, красавица младая,
Ровно всѣм общая, какъ чаша круговая
Другихъ неопытныхъ въ любовну ловитъ сѣть;
Намъ стыдно слабости съ морщинами имѣть,
Летитъ отъ старика любовь въ толпѣ веселій
Пускай безстыдной Клитъ, вельможей рабъ Корнелій

Но кто, подъ портикомъ, съ руками за спиною
Въ изорванномъ плащѣ и съ нищенской сумою
Поникнувъ головой нахмурившись идетъ?
Не ошибаюсь я, философъ то Дамитъ;
Дамитъ! куда, скажи, въ одеждѣ столь убогой
Средь Рима пышнаго бредешь своей дорогой?
— Куда? не знаю самъ. Пустыни я ищу
Среди разврата жить ужъ болѣе не хочу
Я истощевалъ эктій порока, злобу вижу.
На вѣкъ оставлю Римъ: я людства ненавижу. —
Лициній, добрый другъ! и мы, и мы, и нами
Отдавъ поклонъ мечтѣ, фортунѣ, суетамъ,
Сѣдова стоика примѣромъ научимся!
Не лучше ль навсегда со градомъ разпроститься,
Гдѣ все на откупѣ: законы, правота
И жрецъ, и судія, и честь, и красота!
Пускай Гликерія, красавица младая,
Равно всѣмъ общая, какъ чаша круговая
Друзьямъ неопытнымъ въ любовну ловитъ сѣть,
Намъ стыдно слабостямъ съ морщинами имѣть,
Летитъ отъ старика любовь въ толпѣ ...
Пускай бездѣльной Клитъ, вельможей рабъ Кор=
=нилій

Оставя ложе сна съ запѣвшимъ пѣтухомъ
Отъ знатныхъ къ богачамъ бѣгутъ изъ дома въ домъ,
Я сердцемъ Римлянинъ; кипитъ въ груди свобода
Во мнѣ не дремлетъ духъ великаго народа.—
Лициній, поспѣшимъ, далеко отъ заботъ,
Безумныхъ гордецовъ, обманчивыхъ красотъ,
Докучныхъ риторовъ, Парнасскихъ Геростратовъ
Въ деревню пренесемъ отеческихъ пенатовъ;
Въ тѣнистой рощицѣ, на берегу морскомъ
Найти не трудно намъ красивый, свѣтлой домъ,
Гдѣ больше не страшась народнаго волненья
Подъ старость отдохнемъ въ сѣни уединенья;
И тамъ разположась въ уютномъ уголкѣ
При дубѣ пламенномъ возженномъ въ камелькѣ
Воспомнивъ старину за дедовскимъ фіяломъ
Свой духъ воспламеню Петрономъ, Ювеналомъ,
Въ гремящей сатирѣ порокъ изображу[1]
И нравы сихъ вѣковъ потомству обнажу.
О Римъ! о гордой край разврата, злодѣянья,
Придетъ ужасный день — день мщенья, наказанья
Предвижу грозного величія конецъ,
Падетъ, падетъ во прахъ вселенныя Венецъ!
Народы дикие, сыны свирѣпой брани,

[1] В подлиннике ошибочно «озоброжу».

2

Оставь ложе сна съ запѣвшимъ пѣтухамъ
Отъ знатныхъ къ богачамъ бѣгутъ изъ дома въ домъ,
Я сердцемъ Римлянинъ; кипитъ въ груди свобода
Во мнѣ не дремлетъ духъ великаго народа. —
Лициній, поспѣшимъ далеко отъ заботъ,
Безумныхъ гордецовъ, обманчивыхъ красотъ,
Докучныхъ риторовъ, Парнасскихъ Геростратовъ
Въ деревню пренесемъ отеческихъ пенатовъ,
Въ тѣнистой рощицѣ, на берегу морскомъ
Найти не трудно намъ красивый, свѣтлой домъ,
Гдѣ больше не страшась народнаго волненья
Подъ старость отдохнемъ въ глуши уединенья,
И тамъ расположась въ уютномъ уголкѣ
При дубѣ пламенномъ возженномъ въ камелькѣ,
Воспомнимъ старину за дѣдовскимъ фіаломъ
Свой духъ воспламеню Петроніемъ, Ювеналомъ,
Въ гремящей сатирѣ порокъ изображу
И нравы сихъ вѣковъ потомству обнажу.

О Римъ! о гордой край разврата, злодѣ-
янья,
Придетъ ужасный день — день мщенья, наказанья
Предвижу грознаго величія конецъ,
Падетъ, падетъ во прахъ вселенныя Венецъ!
Народы юные, сыны свирѣпой брани,

Войны ужасной мечь пріявъ въ кровавы длани,
И горы и моря оставятъ за собой
И хлынутъ на тебя кипящею рѣкой.
Изчезнетъ Римъ; его покроетъ мракъ глубокой
И путникъ обративъ на груды камней око
Речетъ задумавшись въ мечтаньяхъ углубленъ:
«Свободой Римъ возросъ а рабствомъ погубленъ.

Пушкинъ

Войны ужасной мечь прiявъ въ кровавы длани,
И горы и моря оставятъ за собой
И хлынутъ на тебя кипящею рѣкой.
Исчезнетъ Римъ; его покроетъ мракъ глубокой;
И путникъ обративъ на груды камней око
Речетъ задумавшись въ мечтаньяхъ углубленъ:
„Свободой Римъ возросъ а рабствомъ погубленъ!

Пушкинъ.

Къ молодой вдовѣ[1]

(1817)

Лида, другъ мой неизмѣнной,
Почему сквозь легкой сонъ
Часто нѣгой утомленной
Слышу я твой тихой стонъ?
Почему въ любви щастливой
Видя страшную мечту,
Взоръ недвижной боязливой
Устремляешь въ темноту?
Почему когда вкушаю
Быстрой обморокъ любви,
Иногда я замѣчаю
Слезы тайныя твои?
Ты разсѣянно внимаешь
Рѣчи пламенной моей,
Хладно руку пожимаешь
Хладенъ взоръ твоихъ очей...
О безцѣнная подруга!
Вѣчноль слёзы проливать?

[1] Автограф «Къ молодой вдовѣ» — полулист писчей бумаги, согнуты пополам (четыре страницы).

Къ молодой вдовѣ.

(1817.)

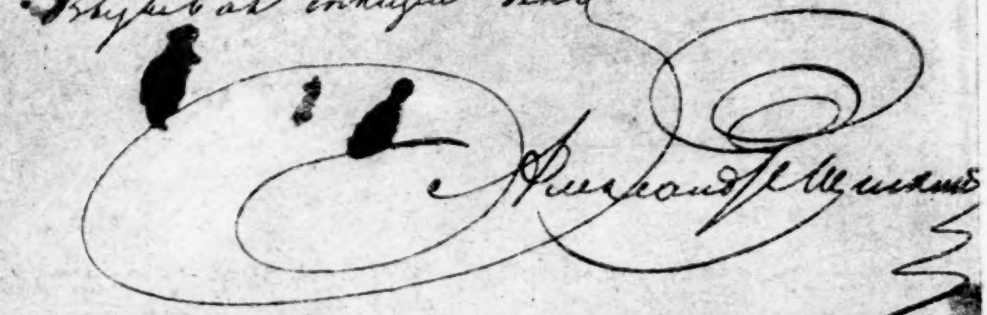
Лида, другъ мой неизмѣнной,
Почему сквозь легкой сонъ
Часто съ нѣгой утомленной
Слышу я твой тихой стонъ!
Почему въ любви счастливой
Видя страшную мечту,
Взоръ недвижной, боязливой
Устремляешь въ темноту!
Почему когда вкушаешь
Быстрой обморокъ любви,
Иногда ты проливаешь
Слезы тайныя твои?
Ты разсѣянно внимаешь
Рѣчи пламенной моей,
Хладно руку пожимаешь
Хладенъ взоръ твоихъ очей —
О безцѣнная подруга!!
Вѣчно ль слезы проливать

Вѣчноль мертваго супруга
Изъ могилы вызывать?
Вѣрь мнѣ: узниковъ могилы
Тамъ объемлетъ вѣчной сонъ
Имъ не милъ ужъ голосъ милый
Не прискорбенъ скорби стонъ
Не для нихъ — весенни розы,
Сладость утра, шумъ пировъ
Откровенной дружбы слезы
И любовницъ робкий зов...
Рано другъ твой незабвенной
Вздохомъ смерти воздохнулъ
И блаженствомъ упоенной
На груди твоей уснулъ—
Спитъ увѣнчанный щастливецъ
Верь любви — невинны мы —
Нѣтъ — разгнѣванной ревнивецъ
Не придетъ изъ вѣчной тьмы
Тихой ночью громъ не грянетъ

Вѣчной мертваго супруга
Ищи могилы взрывать-о
Вѣрь мнѣ: у ... могилы
Тамъ объемлетъ вѣчный сонъ
Имъ не слышенъ ужъ голосъ живыхъ
Не пригвожденъ мертвыхъ сонъ
Не для нихъ - весенни розы,
Сладость утра, шумъ пировъ
Откровенной дружбы слезы
И любовницъ робкій зовъ
Рано другъ твой незабвенной
Вкушаетъ смерти ... вѣдомыхъ
И блаженствомъ упоенный
На груди твоей уснулъ -
Спитъ утѣшенный улыбкой
Вѣрь любви - невинной ...!
Нѣтъ - разцвѣтанной ревнивецъ
Не придетъ цвѣтной тѣни
Тѣнью полно гробницы ...

И завистливая тѣнь
Близъ любовниковъ не станетъ
Вызывая спящій день.

Александр Пушкин.



ПУШКИН В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ПРЕБЫВАНИЯ В ЛИЦЕЕ

Портрет, принадлежавший директору лицея
Е. А. Энгельгардту

ЗДАНИЕ ЛИЦЕЯ

Лицейские лекции

(По записям А. М. Горчакова)

I

Одним из интереснейших явлений общественной жизни России начала XIX в. является царскосельский лицей, в котором учился А. С. Пушкин. Заведение это, задуманное правительством, как школа подготовки «юношества особо предназначенного к важным частям службы государственной», благодаря стечению обстоятельств превратилось в один из центров воспитания молодежи в духе вольномыслия. Документы и материалы о направлении преподавания в лицее и царившей там политической атмосфере дают возможность утверждать, что лицей являлся рассадником оппозиционных царскому правительству идей не в меньшей мере, чем возникшие позже ранние тайные общества «Союз спасения» и «Союз благоденствия» с их «вольными» филиалами. Ф. Булгарин, вскоре после разгрома декабрьского восстания представивший в III отделение верноподданническую записку о «лицейском духе», охарактеризовал тип молодого человека «лицейского воспитания» следующими чертами: «молодой человек должен... порицать насмешливо все поступки лиц, занимающих значительные места, все меры правительства, знать наизусть или быть сочинителем эпиграмм, пасквилей и песен предосудительных,... знать все самые дерзкие и возмутительные стихи и места самые сильные из революционных сочинений. Сверх того, он должен толковать о конституции, палатах, выборах, парламентах, казаться неверующим христианским догматам... Верноподданный — значит укоризну на их языке, европеец, либерал — почетные названия»[1]. Лицейское вольномыслие, в самом начале организации этого заведения санкционированное М. М. Сперанским и под руководством первого директора лицея Малиновского проводившееся во всей системе преподавания, нашло отражение и в формах общежития воспитанников. Лицеист Илличевский, характеризуя лицейскую атмосферу, писал своему другу Фуссу 2 ноября 1814 г.: «Благодаря бога, у нас, по крайней мере, царствует с одной стороны свобода (а свобода дело золотое). Нет скучного

[1] Б. Л. Модзалевский, Пушкин под тайным надзором, П. 1925, стр. 36.

заведения сидеть à ses places; в классах бываем недолго: 7 часов в день; больших уроков не имеем; летом досуг проводим в прогулке, зимою в чтении книг, иногда представляем театр, с начальниками обходимся без страха, шутим с ними, смеемся» [1]. Отражением интереса воспитанников лицея к вопросам общественно-политическим являлось издание ими «журналов» — рукописных сборников собственных произведений. Любопытно, что активность лицеистов на этом поприще всячески стимулировалась лицейской администрацией. Так, в «Вестнике» — одном из ранних лицейских сборников — упомянуто, что: «Инспектор лицея М. С. Пилецкий предложил учредить собрание всех молодых людей, которых общество найдет довольно способными к исполнению должности сочинителя, и чтобы всякий член сочинил что-нибудь в продолжение, по крайней мере, двух недель, без чего его выключат» [2]. В старых работах, посвященных истории лицея, литературная самодеятельность лицеистов об'яснялась простым перенесением в лицей традиций Московского благородного пансиона. Различие между направлениями благородного пансиона (в котором основной «литературой» для воспитанников являлись «Утренние и вечерние размышления о божьем величии, на каждый день» и «Книга премудрости и добродетели» [3], и лицеем, так же как борьба между различными группами воспитанников внутри лицея, обычно смазывались. Между тем, даже те остатки лицейских архивов пушкинской поры, которые дошли до нас, говорят об общественно-политической направленности литературных интересов молодых авторов. Эта направленность выражалась не только в лицейских «национальных» песнях, в которых, например, нелюбимому Фролову пели «Твой друг и барин Аракчеев», но и в ряде помещенных в лицейских журналах произведений. Так, показательной для характеристики отношения наиболее передовой группы лицеистов к чинам и титулованной знати является следующая эпиграмма Илличевского:

Гуляй, mon Prince, чего учиться. —
От книг беги, как от беды;
Разве должно над книгой биться?
Чорт с ней! Спятельный ведь ты;
Алмазы, денежки имеешь,
Как с сим чинов не получать?
Охота ж в пенсион езжать?
Ведь ты parler français уже умеешь!

Самый факт того, что не только Пушкин, являвшийся, по словам И. И. Пущина, главой литературного движения в стенах лицея, но и другие лицеисты печатали свои произведения в «Вестнике Европы», «Российском музеуме» и других журналах (Дельвиг, Илличевский, М. Яковлев, Кюхельбекер, Пущин), весьма показателен для характеристики лицейской среды.

Большое значение в выработке мировоззрения лицеистов сыграло их общение с членами тайных обществ. И. И. Пущин, рассказывая в своих записках о связях с кружком, в который входили члены «Союза благоденствия» Бурцов, П. Колошин и др., беседовавшие с ним «о зле существующего у нас порядка вещей», заключает: «Бурцов, которому я больше высказывался, нашел, что, по мнениям и убеждениям моим, вынесенным из лицея, я готов для дела» [4]. Как установлено Ю. Н. Тыняновым, членами бурцевского кружка были три самых близких друга Пушкина — Пущин, Дельвиг и Кюхельбекер. Если кроме всего этого учесть личные связи Пущ-

[1] Я. Грот, Пушкин, его лицейские товарищи и наставники, СПБ 1899, стр. 59.
[2] Там же, стр. 31.
[3] Об этом см. В. И. Резанов, Из разысканий о сочинениях В. А. Жуковского, СПБ 1906, стр. 59—65, 144—145.
[4] Ю. Н. Тынянов, Пушкин и Кюхельбекер, «Литературное наследство» № 16—18, стр. 331.

кина-лицеиста (общение с офицерами полков, расположенных в Царском Селе,— Чаадаевым, Кавериным, Н. Н. Раевским), то станет ясным, почему он на всем протяжении своего жизненного пути сохранил о лицее самые лучшие воспоминания. Традиционное празднование «лицейских годовщин» — 19 октября — носило у Пушкина и его друзей явно политический характер. Дружеский лицейский «союз» — «святое братство», воспетое Пушкиным, было скреплено общими идейными устремлениями политически передовых лицеистов. Для доказательства этого достаточно сравнить хотя бы два следующих отрывка из стихотворений Пушкина, посвященных лицейским годовщинам 1825 и 1827 гг.

— Друзья мои, прекрасен наш союз!
Он как душа неразделим и вечен —
Неколебим, свободен и беспечен
Сростался он под сенью дружных муз.
Куда бы нас ни бросила судьбина,
И счастие куда б ни повело,
Все те же мы...

(«19 октября 1825 года»).

— Бог помочь вам, друзья мои,
И в бурях, и в житейском горе,
В краю чужом, в пустынном море,
И в мрачных пропастях земли!

(«19 октября 1827 года»).

В отзывах друзей поэта на его гибель проходит та же идея взаимной ответственности за судьбу каждого из членов «святого братства». Товарищ Пушкина по лицею — Матюшкин писал М. Яковлеву в 1837 г.: «Пушкин убит, Яковлев, как ты это допустил — у какого подлеца поднялась на него рука. Яковлев, Яковлев, как ты мог это допустить? Наш круг редеет, скоро и нам пора убираться». Еще ярче выражена та же мысль в письме И. И. Пущина к своему лицейскому сверстнику И. В. Малиновскому: «...кажется, если бы при мне должна была случиться его (Пушкина.—*Б. М.*) несчастная история и если б я был на месте К. Данзаса, то роковая пуля встретила бы мою грудь»[1]. Такая, начавшаяся в лицее и продолжавшаяся в течение десятилетий традиция высокоидейного содружества передовой группы лицеистов могла возникнуть только в условиях той системы преподавания и воспитания, которая, с усилением политической реакции, была разгромлена «стараниями» министерства духовных дел и народного просвещения.

В настоящее время материалы о пушкинском лицее пополняются публикуемыми нами записями лекций, сохранившимися в архиве одного из лицейских сверстников Пушкина, кн. А. М. Горчакова[2]. Эти записи представляют значительный интерес для характеристики влияний, под которыми складывалось мировоззрение юного Пушкина. Сделанные с тщательностью «первого ученика», они несомненно точно передают основное содержание лекций. Об образцовом ведении записей свидетельствуют не только восторженные отзывы преподавателей о прилежании и успехах Горчакова[3], но и сохранившаяся в одной из тетрадей записочка, в которой один из лицеистов иронически восклицает: «О суета сует и всяческая суета — о когда выпадет перо из рук твоих, первый писец лицейский! — Глаза потеряешь, увы. То[гда] что будет с [тобой]».

[1] Цитировано в книге К. Я. Грота, Пушкинский лицей, СПБ 1911, стр. 112.

[2] Горчаков, А. М.— товарищ Пушкина по лицею, в 1856—1882 гг. министр иностранных дел, с 1863 г.— канцлер. О Горчакове и об отношениях между ним и Пушкиным см. статью П. Е. Щеголева, Кн. А. М. Горчаков и Пушкин, в Собр. соч. Пушкина под ред. С. А. Венгерова, т. I. СПБ 1907, стр. 230—238.

[3] См. упомянутую статью П. Е. Щеголева, стр. 232.

Но «первый писец лицейский» не обращал внимания на насмешки товарищей. Результатом его прилежания явились, в частности, тетради, в которых содержатся курсы: «Изображение системы политических наук», «Государственное хозяйство», «Энциклопедия прав», «Российский язык», «Введение в эстетику» и неполные записи курсов истории. Воспроизведение всех записей составит книгу значительного об'ема, и, конечно, невозможно в пределах журнальной публикации. Поэтому здесь мы публикуем те части, которые представляют первостепенный интерес для исследователя системы и методов преподавания в пушкинском лицее.

II

Теперь уже нет необходимости опровергать типичный для старого пушкиноведения взгляд на Пушкина, как на поэта, избегавшего всего, что непосредственно не касалось художественного творчества, и, в частности, чуждавшегося теоретического мышления. Статьи, заметки и записи Пушкина свидетельствуют о его разносторонних интересах. Родоначальник новой русской литературы уделял внимание и вопросам государственной политики («Записка о народном воспитании», «Заметки о дворянстве», замечания на книгу Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву»), и проблемам историческим (статьи и наброски о русской и французской истории, материалы для истории Петра, история Пугачева), и экономическим (например, заметки при чтении работы М. Ф. Орлова «О государственном кредите»).

Философские вопросы занимали Пушкина еще в детстве. В относящемся к 1830 г. плане автобиографических записок Пушкин отмечает под 1811 г.— годом поступления в лицей: «Мое положение.— Философические мысли.— Мартинизм». А 10 декабря 1815 г. Пушкин записывает в лицейском дневнике: «Вчера написал я третью главу Фатама или Разума человеческого: Право естественное. Читал ее С. С. и вечером с товарищами тушил свечки и лампы в зале. Прекрасное занятие для философа!» Один из ранних биографов Пушкина В. П. Гаевский замечает по поводу этого раннего произведения Пушкина, написанного по образцу философских повестей Вольтера: «Содержание ее мы слышали с некоторыми подробностями: супруги просили у судьбы сына самого разумного, каких еще не бывало; но как в природе развивается в ту или другую сторону, то им обещано, что сын их родится необыкновенно умным, с летами же постоянно будет терять способности и, наконец, обратится в детство. Действительно, родившись, он был чрезвычайно учен, говорил по-латыни, и едва взглянув на свет, спросил — ubi sum? и т. д.» [1].

Но «Фатама», где, судя по заголовку и свидетельствам биографов, был поставлен острый вопрос о законах развития человеческого общества, не уцелела. Также не уцелело и другое произведение Пушкина — комедия в стихах «Философ», о которой лицеист Илличевский писал своему другу Фуссу 16 января 1816 г.: «План довольно удачен и начало, то-есть 1-е действие, до сих пор только написанное, обещает нечто хорошее; стихи — и говорить нечего — а острых слов сколько хочешь... дай бог ему окончить — это первый большой ouvrage, начатый им, ouvrage, которым он хочет открыть свое поприще по выходе из лицея. Дай бог ему успеха,— лучи славы его будут отсвечиваться и в его товарищах». Как мы видим, Пушкин был настолько увлечен замыслом комедии «Философ» и придавал ей такое значение, что думал ею «открыть свое поприще по выходе из лицея». Если учесть эти литературно-философские интересы молодого поэта, который в шестнадцатилетнем возрасте задумал воплотить в художественной форме принципы трактата «Du contrat Social» Ж. Руссо («Фатама»), то станет вполне понятным его интерес к лекциям наиболее одаренного из лицейских преподавателей — профессора нравственных

[1] Я. Грот, цит. соч., стр. 67.

и политических наук Александра Петровича Куницына, которому посвящены следующие строки в автографе стихотворения «19 октября 1825 г.»:

Куницыну дань сердца и вина!
Он создал нас, он воспитал наш пламень,
Поставлен им краеугольный камень,
Им чистая лампада возжена...

Один из лучших теоретиков-юристов своего времени, закончивший свое образование в Гейдельберге и Геттингене, Куницын пользовался заслуженным авторитетом в передовых кружках русского прогрессивного дворянства. Его статья «О конституции» [1], в которой утверждалось, что прошли те времена, «когда цари хотели царствовать только для себя самих» и что настало время иметь «народных представителей», встретила горячие отклики среди деятелей тайных обществ.

В 1819 г. Н. И. Тургенев задумывает издавать легальный журнал «Россиянин XIX века»; соредактором этого журнала Тургенев, как известно, пригласил Куницына. Среди членов «Союза благоденствия» Куницын пользовался большой популярностью как лектор политических наук. Член «Союза благоденствия» Бурцов писал в своем показании следственной комиссии по делу декабристов, что он, «подобно многим гвардейским офицерам», «посещал профессоров Германа, Галича, Куницына, преподававших лекции о политических науках»; декабрист А. В. Поджио упоминал о слушании им лекции Куницына о праве, Е. П. Оболенский — о его же лекциях по политической экономии. Интерес декабристов к лекциям Куницына вполне понятен, если учесть огромное влияние, которое имела в формировании их оппозиционных настроений социальная доктрина Руссо. Учение о «естественном праве» с его идеей народного суверенитета использовалось революционными элементами антиправительственной оппозиции в борьбе с официальной идеологией самодержавно-крепостнического государства. Значение идеологии французского просветительства для России начала XIX в. помогает понять известная оценка этой идеологии Энгельсом:

«Мир в течение прошедших веков руководился нелепыми предрассудками; лишь теперь (т. е. в эпоху подготовки французской революции XVIII в.— *Б. М.*) его озарил яркий свет разума и все прошлое заслуживало лишь сострадания и презрения.

Теперь мы знаем, что царство разума было не больше, как идеализированное царство буржуазии, что вечная справедливость, которая тогда была прокламирована, нашла свое осуществление в буржуазной юстиции, что разумное государство, Contrat Social Руссо, воплотилось в буржуазно-демократическую республику и ни во что другое воплотиться не могло. Великие мыслители XVIII века, как и мыслители всех предыдущих веков, не могли выйти из тех границ, которые им поставила их эпоха.

Но рядом с противоречиями между дворянством, монархией и буржуазией существовало общее противоречие между эксплоататорами и эксплоатируемыми, между неимущими рабочими и богатыми бездельниками, и вот это давало представителям буржуазии возможность выступать в качестве представителей страждущего человечества» [2].

Отсюда ясна причина враждебного отношения представителей официальной дворянской общественности к начавшемуся еще в XVIII в. проникновению идей Руссо в русскую литературу. Ссылки сатирических журналов на «нарушение естества» и на несогласие деспотизма с «естественным правом», утопические повести Хераскова «Кадм и Гармония», Левшина «Новейшее путешествие», наконец, пропитанное социальным гуманизмом и революционным пафосом «Путе-

[1] «Сын отечества», 1818, № 18.
[2] Ф. Энгельс, Диалектика природы, М. 1936, стр 222.

шествие из Петербурга в Москву» Радищева — таков диапазон усвоения и переработки идей Руссо на русской почве. К началу XIX в. учение Руссо представляло настолько реальную угрозу для «спокойствия государства Российского», что потребовалась специальная контратака, нашедшая выражение в появлении публицистических антируссоистских памфлетов [1].

К 10-м годам XIX в. консервативное и прогрессивно-оппозиционные направления русских последователей Руссо резко диференцировались. Первые были представлены Карамзиным и его последователями, подменившими действенный критицизм Руссо сентиментальными ламентациями. Для вторых «Contrat Social» явился орудием антиправительственной политической пропаганды. Известны свидетельства подавляющего большинства декабристов о изучении этого произведения [2], следы влияния которого отразились в программных документах тайных обществ (конституция Н. Муравьева, «Русская Правда» Пестеля). Поэтому значение деятельности Куницына, в живой и ясной форме излагавшего основные идеи Руссо и придававшего своему изложению строго систематический характер, было огромным.

О высоких качествах Куницына, как профессора, не смог умолчать даже такой мемуарист, как М. А. Корф, стремившийся опорочить все прогрессивные элементы лицея (в том числе пытавшийся очернить и Пушкина). В своей «Записке», написанной в 1854 г., Корф писал: «Куницын был, конечно, даровитее своих товарищей и, в особенности, говорил складнее, хотя без большого изящества; сверх того, у него было живое воображение, и он обиловал рассказами, сравнениями и т. п.» [3]. Отзвуком увлечения в лицее лекциями Куницына является следующая фраза в одной из статей № 3 «Лицейского мудреца»: «Теперь в классах говорят о правах естественных» [4]. О большом распространении идей Руссо в лицее свидетельствует также находящийся в собрании Ю. Н. Тынянова «Словарь» В. Кюхельбекера, составлявшийся в 1815—1817 гг. и содержащий большое количество выписок из Руссо, ученика Руссо Вейса, а также специальные статьи «Естественное право», «Сила и свобода» и «Добродетель» и т. д. [5]. Ю. Н. Тынянов совершенно правильно видит указание на этот словарь в следующей строфе стихотворения Пушкина «19 октября 1825 года».

Златые дни, уроки и забавы
И черный стол, и бунты вечеров,
И наш словарь, и плески мирной славы,
И критики лицейских мудрецов.

Как утверждает И. И. Пущин, «Пушкин охотнее всех других классов занимался в классе Куницына», хотя, как обычно, и «мало что записывал» [6]. Интерес Пушкина к лекциям Куницына вполне понятен, если учесть, какое большое место занимали в формировании мировоззрения Пушкина идеи «естественного права» и «законности». От Куницына Пушкин услышал основанные на теории «общественного договора» формулы о цели общества, об образах правления о правах и обязанностях правительства и решающей роли народа в выборе образа правления и установлении законов.

---

[1] См. например, вышедшие в 1809 г. «Отрывки сочинений одного старинного судьи» с приложением замечаний на известную книгу Руссо «Du Contrat Social». В этих «замечаниях» признается, что идеи Руссо вызывают «возмутительный дух» и «разливают во все души лютость, своеволие, необузданность».

[2] В. И. Семевский, Политические и общественные идеи декабристов, СПБ 1909, стр. 217 - 219.

[3] Я. Грот, цит. соч., стр. 228.

[4] К. Я. Грот, Пушкинский лицей, стр. 280.

[5] Ю. Н. Тынянов, Пушкин и Кюхельбекер, «Литературное наследство» № 16—18, стр. 32—33.

[6] И. И. Пущин, Воспоминания о Пушкине, М. 1927 г., стр. 16.

Близким всему идейному направлению творчества Пушкина явилось сформулированное Куницыным в самом начале курса «Изображение политических наук» положение: «... граждане независимые делаются подданными и состоят под законами верховной власти: но сие подданство не есть состояние кабалы. Люди, вступая в общество, желают свободы и благосостояния, а не рабства и нищеты; они подвергаются верховной власти на том только условии, чтобы она избирала и употребляла средства для их безопасности и благосостояния; они предлагают свои силы в распоряжение общества, но с тем только, чтобы они обращены были на общую и, следовательно, также и на их собственную пользу». Принятие Пушкиным проходящего через все лекции Куницына тезиса о «законности», как необходимом условии равновесия государства, отразилось уже в лицейских произведениях поэта. Так, в параллель к формулировкам Куницына: «каждое правление законно, которое учреждается законным образом», «когда употребляется кто-либо от своевластителя к другим целям, а не для цели государства, то таковое злоупотребление верховной власти называется т и р а н с т в о м» — можно привести следующие строки из «Бовы».

Царь Додон венец со скипетром
Не прямой достал дорогою,
Но убив царя з а к о н н о г о
. . . . . .
Царь Додон не слабоумного
Был достоин злого прозвища,
Но т и р а н а неусыпного.

Незыблемость «естественного закона», как основы государственного порядка, декларативно провозглашена Пушкиным в оде «Вольность» (1817):

Лишь там над царскою главой
Народов не легло страданье,
Где крепко с вольностью святой
Законов мощных сочетанье;
. . . . . .
Владыки! вам венец и трон
Дает закон — а не природа —
С т о и т е в ы ш е в ы н а р о д а,
Но в е ч н ы й в ы ш е в а с з а к о н
. . . . . .
Склонитесь первые главой
Под сень надежную з а к о н а,
И станут вечной стражей трона
Народов вольность и покой.

Конечно, не следует думать, что этими идеями Пушкин был обязан исключительно Куницыну. Необходимо учитывать широкое знакомство юного Пушкина с французской литературой. Но влияние Куницына, засвидетельствованное самим Пушкиным («...п о с т а в л е н и м к р а е у г о л ь н ы й к а м е н ь»), является несомненным.

Формулы Куницына позволяют уточнить содержание ряда образов и терминов, проходящих через все творчество Пушкина. Такова, например, не только цитированная нами трактовка Куницыным понятия «тиран» [1], не только кон-

[1] Ср. в набросках «История села Горюхина». «Была богатая вольная деревня. Обеднела от т и р а н с т в а». В свете трактовки понятия «тиран» в смысле узурпации «своевластителем» для корыстных целей личной свободы индивидуума, становится понятным и смысл стих. Пушкина «Чернь», в котором вы-

кретность апологии «естественного состояния» (ср. «Кавказский пленник» и «Цыганы»), но и остро заинтересовавшая Пушкина и нашедшая гениальное воплощение в «Борисе Годунове» проблема законности самодержавной власти, отношения между царем и народом.

Основным теоретическим источником курсов «Изображение политических наук» и «Право государственное» явился «Contrat Social». За это говорит хотя бы то, что ряд формулировок Куницына непосредственно восходит к этому произведению Руссо.

Тезис Руссо: «Puisque aucun homme n'a une autorité naturelle sur son semblable, et puisque la force ne produit aucun droit, restent donc les conventions pour base de toute autorité légitime parmi les hommes» [1],— является определяющим для всего курса Куницына. У Руссо он заимствовал не только общие положения, но и частные определения. Так, например, трактовка Куницына понятий «тиран» и «деспот» соответствует утверждению Руссо:

«Le tyran est celui qui s'ingère contre les lois à gouverner selon ces lois; le despote est celui qui se met au-dessus des lois mêmes» [2]. ... Но, несмотря на все эти заимствования Куницына, перед нами не простая компиляция или пересказ, а вполне самостоятельный курс. Различие между «Contrat Social» и курсом Куницына сказалось прежде всего в стремлении изложить принципы различных систем государственного управления (в том числе и самодержавия) без прямых политических оценок каждой из них [3]. Но, прилагая теоретические положения Куницына к монархии Александра I, лицеисты, согласно преподнесенным в лекциях формулам, могли бы оценить ее только как «тираническую» и «деспотическую». Разумеется, не следует преувеличивать «демократизм» Куницына. Однако нет данных и для того, чтобы на основании лекций говорить об его об'ективистской позиции по отношению к разным формам правления. Необходимо учитывать, что его лекции являлись актами легальной политической пропаганды в условиях бдительного контроля самодержавно-крепостнического государства.

Публикуемые нами записи построены по следующему плану:

ражен протест против стремлений «светской черни» диктовать поэту свою мораль и ограничить его творческую фантазию. В одном из автографов этого стихотворения имеется следующий вариант строфы, в которой характеризуется «чернь», требующая от поэта «уроков»:

Мы малодушны, мы коварны,
Бесстыдны, злы, неблагодарны,
Мы сердцем подлые скопцы,
Рабы, т и р а н ы, подлецы...

[1] J. J. R o u s s e a u, Du Contrat Social, Oeuvres complètes de J. J. Rousseau t. XII, Paris 1819, p. 184. (Перевод: «Так как ни один человек не имеет естественной власти над себе подобным и так как сила не производит никакого права, то лишь договоры могут быть основанием для всякой законной власти между людьми».)

[2] Op. cit., p. 276. (Перевод: «Тиран — это тот, кто восстает против законов, чтобы управлять согласно своим законам; ставит себя выше законов».)

[3] Заметим, что теоретически и Руссо допускал существование основанной на принципе законности монархии, указывая: «Pour être légitime, il ne faut pas que le gouvernement se confond avec le souverain; mais qu'il en soit le ministre: alors la monarchie elle-même est république» (p. 217). (Перевод: «Чтобы правительство было законным, необходимо, чтобы оно не смешивалось с сувереном, а было его служителем; в этом случае даже монархия есть республика»). Но наряду с этим Руссо подвергал резкой критике принцип самодержавия и дал королям следующую характеристику: «Leur intérêt personnel est premièrement que le peuple soit faible, misérable, et qu'il ne puisse jamais leur résister» (p. 256). (Перевод: «Их личный интерес заключается в том, чтобы народ был слабым, несчастным и никогда не мог бы им сопротивляться».)

«Изображение системы политических наук».

Введение.

Часть 1-я, гл. I. О природе человека; гл. II. О взаимных отношениях людей независимых.

Часть 2-я, гл. I. Об учреждениях верховной власти; гл. II. Об образах правления; гл. III. О подчиненных властям в Государстве.

Часть 3-я. О средствах к достижению целей общества. Гл. I. О различии целей общества и о различии средств для достижения оных. Гл. II. О средствах к достижению первоначальной цели государства; отделение I. О средствах противу врагов внутренних; отделение II. О средствах противу врагов внешних; отделение III. О средствах противу вредных действий природы. Глава III. О средствах к достижению общественного благосостояния, как вторичной цели общества; отделение I. Об основах народного благосостояния; отделение II. О средствах к народному обогащению; отделение III. О средствах к умножению народа; отделение IV. О средствах к образованию и просвещению народа. Глава IV. Общее средство к достижению как первоначальной, так и вторичной цели общества.

Энциклопедия прав.

Предварительные понятия: I. О способностях человека. II. О свободе воли человеческой. III. О законах нравственных. IV. О действиях человеческих. V. О вменении.

Далее следовали разделы: О правах и должностях; о главном начале права; о праве принуждения; о разделении права естественного; о различии права от нравоучения.

Часть 1-я. Право естественное. Гл. I. О правах врожденных; о качестве прав первоначальных. Гл. II. О правах производных;

Отделение I. О присвоении; отделение II. О следствиях собственности; о прекращении собственности; отделение III. О нарушении прав. Глава III. О договорах; об особенных родах договоров; о договорах возмездных;

Глава IV. Право общественное.— Далее в тетради изложен раздел «права религиозного».

Право государственное.

Введение.

I. Понятие о государственном праве.

II. О естественном состоянии.

III. О различных политических обществах.

Часть 1-я. Чистое государственное право. Глава I. О договоре соединения. Гл. II. О договоре включения жителей. Глава III. О правах величества. Гл. IV. О власти законодательной. Гл. V. О власти исполнительной. Гл. VI. О власти блюстительной. Гл. VII. О внешних правах величества. Гл. VIII. О внутренних правах величества.

Условное государственное право: 1. Об образах правления. 2. О способах приобретать верховную власть в монархии. 3. О республиканских образах правления. 4. О перемене образа правления.

Изложение курса и самое построение его дают возможность утверждать, что перед нами не живая запись, а копия записок Куницына. Это подтверждается также свидетельством М. А. Корфа, который в своих воспоминаниях писал: «При неимении в то время никаких печатных курсов, он сам (т. е. Куницын.— *Б. М.*) писал свои записки, а мы должны были их списывать и изучать, и изучать слово в слово...» [1]. Поэтому различные добавления Куницына и его

[1] Я. Грот, Пушкин, его лицейские товарищи и наставники, СПБ 1899 стр. 228. Такие же записи давали лицеистам для переписывания и другие преподаватели. Об этом см. свидетельство С. Д. Комовского (в кн. К. Я. Грота, Пушкинский лицей, СПБ 1911, стр. 12—13) и И. И. Пущина (Воспоминания о Пушкине, М. 1927 г., стр. 13).

живые, увлекавшие лицеистов «примеры», остались незафиксированными. Но о том, что свои теоретические положения Куницын пытался применить в практике, свидетельствует не только упомянутая выше статья «О конституции», но и другая его статья, где он доказывал, что принцип «общественного договора» в старину уже применялся в России. Возражая Уварову, утверждавшему в одной из речей, что Россия «по примеру Европы начинает помышлять о свободных понятиях», Куницын писал: «Никогда они (свободные понятия) не были чужды российскому народу. В важных происшествиях государства обыкновенно все сословия принимали участие и действовали единогласно» [1]. Но в тетрадях Горчакова сохранились лишь записи общих положений.

Чрезвычайно любопытным является применение Куницыным теории «общественного договора» к отдельному лицу. Тезис «никто не может лишить другого права личности даже с его собственного на то согласия... посему холопство, как произвольное закрепощение, есть действие противозаконное» [2] проходит через весь его курс.

Как известно, в 1818—1820 гг. Куницын издал «Право естественное» [3] в двух частях, что вызвало травлю его министерством духовных дел и народного просвещения, окончившуюся увольнением его от должности профессора. Труд этот, отпечатанный в количестве 1 000 экземпляров, был конфискован у автора, книгопродавцев и частных лиц, а также изъят из учебных заведений и уничтожен. На заседании ученого комитета было отмечено, что «Марат был искренний и практический исследователь сей науки» [4], а книге была дана следующая характеристика:

«По рассмотрению в главном правлении училищ книги «Естественное право», сочинение Куницына, найдено нужным по принятым в сей книге за основание ложным началам и выводимому из них весьма вредному учению, противоречащему истинам христианства, и клонящемуся к ниспровержению всех связей семейственных и государственных, книгу сию, как вредную, запретить повсюду к преподанию по ней, и при том принять меры к прекращению во всех учебных заведениях преподавания естественного права по началам столь разрушительным, каковые излагались в книге Куницына». Начальству лицея было сделано «строгое замечание» за допущение книги, «вселяющей в сердца неопытных юношей... дух неповиновения, своеволия и вольнодумства» [5].

Эта расправа с Куницыным получила следующую оценку Пушкина в «Послании цензору» (1822):

А ты, глупец и трус, что делаешь ты с нами?
Где должно б умствовать, ты хлопаешь глазами,
Не понимая нас, мараешь и дерешь;

---

[1] «Сын отечества», 1818 г., № 24, стр. 189—190.

[2] Ср. характеристику крепостничества в стих. Пушкина «Деревня»:

Здесь барство дикое, без чувства, б е з з а к о н а,
Присвоило себе н а с и л ь с т в е н н о й лозой
И труд, и собственность, и время земледельца.

Ср. также Запись Пушкина в дневнике 10 мая 1834 г. «Государю неугодно было, что о своем камер-юнкерстве отзывался я не с умилением и благодарностью, — но я могу быть подданным, даже рабом, но х о л о п о м и шутом не буду и у царя небесного» (разрядка наша. — *Б. М.*).

[3] «Право естественное, сочиненное профессором императорского лицея Александром Куницыным, Санктпетербург в типографии Иогансена, 1818»; «Право естественное, Часть II. Право прикладное. Сочинение проф. А. Куницына. Санктпетербург в типографии Иогансена. 1820».

[4] Архив министерства народного просвещения, журнал учебного комитета, 1820 г., лл. 205—206.

[5] Отношение министерства духовных дел и народного просвещения от 5 марта 1821 г. (дело по части дир. 1821, № 13) ср. И. С е л е з н е в, Исторический очерк императорского бывшего Царскосельского лицея за первое его пятидесятилетие, СПБ 1861, стр. 125—126.

Ты черным белое по прихоти зовешь:
Сатиру — пасквилем, поэзию — развратом,
Глас правды — мятежом, Куницына — Маратом.

Книга «Право естественное» отличается от публикуемых нами записей Горчакова уже по самому построению. Полный курс лицейских лекций Куницына состоял из двенадцати циклов, в число которых, кроме логики, психологии, нравственности и других дисциплин, входили: право естественное частное, право естественное публичное, право народное, право гражданское, русское, право уголовное, женское право, финансовое право[1]. При издании книги Куницын, хотя и воспользовался частью своих, составленных для лицея, записок некоторых читанных им дисциплин, но изменил как расположение разделов, так и содержание ряда использованных для книги глав. Для примера сравним определение монархического образа правления в записках Горчакова и в книге «Право естественное».

В записках Горчакова «Право государственное».

«Когда физическому лицу договором подданства предоставлены все права величества без всякого ограничения, т. е., когда он может располагать средствами для цели общества по своему только усмотрению, тогда образ правления называется монархическим, неограниченным или самодержавным» («Право государственное», гл. «Об образах правления», § 179).

В книге «Право естественное».

«Все граждане избирают одно лицо, которому обещают безусловное повиновение в исполнении его решений. Сей образ правления есть монархия или так называемое единодержавие» (ч. II, гл. II, § 111).

В определении, данном в рукописной записи, противоречие между назначением монарха заботиться о «цели общества» и принципом распоряжения средствами для этой цели «по своему только благоусмотрению» настолько логически заострено, что даже «степенный» Горчаков здесь же в тексте своей записи иронически заметил: «для цели общества по своему-то». В книге сказалось в значительно большей мере, чем в лицейских записках, стремление Куницына путем большего акцентирования могущества власти монарха усыпить бдительность официозной критики. Так, тезис о независимости «своевластителя» содержит в двух редакциях следующие различия:

В записках Горчакова «Право государственное»:

«Своевластитель совершенно ни от кого не зависим, ибо право его величества и верховной власти передано ему единогласно, потому воля его заступает волю целого народа, следовательно, она столь же независима, как и сия последняя» («Право государственное», гл. II «О договоре подданства», § 68).

В книге «Право естественное».

«Властитель ни от кого не зависит, ибо ему принадлежит верховная власть, следовательно, никакая в государстве власть выше его быть не может; в противном случае властитель был бы подвержен другой власти верховной, что само себе противоречит. Итак, властителю должно быть все подчинено, сам же он не подлежит никакой ответственности» (ч. II, стр. 91).

Осторожность Куницына сказалась также и в смягчении формулировок, раскрывающих отношение между законодательной и исполнительной властью. Для феодально-крепостнической России, с ее произволом и отсутствием основных законов, стремление передовых слоев общества добиться соблюдения «законности» играло, несомненно, прогрессивную роль и нашло отражение в пропаганде общества декабристов. Отсюда ясно значение § 113 главы «О власти исполнительной» горчаковских записок: «...исполнительная власть может повелеть только то, что определено законодательной властью. Итак, исполнительная власть подчинена законодательной, ибо она действует только в пределах предписанных ей сею последней даже и тогда, когда лицо, которому вверена испол-

[1] Селезнев, цит. соч., стр. 122.

нительная власть, участвует и в законодательной». В книге же это условие ограничения исполнительной власти сформулировано в значительно более узком смысле — только по отношению к судебной власти (II.76). Но даже те случаи, когда Куницын не изменял формулировок лицейских записок, а лишь перестраивал композицию материала, весьма любопытны. К примеру, в записках Горчакова есть специальный раздел «О способах приобретать верховную власть в монархии», где утверждается, что власть монарха зависит исключительно от народа, который после смерти его «вправе избрать нового властителя или переменить образ правления» и что самое избрание есть договор. В книге то же содержание введено в раздел «О монархическом образе правления». Далее, в записках Горчакова имеется глава «О республиканских образах правления» с об'яснением принципов «демократического» и «аристократического» правления. В книге же отдельно говорится о «демократическом» образе правления и отдельно об «аристократическом»; понятия «республиканское правление» не введено. Изменение это вполне понятно, если учесть, что к 1818—1820 гг. разговоры о желательности введения в России республиканского правления из среды тайных обществ проникли в слои широкой либеральной оппозиции и вызвали целый ряд политических доносов. Вводить в книгу раздел «О республиканских образах правления» было опасно.

Но все эти изменения не спасли Куницына. Труд лучшего для своего времени теоретика государственного права, неутомимого пропагандиста идей Руссо, был уничтожен. Случайно уцелевшие экземпляры книги «Право естественное», давно ставшей библиографической редкостью, служили единственным источником для суждения о преподавании Куницына в лицее. И лишь теперь публикуемые записки Горчакова дают возможность восстановить подлинное содержание лекций лицейского профессора, заслужившего высокую оценку Пушкина.

Большой интерес представляют и записки Горчакова по политической экономии («Государственное хозяйство»). Здесь Куницын, основываясь главным образом на учении Адама Смита, уже не ограничивался, как в других курсах, простым изложением тех или иных теорий, но и прямо выступал против феодально-крепостнических методов ведения государственного хозяйства. Методологии Куницына-экономиста свойственны в значительно большей мере, чем представителям «классической школы» политической экономии, принципы абстрактного рационалистического анализа. Вполне понятно, если учесть происходившие в России 10-х годов XIX в. процессы превращения натурального хозяйства в товарно-денежное, и чрезмерное сочувствие Куницына именно тем сторонам учения меркантилистов, которые были подвергнуты критике уже Адамом Смитом (вопрос о деньгах, как основе общественного богатства, рассмотрение сферы обращения, как источника прибыли и т. д.). Но тем не менее для России второй половины 10-х годов XIX в. курс лекций Куницына был явлением необычайным.

Прежде всего следует отметить широту курса, построенного по следующему плану:

Введение.

Гл. I. Понятие о государственном хозяйстве. О различных системах государственного хозяйства; краткое изображение системы меркантилистов; история системы меркантилистов; основные правила системы меркантилистов; о различной важности отраслей промышленности в государстве; о системах землевладельческих; о землевладельческой системе народов древних и некоторых государств вне-европейских. Система физиократов. I. История оной. I. Класс производящий. A. О различных способах возделывания земли. II. Класс непроизводящий. III. Класс потребителей.

Весьма интересен раздел курса, «трактующий «О средствах споспешествующих к умножению народного богатства». Часть этого раздела «О причинах усовершенствования производственных сил труда и о естественном порядке раз-

деления произведений оного между различными классами народа» состоит из следующих глав: гл. I. О труде; гл. II. Разделение труда зависит от пространства торга; гл. III. О происхождении и употреблении денег; гл. IV. О цене товаров; гл. V. О частях, составляющих цену товаров; гл. VI. О естественной и торговой цене товаров; гл. VII. О плате за труд; гл. VIII. О прибыли на капитал; гл. IX. О причинах неравенства платы за труд и прибыли на капитал.

Во второй части — «О капитале» — содержатся: гл. I. О происхождении и разделении запасов; гл. II. О взаимном действии капиталов неподвижного и обращающегося; гл. III. О валовом и частном доходе; гл. IV—V. Об установлении бумажных денег; гл. VI. О банках (кому банк может ссужать деньги; опасности, могущие последовать от банков для общества; о вкладных банках; о прочих родах бумажных денег). В гл. VII рассматриваются вопросы: о труде производящем и непроизводящем; следствия содержания числа производящих работников к непроизводящим; разделение сегодняшнего произведения на часть, служащую для возвращения капитала, и другую часть для доставления дохода; от чего зависит содержание числа производящих работников к числу непроизводящих. Каким образом роскошь вредит народному богатству и что ослабляет действие оной.

Наконец, гл. VIII трактует о капитале, отдаваемом в рост, гл. IX — о различном употреблении капитала, гл. X — о естественном приращении изобилия.

В лекциях о государственном хозяйстве сказалось, теоретически провозглашенное уже в курсах «Изображение системы политических наук» и «Право государственное» — непринятие Куницыным крепостного права и всякого ограничения личной инициативы. В этом отношении знаменательно введение им в раздел о налогах тезиса: «всякое произвольное распоряжение есть насилие противное естественной свободе людей». Характерен и тон сочувствия к крепостным, который ощущается в словах Куницына: «Крепостной человек не имеет никакой собственности, ибо сам он не себе принадлежит. Не ему принадлежит дом, в котором он живет, скот, который он содержит, одежда, которую он носит, хлеб, которым он питается». «Возделыванию земли чрез крепостных людей» Куницын противопоставляет иные «способы». Первый способ — возделывание земли чрез вольных работников». Прогрессивность этого способа обосновывается не только этически («работники принадлежат себе самим»), но и экономически: вольные работники могут «накопленный избыток... обратить... на усовершенствование своей работы, дабы получить через то больше прибыли. Таким образом при сем способе возделывания земли рождается, сверх капитала владельцев, другой производящий капитал, от них независимый». Симпатии Куницына привлекает также «способ возделывания земли через откупщиков», по его мнению, выгодный и помещику, и крестьянину-откупщику, который «более чувствует побуждений к усовершенствованию земледелия, чем крепостной крестьянин». В тесной связи с отрицательным отношением к крепостному праву находится и утверждение Куницына: «... самое надежное средство распространить в землевладельческой стране фабрики и мануфактуры и торговлю, состоит в совершенной свободе всех промыслов». Обоснование того, что фабрики и мануфактуры являются «важнейшею и прибыточнейшею отраслью народной промышленности» и что для приведения их в цветущее состояние «должно... употреблять все понудительные средства», посвящен специальный раздел лекций. Здесь Куницын выступает сторонником экономической политики наиболее радикальных кругов антиправительственной оппозиции конца 10-х годов XIX в.

Лекции Куницына о государственном хозяйстве, весьма важные для изучения генезиса экономических идей в творчестве Пушкина, представляют большой интерес и для историка политической борьбы этой эпохи. Экономические воззрения Куницына должны быть исследованы в ряду таких легальных документов и произведений деятелей тайных обществ, как «Проект освобождения крестьян» И. Д. Якушкина, «О легкой возможности уничтожить существующий в России

торг людьми» В. И. Штейнгеля и «Опыт теории налогов» Н. И. Тургенева. Политическая актуальность изучения принципов государственного хозяйства, отмеченная в «Опыте» Тургенева [1], сказывается в лекциях Куницына со всей очевидностью.

III

Одним из наименее ясных вопросов биографии Пушкина лицейского периода является вопрос о содержании преподавания в лицее русского языка, литературы и эстетики. Отношение между Пушкиным и профессором российской и латинской словесности лицея Н. Ф. Кошанским в пушкиноведении неоднократно освещалось. Отмечая несомненно интересную попытку Н. К. Пиксанова, стремившегося, в противовес другим исследователям, восстановить действительное значение Кошанского как организатора литературной самодеятельности лицеистов [2], следует все же признать его мнение о роли Кошанского в творческом развитии Пушкина преувеличенным. Попытки Кошанского — поклонника поэтики классицизма — педантически нивелировать вкусы своих учеников, вызывали отрицательное к нему отношение Пушкина. В стихотворении «Моему Аристарху» (1815) Пушкин резко отвергает «уроки» Кошанского, называя его своим «гонителем», «скучным проповедником». Но если вопрос о роли Кошанского в творческом развитии Пушкина так или иначе разрабатывался, то совершенно забытым остался ад'юнкт Кошанского П. Е. Георгиевский, читавший лицеистам курс «введение в эстетику» [3]. Из публикуемых нами записей Горчакова видно, что направление преподавания Георгиевского было Пушкину несомненно ближе, чем педантические лекции Кошанского.

В лицейском дневнике Пушкина записаны следующие сочиненные лицеистами куплеты на Георгиевского:

Предположив — и дальше
На грацию намек,
Ну-с, Августин богослов,
Профессор Бутервек.
Потом Ниобы группа,
Кореджиев тьмо-свет [4].
Прелестна Грациозность
И счастлив он поэт.

В этих куплетах лицеисты, высмеивавшие в своих «национальных песнях» недостатки всех преподавателей, вероятно, желали отметить невразумительность некоторых формулировок Георгиевского. Однако, по свидетельству М. А. Корфа, у Георгиевского «на дне высокопарных фраз таились, по крайней мере, довольно основательные познания» [5]. Записи Горчакова свидетельствуют о том, что и мнение о «высокопарности» стиля Георгиевского явно преувеличено.

---

[1] «... Занимающийся политической экономией невольно привыкает ненавидеть всякое насилие, самовольство и, в особенности, методы делать людей счастливыми вопреки им самим» («Опыт теории налогов» СПБ 1818, стр. 111). Ср. с этим рассуждение одного из героев пушкинского «Романа в письмах» в письме к другу (1829): «Твои умозрительные и важные рассуждения принадлежат к 1818 году. В то время строгость правил и политическая экономия были в моде».

[2] См. Н. К. Пиксанов, Н. Ф. Кошанский (Соч. Пушкина под ред. С. А. Венгерова, т. I, 1907 г., стр. 250—259).

[3] П. Е. Георгиевский (1792—1852) — после окончания Педагогического института в 1816 г. получил звание ад'юнкта.

[4] Этот намек раскрывается следующим местом в записи Горчакова: «... красота светомрака зависит от согласного смешения тени с светом, или света с тенью... Таковой светомрак может быть даже идеальным, как-то у Корреджио...». Упоминается в записях «введения в эстетику» также Августин и Бутервек.

[5] Я. Грот, цит. соч., стр. 235.

В записях Горчакова Георгиевскому принадлежат курсы «ораторской изящной прозы или красноречия», поэтики и «введение в эстетику». Во всех этих курсах проявляется стремление Георгиевского к самостоятельному мышлению.

Прежде всего, необходимо отметить политическую направленность лекций. Георгиевский неизменно указывал на политическую свободу, как на необходимое условие для расцвета искусства.

«В истории ума человеческого достойно примечания то, что две возникнувшие республики оставили всему свету редкие образцы поэзии и красноречия»,— записано в тетради Горчакова; «...из недр вольности двукратно распространялся по миру земному свет изящного вкуса, еще и поныне озаряющий благоустроенные народы. Искусство воображения, вкуса, гения остались благородным наследием от свободных древних народов и собраны на развалинах Афин и Рима». И далее указывается, что, потеряв свободу, Греция потеряла «вместе и красноречие», а с воцарением в Риме императора Августина «тотчас прекратились все великие ораторы», ибо «могло ли красноречие, любимое дитя свободы, процветать при таком положении государства?». В представляющем большой интерес разделе «О высоких характерах» Георгиевский связывает появление «великих характеров» с эпохами, «ознаменовавшими себя общественной образованностью». Такой эпохой он считает «те минуты свободы и поэзии, когда... Спарта и Афины сражались за свободу, ...когда римляне сражались за империю, как за единственную споручницу своей вольности... Тогда-то появилось множество великих характеров, коих высокость приводит нас в изумление и заставляет стыдиться нашей слабости». Переходя к примерам «великих характеров» в историческом развитии, Георгиевский из русских указывает лишь на Петра, «творца России», который был увлечен стремлением «обезопасить гражданскую независимость своего отечества» и гнушался «всеобщим порабощением».

Обследование тех эстетических принципов, которые были выдвинуты Георгиевским в своих лекциях, не может быть в достаточной мере проведено в данной вводной статье. Однако, и в общем обзоре публикуемых лекций следует указать на ряд прогрессивных, несомненно близких Пушкину идей Георгиевского. Сюда относится, прежде всего, постоянное подчеркивание Георгиевским значения для писателя изучения действительности, знания жизни и быта своей страны. Критикуя представление о поэте, как божественном существе, могущем «вознестись до такой высоты, чтобы взирать на всю вселенную и обнимать ее единым взглядом», он указывает: «Но пророк земной, но стихотворец, ограниченный языком своим, нравами, обычаями, образом правлений, веком и местом, которые стесняют круг его деятельности, смотрит на предмет теми же глазами, как и прочие, для которых он пишет, и в том пространстве, которое им известно». Та же мысль выражена и в утверждении: «Оратору должны быть открыты все сокровища того языка, на котором он витийствует — сего не довольно: он должен быть философ наблюдатель, знаток обычаев и нравов своего народа» [1].

Сюда относится также мнение Георгиевского о необходимости собирания «простонародных песен» и значении их для истории народа, а также утверждение, что «язык лирической поэзии не различается от языка обыкновенной жизни». Исследование эстетических взглядов Пушкина не может быть осуществлено вне учета критики Георгиевским «придворного тона» французского классицизма, а также содержащихся в лекциях многократных указаний на ведущую роль «мыслей», «высоких идей» в поэзии, на необходимость для поэта стремиться к простоте, избегать всего «искусственного» и «запутанного».

[1] С этими мыслями Георгиевского следует сопоставить позднейшую трактовку Пушкиным понятия «народности» литературы: «Есть образ мыслей и чувствований, есть тьма обычаев и поверий и привычек, принадлежащих исключительно какому-нибудь народу. Климат, образ правления, вера дают каждому народу физиономию, которая более или менее отражается в зеркале поэзии».

Наконец, весьма любопытной является защита Георгиевским (в годы, когда спор «классиков» и «романтиков» еще не начинался!) равноправия тематики, возможности изображения «обыкновенных предметов» [1]. При анализе литературных взглядов Пушкина важно учитывать и ряд более частных моментов лекций Георгиевского (например, оценка Георгиевским прозы, как жанра, требующего «большего углубления и основательности», чем поэзия, сходна с аналогичными высказываниями Пушкина о прозе). Несмотря на то, что Георгиевский, составляя свое «введение в эстетику», находился под влиянием различных эстетических учений (в его курсе заметны заимствования из Канта, Зульцера, Эшенбурга, Буало, Лессинга, Бутервека и др.), его курс, не лишенный противоречивых утверждений, все же несомненно является плодом самостоятельной работы. За это говорит как содержащаяся в лекциях интересная полемика с Баумгартеном, Бате, Блером, Кантом, так и ряд самостоятельных экскурсов. С этой точки зрения курс Георгиевского представляет ценность и для исследователя истории развития эстетических идей в России.

Таково значение публикуемых записок Горчакова. Конечно, Пушкин принимал далеко не все из лекций своих лицейских профессоров и преподавателей. Многое он отбрасывал, иное критически перерабатывал. Великий русский поэт заимствовал в жизни, в литературе — всюду, где мог, все самое лучшее, самое прогрессивное. С этой точки зрения неоспоримо значение для его развития и тех живых, будивших мысль, исторически прогрессивных идей, которые содержались в лекциях Куницына и Георгиевского.

Б. Мейлах.

Энциклопедия прав [2]

О разделении права естественного.

(лл. 11—13)

В естественном праве люди рассматриваются или как существа независимые и равные между собою по правам и обязанностям или как зависимые от единой верховной власти. В первом случае они состоят под законом собственного рассудка и под защитой собственной только частной силы; во втором, напротив того, верховная власть определяет их права и принимает оные под свою защиту. По сему различию право естественное разделяется на право частное и публичное. Частное право рассуждает: I. о врожденных и приобретенных правах человека; II. об общественном семейственном праве. Публичное право рассуждает: I. об отношениях членов государства, следовательно, об отношениях между верховною властию и подданными, также об отношениях между частными гражданами. Сия часть оного называется правом (л. 11 об.) естественным государственным. II. Право

[1] В изданном в 1834—1836 гг. «Руководстве к изучению российской словесности» Георгиевский в значительной мере освободился от элементов догматической поэтики классицизма, содержавшихся в публикуемых записях Горчакова, высказывая прямое сочувствие романтическому направлению в литературе и заимствуя ряд интересных положений у Шлегелей. Следует отметить также высокую оценку Георгиевским «Повестей Белкина», «Пиковой дамы» и «Истории Пугачевского бунта» Пушкина. Однако, наряду с этим Георгиевский, работая над книгой, не только вытравлял политическую направленность тех глав, в которых использовал свои лицейские лекции, но даже придавал им обратный смысл.

[2] В тетрадь Горчакова, озаглавленную «Энциклопедия прав», входят кроме вводного раздела «Предварительные понятия» курсы: «Право естественное», «Право религиозное», «Право государственное». Тетрадь содержит 69 заполненных листов и 8 чистых. Бумага с водяным знаком «1813».

Публикацию этой тетради мы начинаем с л. 11, опуская предыдущие части вводного раздела («Предварительные понятия»).

публичное рассуждает об отношениях независимых народов и в сем смысле называется оно правом естественным народным. Итак, естественное право разделяется на четыре главных отделения. В первом содержится право естественное, частное в тесном смысле, во втором — право семейственное, в третьем — право государственное и в четвертом — право народное.

О различии права и нравоучения.

Хотя право и нравоучение проистекают из одного источника, однакож имеют между собою ощутительное различие. I. Право предписывает нам не употреблять других как простые средства к достижению наших целей, т. е. не поступать с ними, как мы поступаем с вещами; нравоучение, напротив того, требует исполнения не только сей отрицательной обязанности, но еще повелевает нам деятельным образом споспешествовать благу других. II. Право простирается на внешнее наше поведение и требует только того, чтобы внешние наши деяния сообразны были с его предписаниями, не принимая в уважение побудительных причин; нравоучение вникает в наше внутреннее (л. 12) расположение и требует, чтобы самые наши помышления сообразны были с его предписаниями, оно признает только те деяния добрыми, к исполнению которых нравственный закон служил нам побуждением; напротив того, деяния, основанные на корысти, оно не включает в число добродетелей. III. Исполнение закона нравственного не подлежит никакому условию; во всех обстоятельствах должно поступать сходственно с оным; исполнение права не только может быть оставлено, но даже зависит от произвола каждого.

ЧАСТЬ I

Право естественное.

ГЛАВА I

О правах врожденных.

Права человека разделяются на врожденные или первоначальные и на производные. Первоначальные проистекают непосредственно из природы человека, а производные приобретаются посредством законного деяния и потому называются посредственными. Главнейшее первоначальное право человека есть право на себя самого, т. е. нравственная возможность располагать самим собою или собственным лицом, почему оно называется правом личности, jus personalitatis.

По силе сего права каждой человек может требовать от других, чтоб его не употребляли как простое орудие или средство (л. 12 об.) для достижения своих целей, но чтобы поступали с ним как с существом разумным, свободною волею одаренным.

Из права личности проистекают все прочие права человека, каковы суть:

I. Право производить деяния и оставлять оные по собственному произволу и усмотрению: ибо если бы кто стал препятствовать ему действовать, то тем самым нарушил бы его свободу и поступил бы с ним как с существом несмысленным.

II. Как для произведения деяний потребны душевные и телесные силы, то человек имеет право на сохранение оных. По силе сего права никто не может расстроивать силы другого или вредить оным.

III. Для успешного отправления деяния и для достижения предполагаемых целей человек имеет нужду в образовании душевных и телес-

ных сил, следовательно имеет право требовать от других, чтоб ему в том не препятствовали, а потому кто приводит в заблуждение другого, чтобы тем удобнее располагать им, тот нарушает сие право. Равным образом кто принуждает другого последовать своим мнением, тот не уважает личных его прав; ибо тем самым старается удержать его в зависимости (л. 13).

IV. Силы человеческие требуют содержания. Сия нужда предоставляет право приобретать, сохранять и употреблять вещи для своего продовольствия и наслаждения. По сему каждой человек может употреблять вещи несмысленные для своих произвольных целей.

О качестве прав первоначальных.

В рассуждении первоначальных прав все люди как нравственные существа между собою совершенно равны; ибо все имеют одинаковую природу, из которой проистекают общие права человечества. Однакож не должно смешивать естественное равенство с политическим; первое определяется врожденными правами, а второе положительными законами. Даже естественное равенство прав существует только до тех пор, пока оные остаются без исполнения, но как скоро люди начинают пользоваться своими первоначальными правами, то немедленно рождается между ими неравенство; бедной и богатой, умной и несмысленной, сильной и слабой равны между собою по правам первоначальным, но в рассуждении прав производных совершенно различны.

Права первоначальные принадлежат всем людям, ибо все люди предполагаются существами разумными. По сему первоначальные принадлежат также младенцам и слабоумным; ибо они также имеют разум и свободу, хотя и не могут употреблять оных. (л. 13 об.).

Права первоначальные суть неотчуждаемы и неотъемлемы. Никто не может лишить другого права личности, даже с его собственного на то согласия; ибо если бы кто отказался от своих первоначальных прав, тот унизил бы себя до степени существа несмысленного. И самой таковой отказ содержит в себе противоречие; ибо отказаться от права личности значит отказаться от употребления разума и воли, что значит переменить свою природу. Но сие невозможно. Да и самой таковой отказ, как договор, есть действие, зависящее от разума. Следовательно отказываться от права личности значит действовать посредством разума для того, чтобы не иметь разума. Посему холопство как произвольное закрепощение есть действие противузаконное; напротив того, обязательство на услугу за известную плату есть законное употребление личной свободы.

ГЛАВА IV[1]

Право общественное.

(28—31)

Право на преходящие услуги других людей не можно приобресть без их на то согласия. Тем более требуется их согласие, если мы хотим получить право на то, чтобы они, соединив свои силы с нашими, нам содействовали к достижению постоянной общей цели. Соотношение людей, в котором им принадлежит взаимное право требовать от всех прочих содействия к достижению общей цели, называется о б щ е с т в о м societas. Итак, каждое общество основывается на договоре, кото-

[1] Главу II «О правах производных» и главу III «О договорах» мы опускаем.

рым совокупляются или особенные лица personae phisicae, или целые семейства. Отсюда происходит разделение обществ на простые, societas simplex, и сложные. Договор, на котором (л. 28 об.) общества совокупляются, называется договором соединения pactum unionis. Когда избрание средства для достижения цели общества вверено одному лицу или некоторым только членам вместе, тогда общество называется неравным, societas inaequalis. Но если сие право равно принадлежит всем членам общества, то общество называется равным, societas aequalis. Из главных понятий об обществе проистекают права и обязанности членов оного, и совокупность оных составляет общее общественное право. Но те права и обязанности, которые проистекают из частной и особенной цели, составляют особенное общественное право.

Поколику общества основываются на договорах, то правила, относящиеся к договорам, вообще относятся также к обществам. Общество также предполагает согласие членов, вступающих в сожитие. Согласие бывает или явное или молчаливое. При учреждении общества должно смотреть на то, чтоб цель оного была физически и нравственно возможна. Если кто вступил в общество, обманут будучи наружностию справедливости оного цели, то коль скоро откроет, что цель оного несправедлива, то вместе с сим оканчивается его обязанность в рассуждении общества.

Вступив в общество, человек бывает обязан ко всему тому, к чему он по причине соединения согласился явно или молчаливо. (л. 29) но не более, как к тому только, к чему добровольно обязался. Явные определения явствуют из точных слов общественного договора; и подразумеваемые выводятся из цели общества. Ибо кто обязался содействовать к цели, тот обязался и к нужным к оной средствам, без которых цель не может быть достигнута, исключая только случай, когда кто в договоре именно означил средства, или от некоторых именно отказался.

Итак общественные права и должности явствуют из цели, определенной общественным договором. Целию общества называется общее благо. Успехи в достижении общественного блага называется[1] благополучием общества. Каждой член имеет право требовать от каждого из сочленов, чтоб он соответственно принятой обязанности содействовал к общему благу. Кто присвояет себе более прав противу его сочленов, нежели сколько ему предоставлено общественным договором, тот поступает противу права, равно как и тот, кто неудовлетворяет своим обязанностям в рассуждении общества.

Чрез договор соединения каждой член распространяет свою свободу в том смысле, что может понуждать других к содействию для общего блага, и при оном может удобнее достигать оного. Но произвольно[1], употребление наших сил только потолику быть может, поколику мы принуждены (л. 29 об.) к отвращению препятствий к общему благу. Почему общая свобода без всякого противоречия не может так далеко распространяться, чтобы от оной нарушаемо было общее благо. Она ограничивается только тем, к чему каждой обязывается посредством общественного договора. Итак неоспоримо, что каждой член, не вредя общественному соединению, имеет право стараться о своем частном благе. Хотя при первом вступлении в общество средства, будучи сами по себе необходимы и очевидны, были подразумеваемы или явно общим согласием определяемы. Но многие общественные дела, особливо зависящие от случайных и преходящих обстоятельств общества, только впоследствии времени определены быть могут. По причине естественной независимости, так как по договору соединения никому из членов

[1] Так в подлиннике.

не предоставлено определение таковых дел, то право принадлежит всем членам или целому обществу, а потому общество сие есть ровное[1]. В равном обществе о делах еще неопределенных делаются совещания, при которых каждый член имеет право об'являть свое мнение и подавать голос. В равном обществе ни равенство, ни большинство голосов не определяют, что должно быть предпринято всеми для цели общества; иначе большая часть членов имела бы (л. 30) верховную власть над меньшею, что противно понятию равного общества. В равном обществе никто не подвергается произволу другого, след., всякой подлежит только тому закону, которому подчинил себя первоначально при договоре соединения или впоследствии времени.

Трудность в совещаниях и еще большая трудность получить единство голосов заставляют в многолюдных и равных обществах в самом первом учреждении оных все определять ясно и точно касательно предвидимых случаев и сколько менее оставлять дел для будущих решений. Определения, сделанные членами единогласно, при самом учреждении общества или впоследствии времени, обязывают, как законы, всех членов и даже тех, кои вступают в оное после, как условия, на которых они принимаются в общественное соединение. Каждой вступающий в общество имеет сведения об оных или, по крайней мере, предполагается сведущим. Все сочлены имеют право взаимно принуждать друг друга к исполнению сих обязанностей и к наблюдению законов. Итак, законы могут быть отменены только всеобщим согласием. Впрочем, не нарушая равенства общества, можно предоставить исполнение законов некоторым членам оного. Ибо кто наблюдает за исполнением законов, тот выполняет не свою частную, но общую волю.

Общество бывает неравно, когда члены подчинены одному верховному главе, которому предоставлено право употреблять средства для цели. Верховное начальство основывается или на произвольном договоре (л. 30 об.) подданства, pactum subjectionis, или на законе, которым или одному (какому-нибудь) лицу предоставляется право направлять других к постоянной цели,— лице сие может быть физическое или нравственное, или большей части общества, если по силе условия большинство решит дела общественные. Естественное ограничение верховной власти состоит в том, что оно имеет предметом только такие действия, которые относятся к цели общества, ибо для оной только поверяется верховная власть.

В договоре соединения не заключается подданство и существо, имеющее употребление разума, первоначально не подлежит владычеству другого. Итак, дотоле общество почитается равным, доколе на самом деле не последует подданство. Впрочем неоспоримо, что многие причины могут обязать людей вступить в подданство. Таковое суть: трудность в совещаниях получить общее согласие всех граждан, большее благоразумие одних, сила и старание других о пользе общей, неспособность некоторых управлять сами собою. В неравном обществе верховной властитель имеет право издавать предписания в рассуждении приналовления средств для достижения цели, т. е. издавать законы по обстоятельствам, переменять оные и ограничивать. Он имеет право требовать довлеющего ему высшего уважения и принудить ко повиновению. Но поколику верховной властитель при отправлении своей власти обязан наблюдать естественные и законные ограничения, то несмотря на подданство, членам общества предоставляется общественная свобода, по причине которой они не должны быть почитаемы как средства, но как цели (л. 31). Понятие об обществе заключает в себе единство цели,

[1] Так в подлиннике.

единство воли и единство силы. Потому общество принимается как разумное существо, или как нравственное лицо persona moralis. В рассуждении иностранных обществ и частных лиц, с которыми оно не состоит ни в каких общественных связях, состоит оно в связях внеобщественных. Ему принадлежат первоначальные права и должности. Но оно может законным образом приобретать новые права. Собрание таковых прав, противуполагая оные внутренним между членами общества, называется внешнее общественное право, которое однакож составляет часть внеобщественного.

Способы, коими общества совсем или относительно к некоторым членам прекращаются, явствуют из того, что выше о прекращении договоров сказано. Сии способы суть a. Взаимное согласие. b. Совершенно достигнутая цель. c. Физическая или нравственная невозможность достигнуть оной. d. Наступление условий разрушения общества. e. Истечение срока в обществах временных. f. Смерть и рассеяние членов [1].

Право государственное.

I. Понятие о государственном праве.

ВВЕДЕНИЕ

(лл. 39—69)

§. 1. Люди по природе желают благополучия; но в уединенном состоянии достигнуть оного не могут по причине беспрестанных опасностей и по слабости сил каждого. Почему они соединились взаимными узами для охранения себя от нападений врагов внешних и внутренних и для отвращения (л. 40) всяких несчастных случаев.

§ 2. Соединение многих людей для взаимной безопасности под одною верховною властию называется гражданством civitas.

§ 3. Условия, на которых люди совокупились взаимными узами и подчинили себя верховной власти, составляют государственное постановление, constitutio.

§ 4. Состояние членов общества в отношении одного к другому называется гражданским, status civilis.

§ 5. Одно государство в рассуждении другого называется державою (potentia), или сходственно с первоначальным происхождением племен, имеющих разные правительства, народом (gens).

§ 6. Право государственное разделяется на внутреннее (intrinsecum) и внешнее (extrinsecum). Право государственное внутреннее определяет взаимные права и обязанности верховной власти и права и обязанности подданных. Право государственное внешнее определяет права и обязанности частных граждан и всего государства к другим государствам и подданным оных. Сия часть права государственного называется особенным именем права народного (jus genticum).

II. О естественном состоянии.

§ 7. В естественном состоянии люди не имеют между собою никаких связей, а потому не может быть между ими никаких сношений и все права их ничтожны: ибо при таком положении вещей каждой человек зависит от собственного только произвола и для своей безопасности имеет существенное в своей физической силе (л. 40 об.) каждой сам для себя есть законодатель и судья; ибо в естественном состоянии нет

[1] Далее следует отделение 2-е «Об особенных обществах» и раздел «Право религиозное».

расправы, которая бы по общим законам разбирала поступки людей, потому оное есть состояние войны и всегдашней опасности. Недоверчивость людей подает повод к взаимным нападениям.

§ 8. Каждой человек имеет право приводить себя в состояние безопасности, а потому, если некоторые люди, находясь в естественном состоянии, захотят оставить оное и вступить в гражданское, то они могут прочих, остающихся в ест. состоянии, принудить или вступить с ними в общественное состояние, или совершенно от них удалиться. Доколе сии последние не решатся на то или другое, дотоле первые имеют право поступать с ним неприязненно; ибо они обижают их одним только незаконным своим состоянием. И так человек имеет право и обязанность вступить в общество.

III. О различных политических обществах.

§ 9. Различные опасности, угрожавшие человеку в состоянии внеобщественном,— заставила [1] помышлять о средствах отвращать оные; а ежедневный опыт удостоверил его, что соединение с другими есть единственное и самое надежное средство для сей цели.

§ 10. Общество людей, соединивших свои силы для взаимной защиты, называется обществом оборонительным, societas defensoria.

§ 11. Договор сего союза содержит два условия: a. Члены оного согласились удерживаться от взаимных обид и нападений. b. Каждое нападение на кого-либо из сочленов или на целое (л. 41) общество отвращать совокупными силами.

§ 12. Все договоры делаются обязательными не по причине слов, которыми они произнесены, но потому что, если кто действует, полагаясь на слова другого, то в случае нарушения слова, он действовал бы противу воли и незаконно лишался бы своего права. Потому общество оборонительное основывается на самых действиях людей и на их взаимной друг к другу доверенности, а не на словах и соглашениях. При наступающей опасности люди, живущие один подле другого, стекают вместе, помогают себе взаимно без всякого предварительного договора; настает новая опасность, они собираются попрежнему и обыкновение при всех таковых случаях оказывать взаимную помощь полагает основание оборонительному обществу.

§ 13. Общество оборонительное бывает различно. a. По различному отправлению верховной власти. b. По различному способу приобретению [1] верховной власти. c. По продолжению общества. Если верховная власть подлежит участию всех членов общества (разумеется, способных к сему участию), то общество называется равным, societas defensoria aequalis. Если же некоторым только членам предоставляется отправление верховной власти, то общество называется неравным, societas defensoria inaequalis. Если общество учреждается на некоторое время, то оно называется временным, societas defensoria temporaria. Иные общества не ограничиваются временем и называются всегдашними, societas defensoria perpetua.

§ 14. Некоторые общества заключаются для безопасности только некоторых прав и называются неполными, societas defensoria minus plena. Другие, напротив того, имеют целию сохранение всех прав и противу всякого рода опасностей и называются полными, societas defensoria plena. (л. 41 об.).

§ 15. Наконец, в некоторых обществах безопасность есть единственная цель и причина соединения членов: таковые называются чисты-

[1] Так в подлиннике.

ми societas defensoria pura. Иные, кроме безопасности, имеют еще другую причину соединения и называются смешанными, societas defensoria mixta.

§ 16. Общество оборонительное, неограниченное временем и имеющее целию безопасность всех прав и защищение оных противу опасностей всякого рода называется гражданским, societas civilis.

§ 17. Доколе люди скитались по лесам, получая пропитание от рыбной и звериной ловли, до тех пор они не имели нужды в гражданском обществе и след. не могли помышлять об оном. В сем состоянии им нужно было сберегать только собственное бытие, к чему лучшее средство есть бегство в случае опасности; внешних вещных прав они не имели, и для того постоянный гражданский союз им был ненужен. Ненадежность их пропитания принуждали[1] их более к рассеянию, нежели к соединению.

§ 18. Но когда люди мало-по-малу образовались и начали приобретать собственность, тогда открылась нужда в защите, и люди должны были приступить к постоянному соединению.

19. Когда люди приобрели постоянную собственность, а старание умножить и усовершить оную произвело нужду во взаимной помощи и тем соделало узы семейства более прочными, тогда произошла нравственная любовь между мужем и женою, привязанность между родителями и детьми и связь между господином и рабом. Сии и подобные оным связи (л. 42) людей произвели наконец общество пастушеское societas civilis nomadum, которое имеет целию безопасность всех личных и вещественных прав людей противу опасностей всякого рода.

§ 20. Вещные права членов пастушеского общества не заключают в себе прав на землю. Пастухи не имеют понятия о поземельной собственности. Они не щитают нужным удерживать за собою пространство земли, которое должны оставить без употребления или вовсе или на некоторое время.

§ 21. Пастушеские общества бывают или единовластные, monocratua или многовластные pantocratua. Единовластным общество бывает, когда отец семейства с своими детьми и домочадцами чувствует себя довольно сильным для защиты от внешних нападений. Сие общество называется семейственным пастушеским обществом, societas domestica nomadum.

§ 22. Первое начало таковые общества получили или от привычки детей оставаться при их родителях и покорности родительской власти, или от различия людей по их физическим и нравственным силам.

§ 23. Никакое животное не раждается столько слабым и беспомощным, как человек; ни одно из них не требует столь продолжительного старания родителей о его продовольствии и защите. Привычка детей находиться так долгое время при родителях удерживает в доме родительском и тогда, когда они сами уже могут снискивать себе пропитание. Благодарность за оказываемую им помощь и большее благоразумие отца утверждает его власть над детьми. Родоначальник многочисленного семейства легко приобретать власть (л. 42 об.) над другими людьми ищущими его покровительства. Таким образом семейственное общество само собою происходит и распространяется.

§ 24. Безопасность не составляет единственной связи между членами пастушеского общества, но семейственные отношения наиболее утверждают оное.

§ 25. Залогом взаимной верности членов пастушеского общества служит частию взаимная любовь членов семейства, частию благонадежность

[1] Так в подлиннике.

в пропитании, которая наиболее привязывает домочадцев к их главному начальнику.

§ 26. Старание родоначальника о пропитании жены, его детей и домочадцов, как главного владетеля всего принадлежащего обществу, доставляет ему верховную власть над всеми.

§ 27. Семейственное пастушеское общество может учредиться между людьми равными и не имеющими между собою кровных связей. Человек храбрый и искусный легко приобретает власть над слабыми, малоумными и боязливыми. В каждом собрании людей находится несколько таких, которые имеют способность и склонность руководствовать другими, а прочие находятся в готовности им следовать и повиноваться. Неравенство сил умственных и телесных поставляет людей в состояние зависимости и власти. Во время опасности храбрый идет противу оной; слабый укрывается за ним, доволен будучи таковою защитою, он не смотрит на то, что сие покровительство навлекает на него зависимость. Благоразумный показывает цель, которой все (л. 43) охотно желают достигнуть, а потому и самое повиновение чужому произволу не щитает для себя тягостным.

§ 28. Общество многовластным (пантократическим) называется, когда составляется из многих независимых пастушеских семейств. Начальники семейства тогда имеют верховную власть все вместе, а общество называется потому многовластным [1].

§ 29. В сем обществе между членами нет другого союза, кроме безопасности.

§ 30. Стада членов многовластного общества служат залогом их верности общественному союзу.

§ 31. Взаимное вспоможение соединяет пастушеские семейства, так что никто из них без согласия прочих не может оставить общество; ибо каждое исполнение дает право требовать взаимного исполнения. Каждый, полагаясь на верность прочих, делает свои распоряжения. Если бы кто из членов общества знал, что его оставят прочие, то для своей безопасности он мог бы отвлекать заблаговременно других себе сочленов. Но полагаясь на верность его сочленов, он может остаться вдруг в беззащитном состоянии. Потому каждый из членов может принуждать прочих оставаться с ним в состоянии общежития.

§ 32. Пастушеское единовластное общество может превратиться в многовластное, ибо когда умирает родоначальник, то сыновья его и другие члены семейства останутся независимыми. В противном случае надобно, чтобы при жизни родоначальника отличился пред прочими и и приобрел общее доверие [2].

§ 33. Домочадцы могут также современем делаться членами многовластного пастушеского общества. Ибо, служа родоначальнику, они современем приобретают собственность и наживают свои собственные стада, отчего по смерти родоначальника делаются столько же независимыми, как и прочие члены семейства.

§ 34. Домочадцы, не имеющие стад, не могут быть почитаемы членами пастушеского общества, ибо связь имеют не с обществом, но с своим господином. Они должны следовать за ним и противу их воли, доколе время служения их продолжается. В безопасности общества они не имеют равной выгоды с прочими членами и в верности их общественному союзу служит поручительством одна только нужда в пропитании.

§ 35. В предстоящей опасности домочадцы защищаются только для спасения своей жизни. Прочие члены общества напротив того имеют к тому особенное побуждение, т. е. защищение их стад.

[1] Первоначально было «многочисленным».
[2] Так в подлиннике.

§ 36. Домочадцы имеют право требовать от членов общества, чтобы их права были ненарушимы и чтобы они были защищаемы от всех несправедливых нападений: ибо без сей защиты они не могут выполнить своих обязанностей к их господину. Итак в служебном договоре с господином, равно как и в договоре господина с обществом поставляется условием, чтобы права его домочадцов также были защищаемы.

§ 37. Хотя пастушеское общество все права пастухов приемлет под свою защиту, но в числе оных не заключается (л. 44) право поземельной собственности, ибо земля без обработания не долго может доставлять пищу стадам и принуждает народов-пастырей искать новых пожитей. А потому общество кочующих народов не может покровительствовать важнейшего права людей, т. е. права независимой собственности.

Прим. Пастушеские народы не имеют даже понятия о поземельной собственности. Он[1] рождается не прежде как, когда люди примутся за обработание земли. Труды и иждивение, употребленные на обработание почвы, заставляют людей подумать о присвоении земли в постоянную собственность.

§ 38. Итак государство, как оборонительный союз земледельческого народа, различается от пастушеского общества преимущественно тем, что оно в состоянии защищать все права, принадлежащие людям.

§ 39. Государство защищает право своих членов только в пределах земли, владеемый ими[1], ибо власть его не далее простирается.

§ 40. Общественное соединение между членами государства или существовало уже в пастушеском обществе или учредилось по введении земледелия между обитателями какой-либо страны, а потому государство бывает или общество семейственное или многовластное.

§ 41. До введения в государство образования, торговли и роскоши, имущество оного состоит в земских произведениях, или в избытке оных за домашним продовольствием, ибо другой собственности в грубом состоянии общества не находится. (л. 44 об.).

§ 42. С возвышением образованности, когда деньги, искусства и торговля вводятся в государство, тогда оно получает новые богатства от сих заведений.

§ 43. Итак государство есть общество, учрежденное для всегдашней защиты всех прав человеческих в пределах известного пространства земли противу всякого рода опасностей.

§ 44. Цель государства как оборонительного союза есть безопасность внешних совершенных прав сочленов оного.

§ 45. Жители государства, кроме безопасности, вступая в общество, могут иметь еще особенные цели и, поколику они имеют на то совершенное право, то государство должно доставлять им защиту при достижении предполагаемых ими целей. Но все они подчиняются цели государства, без которой никакая цель не может быть достигнута.

§ 46. Часть земли, в пределах коей государство приемлет на себя защиту прав, называется о б л а с т и ю, territorium, которая есть ничто иное, как собрание участков земли, принадлежащих как целому государству в совокупности, так и частным владельцам.

§ 47. Государство, как и всякое общество, основывается на двояком договоре, потому члены оного в отношении к договору соединения называются г р а ж д а н а м и, относительно к договору подданства п о д д а н н ы м и.

§ 48. Собрание всех людей в областях государства живущих, называется н а ц и е ю, natio.

---

[1] Так в подлиннике.

§ 49. Нация состоит из двух различных классов народа: (л. 45) владельцов земли и жителей. Владельцы суть владетели областей, поколику сии последние суть ничто иное, как собрание частных участников земли. Жители обитают на чужой земле на особенных условиях с частными владельцами оной.

§ 50. Когда в государстве появляется образование и роскошь, то жители оного делятся на 2 класса. Одни остаются свободными и достают себе пропитание своими услугами, которые они каждому без различия оказывают; другие несвободные, которые одному только обязаны оказывать услуги.

ЧАСТЬ I

Чистое государственное право.

ГЛАВА I

О договоре соединения.

§ 51. Между гражданами государства мало-по-малу происходит согласие защищать себя взаимно противу могущих встретиться опасностей.

§ 52. Сие постепенное согласие в рассуждении цели общей называется в искусственном языке права государственного договором соединения, pactum unionis.

§ 53. Сей договор получает свою силу не от слов, но от исполнений, которые бывают под условием взаимных исполнений, которые потом соединяют граждан неразрывными и многообразными между собою узами. (л. 45 об.).

§ 54. Действия сего договора для частных людей суть: a) Каждый гражданин получает право требовать помощь от других в случае опасности, угрожающей его внешним, совершенным правам.

b) Отсюда возникает для каждого обязанность в подобных случаях оказывать взаимную помощь согражданам.

§ 55. Для целого государства последствия бывают следующие:

a) По причине согласие частных волей касательно цели государство делается нравственным лицом, почему оно приобретает права и обязанности противу всех тех, которые к оному принадлежат.

b) Преобладание государства над всеми его областями (territorium), т. е. право удерживать все участки земли под своею властию.

§ 56. На сем основывается: во 1-х право требовать с участков земли взносов для удовлетворения общественным потребностям. Во 2-х обязанность владетелей не отделять своих участков земли от государства без его на то согласие. Ибо не только все полагаются на пособие частного гражданина в случае опасности, но и частный гражданин полагается на помощь всех при таком обстоятельстве. И так в общественной воле должно также предполагать желание иметь помощь в случае будущих опасностей, след. в договоре соединения существенным (л. 46) условием полагается неразделимость общества.

§ 57. Преемники прежних владельцов земли также обязываются сим договором, ибо или они получили землю от прежних владельцов посредством передачи, то могли получить оную только на сем условии; если же они получили оную от государства, то очевидно, что государство подразумевало условие исполнения должностей, сопряженных с владением.

§ 58. Итак, доколе государство выполняет обязанности к своим гражданам, дотоле они не могут его оставить без его на то согласия.

ГЛАВА II

О договоре подданства.

§ 59. В государстве, как и во всяком обществе, кроме самой цели, должны быть единогласно определены и самые средства для достижения оной. Ибо хотя каждый обязался содействовать к сохранению общей безопасности, однакож в договоре соединения не содержится ничего такого, что бы частному члену предписывало к тому известные средства или что бы его обязывало в избрании оных подчинять себя воле своих сограждан. След. если бы кто захотел ему в рассуждении сего делать предписания, тот располагал бы им противу его воли и тем причинил бы ему несправедливость. Несправедливость не может быть и тогда справедливостью, когда бы она произведена была самою (л. 46 и 46 об.) большею частию сочленов противу самой малейшей.

§ 60. Средством противу опасностей один только опыт научить может. Опасности, нам угрожающие, находятся в вещественном мире, средства противу оных находятся также в оном. След. качество средств не может быть определено по началам разума, и потому благонадежность средств познается только из опыта.

§ 61. Справедливость употребляемых средств познается только из начал разума.

§ 62. Поколику люди могут быть согласны только в рассуждении начал разума, напротив того, в предметах опытности едва ли когда может произойти согласие особливо между многими людьми, то между гражданами госуд. редко может произойти общее мнение как в рассуждении выбора так и в рассуждении употребления средств. Посему люди принуждены были прибегнуть к новому соглашению, кроме договора соединения.

§ 63. Согласие, которым определяется способ избирать средства для достижения цели государства, называется договором подданства, pactum subjectionis.

§ 64. Избрание средств поручается или физическому или нравственному лицу. В последнем случае бывает общество или определенное, которое решит избрание средств по общему согласию или по большинству голосов или неопределенное нравственное лице, т. е. временное большинство голосов в собрании всех сочленов. (л. 47).

§ 65. Как нравственное, так и физическое лице, коему вверяется избрание средств для цели государства, называется своевластителем, souverain.

§ 66. Вверенное своевластителю право избирать средства для цели называется верховною властию, majestas.

§ 67. Верховная власть может быть передана только по согласию всех сочленов, ибо в договоре соединения не содержится ничего такого, что бы обязывало частного члена касательно выбора средств повиноваться произволу других. Итак или он не соглашается на мнение своих сочленов касательно лица, которому вверяют они верховную власть, то договор соединения между им и государством уничтожается.

§ 68. Своевластитель совершенно ни от кого независим, ибо право величества или верховной власти передано ему единогласно, потому воля его заступает место целого народа, след. она столько же независима, как и сия последняя.

§ 69. Личная свобода каждого гражданина согласна с подданством воле своевластителя, ибо цель государства есть цель каждого гражданина, только избрание средств поручено своевластителю. След. доколе гражданин направляем бывает только к цели государства, до тех пор он не употребляется против своей воли и остается свободным.

§ 70. След. гражданин подчинен своевластителю только для цели государства и во всем, что к оной относится, должен ему повиноваться.

§ 71. Но когда употребляется кто-либо от своевластителя к другим целям, а не для цели государства, то таковое злоупотребление верховной власти называется тиранством.

§ 72. От договора подданства происходят в государстве два нравственные лица, верховная власть или своевластитель и подданство, которое есть совокупность всех граждан.

§ 73. Через договор подданства возлагается на своевластителя должность пещись о безопасности государства и каждого частного гражданина. Итак право его располагать действиями граждан ограничивается сею обязанностию.

§ 74. Для каждого гражданина из договора подданства проистекает обязанность повиноваться своевластителю.

§ 75. Должность защищать своих сограждан, предписываемая договором соединения, перестает уже быть непосредственною обязанностию частных граждан, но вместо оной предлежит им должность повиновения своевластителю, ибо попечение о защищении договором подданства ему передано.

§ 76. Договор соединения, как и всякой другой договор, действителен посредством взаимного исполнения. Защита, оказываемая на самом деле, производит повиновение, оказываемое повиновение производит (повиновение) защиту. От пов (л. 48) торения сих взаимных обязанностей произошла верховная власть и с нею подданство.

§ 77. Только владельцы земли заключают сей договор, ибо передавать право избирать средства для цели могут те только, которые для оной соединились. Кроме того, владельцы земли могут предписать жителям, обитающим в их поместьях, такие условия, на каких только они захотят их допустить к тому. Отсюда следует, что жителям можно поставить условием, что если они хотят обитать на областях государства, то должны признать и договор подданства, в одном существующий, за действительный. Наконец, так как государственное имущество след. и средства к цели государства находятся в руках владельцев, то было бы весьма несправедливо предоставить равное участие в делах, до сохранения общества касающихся, тем, которые не имеют в руках своих средств к защите.

§ 78. Преемники первых владельцев земли также обязываются договором подданства, как и договором соединения, ибо своевластитель, изображая волю всех касательно дел общественных, имеет право определять наследство и допускать к оному наследников только под вышеупомянутым условием. Если же кто получает землю чрез пере- (л. 48 об.) дачу от живого владельца, то сей не может иначе уступить свой участок земли, как вместе с падающими на оной повинностями, след. вместе с подданством.

ГЛАВА III

О договоре включения жителей.

§ 79. Так как жители не имеют участия ни в договоре соединения, ни в договоре подданства, то их соединение с государством должно основываться на особенном договоре, который можно назвать договором включения, pactum recriptionis.

§ 80. Сей договор заключает своевластитель во имя своего народа с жителями. Доставляя им убежище в областях своих, тем самым обещает всякую безопасность их прав.

Прим. При учреждении государства, когда оное населяют одни только владельцы земли, то хотя они имеют совершенную обязанность не нарушать права иностранцов или жителей, пребывающих на их земле, но они не имеют никакой обязанности их защищать. Для сей защиты предались жители частному произволу на условиях или неограниченно. Отсюда произошли многие роды частных личных обязанностей. Когда народ (л. 49) и правительства сделались более образованными, а обязанности, прежде безмолвно жителями учиненные, сделались, наипаче от злоупотреблений, тягостными, то правительства открыли, что каждый (человек) житель государства должен быть членом оного, и его частные обязанности не должны нарушать его отношения к верховной власти. Жители, напротив того, нашли для себя выгоднее и с правом разума сообразнее повиноваться верховной власти, а не частному произволу.

§ 81. Итак защита прав всем равно должна быть оказываема, как владельцам земли, так и жителям.

§ 82. Напротив того, жители заключают договор с своевластителем посредством поселения в пределах государства.

§ 83. Они имеют право требовать защиты и получают соответствующую сему праву обязанность повиноваться своевластителю. Итак они могут быть принуждаемы содействовать к цели государства. а. Личными своими силами. в. Пожертвованием их движимого имущества.

§ 84. Но как жители не имеют недвижимой собственности, то они могут оставить государство, когда их другие обязанности от того не удерживают.

ГЛАВА IV

О правах величества.

§ 85. Своевластителю принадлежат права, называемые права (л. 49 об.) вами величества, jura majestetica.

§ 86. По различию способов, коими верховная власть обнаруживается, права величества разделяются на разные виды, называемые властями, кои суть. 1. власть законодательная, potietas legislatica, 2. исполнительная potestas executoria, 3. Блюстительная, pctestas inspectoria.

§ 87. Касательно предметов, на кои права величества простираются, называются они I. внутренними, II. внешними правами величества, jura majestatis interna, jura majestatis externa.

§ 88. По их природе они бывают или существенными или случайными.

§ 89. Выполнение прав величества называется правлением regimen.

ГЛАВА V

О власти законодательной.

§ 90. Законодательная власть есть право определять средства для цели государства.

§ 91. След. она может для сего располагать всеми силами подданных и всем государственным имуществом.

§ 92. Посему она может предписывать не только то, что непосредственно к достижению оной содействует.

§ 93. Но законодательная власть не может делать предписаний (л. 50) касательно тех предметов, которые к цели общественной не принадлежат.

§ 94. Определения законодательной власти касательно цели общества называются законами.

§ 95. Законы должны быть всеобщие, т. е. всех граждан равно обязывающие и всем предоставляющие равные права и обязанности так, чтобы то, что для одного есть право и обязанность, в одинаковых обстоятельствах было также правом и обязанностью другого [1]: ибо договор соединения не заключает в себе основания, почему один кто-либо может быть обременен более, нежели другой и напротив. Итак если бы законодательная власть на одного более отягощения возложила, нежели на другого, то сие произошло бы по особенным видам, кои в состав цели государства не входят, след. было бы явное нарушение справедливости, на которой основан договор подданства.

§ 96. Но если всеобщая безопасность требует, чтобы одному или некоторым гражданам предписаны были особенные отягощения, которым прочие ныне неподлежат, да и впредь едва ли когда подвергнуться могут, то государство должно за особенное отягощение делать особенное возмездие.

§ 97. Таким же образом государство может некоторым гражданам предоставить особенные права и преимущества, если сие для цели государства необходимо или полезно; таковые преимущества называются привилегиями.

§ 98. Если привилегии кому-либо предоставлены, то уже не (л. 50 об.) могут быть отняты как только тогда, когда соединенные с оными особенные обязанности не выполняются.

§ 99. Законы обязывают подданных соображать с оными их действия.

§ 100. Но они обязывают подданных только с того времени, когда законодательная власть об'явит их таковыми. Сие об'явление называется обнародованием, promulgatio.

§ 101. Способ обнародования должен быть известный и определенный, дабы никто не мог извиниться неведением закона.

§ 102. Когда законодательная власть какие-либо действия, касающиеся цели общества, так допускает, что из того выводится заключение о ее на то согласии, то чрез сие вводится подразумеваемый закон, который называется о б ы ч а е м.

§ 103. Закон может быть уничтожен или чрез явное отменение, или тайно чрез допущение обычая, противного оному, или чрез новой закон, в котором без явной отмены содержится учреждение, противное прежнему закону.

§ 104. Но предшествующие законы, содержащие в себе частные предписания, не уничтожаются последующим общим законом, хотя бы в оном и содержалось нечто противное первым, ибо цель нового общего закона есть другая, нежели (л. 51) частных прежних законов.

§ 105. Но если цель последовавшего общего закона не может согласоваться с целию прежних частных законов, то сии последние действительно отменяются.

ГЛАВА VI

О власти исполнительной.

§ 106. Исполнительная власть есть право своевластителя приводить в исполнение средства, определенные законодательною властию, и заставлять исполнять то, что оною предписано.

§ 107. Поколику законодательная власть издает общие предписания, то исполнительная власть должна приноровлять к оным частные случаи.

---

[1] В подлиннике «друга».

§ 108. Посему исполнит. власть, рассматривая частные случаи, должна определять, что в оных содержится сходственно с законом и что противно оному.

§ 109. Итак испол. власть: 1-е имеет право исследования (jus cognesciendi), ибо если она имеет обязанность приноравливать закон, то ей также принадлежит право исследовать, содержится ли известный случай под оным.

§ 110. Сему праву исп. власти соответствует должность подданных извещать ее о всем том, что нужно к подведению частного случая под определенной закон.

§ 111. Испол. власти принадлежит: 2-е право р е ш е н и я (л. 51 об.) (jus decidendi), т. е. определять, что в предлежащем случае в силу закона исполнить должно.

Прим. Действия исполн. власти составляют силлогизм, в котором закон составляет большую посылку, исследование предлежащего случая меньшую, а решение оного составляет заключение.

§ 112. Подданные имеют совершенную обязанность повиноваться повелениям испол. власти, ибо они договором подданства обязались повиноваться своевластителю.

§ 113. Но исп. власть может повелеть только то, что определено законод. властию. Итак исп. власть подчинена законодательной, ибо она действует только в пределах, предписанных ей сею последнею даже и тогда, когда лицо, которому вверена исп. власть участвует и в законодательной.

§ 114. Если закон темен и темнота оного содержится в самом законе (lex inthesi obscura), так что не можно понять намерение зак. власти, то исп. власть не может сама толковать закона, но от законод. должна требовать об'яснения. Ибо в сем случае законод., имеющая одна право издавать определения, не сделала сего еще; ее определение последует, когда она издает об'яснение или толкование. (л. 52).

§ 115. Если темнота содержится не в законе, но в предлежащем случае таким образом, что хотя случай не тот, которой принимается в законе, но из случая, определенного в законе, видно намерение зак. власти, как в настоящих обстоятельствах поступить должно (lex in hupothesi obscura). Таковое толкование принадлежит исп. власти, ибо в оном об'ясняется самый случай, а не закон, которой без применения к случаю сам по себе ясен, приноравливать же случай к закону есть дело исп. власти.

§ 116. Об'яснивши случай, исп. власть разрешает оный по намерению зак. власти, и сие решение бывает или чрез о г р а н и ч е н и е, restrictio, или чрез распространение (extensio).

§ 117. Решение бывает чрез ограничение, когда предлежащий случай, хотя повидимому и содержится в законе, но не может быть разрешен по оному или потому: 1) что главные обстоятельства случая, представленного в законе, не сходны с обстоятельствами случая предлежащего, или потому 2) что на побочные обстоятельства предлеж. случая намерение закона не простирается.

§ 118. Решение бывает чрез распространение, или закон приноравляется к случаям, в словах закона не содержащимся, (л. 52 об.) и сие бывает тогда: 1) когда глав. обстоятельства случая, представленного в законе, и предлежащего дела одинаковы; 2) когда в побочных обстоятельствах не содержится ничего такого, что бы предлеж. случай исключало из цели закона.

§ 119. В сомнительных случаях исп. власть должна испрашивать решения от законодательной.

§ 120. Наконец, исп. власть имеет право принуждать физическою силою исполнять ее приговоры как противу несмысленной природы, так и противу людей, и для сего принуждения употреблять силы подданных и госуд. имущество.

§ 121. Противу людей, поступающих вопреки цели госуд., действует она как представительница оскорбленного госуд. и определяет им соразмерные наказания. Противу несмысленной природы действует она как хранитель частного и общего блага.

ГЛАВА VII

О власти блюстительной.

§ 122. Власть блюстительная, potestas inspectiva, есть право своевластителя осведомляться о всем том, что касается цели госуд., как-то: об опасностях, угрожающих всему обществу или частным гражданам и о положении всего того, что посредственно или непосредственно к защищению госуд. служить может. Таковое осведомление есть обязанность (л. 53) верх. власти, поколику без оного не может она доставлять защиты: след. чрез то самое она получает на оное право.

§ 123. Итак сему праву соответствует должность подданных извещать верх. властителя о том, что относится до цели общества и что им заподлинно известно.

§ 124. Своевластитель употребляет сие право там, где он имеет к тому обязанность, ибо право его не простирается далее его обязанности.

ГЛАВА VIII

О внешних правах величества.

§ 125. Между предметами, входящими в круг действия верх. власти, суть во-1-х отношения госуд. к прочим физическим и нрав. лицам, не принадлежащим к оному. Права величества противу оных называются внешними, jura majestatis externa sive transeuntea.

§ 126. Государство противу всех иностр. народов и частных лиц имеет одни только совершенные должности, ибо несовершенные оно имеет только к тем, кои, вступив в оное, обязались содействовать к его цели. Но поколику совершенные должности суть те, кои не терпят никакого из'ятия, то госуд. или соединенная воля членов оного непременно подлежит сим обязанностям.

§ 127. Итак своев. госуд. имущество и силы подданных (л. 53 об.) не может употреблять для пользы других госуд. или для частных иностр. лиц.

§ 128. Но для выгод своего госуд. своев. может оказывать помощь иностранцам и стараться о их пользах.

§ 129. Поколику одному только своев. предоставлено избирать средства для цели госуд., то он только один может управлять сношениями с иност. госуд.

§ 130. Госуд. находится к другим госуд. в таком отношении, в каком одно частное лице находится к другим, ему подобным. Посему своев. может и должен защитить противу других: 1-е существование госуд.; 2-е независимость его и 3-е пределы.

§ 131. Итак в случае оскорбления своев. должен употреблять силы госуд. для истребования вознаграждения и для наказания других народов. В сем состоит право войны.

§ 132. Своев. может заключить с другими народами союзы, мирные договоры и другие условия.

§ 133. В случае необходимости своев. может уступить часть пределов госуд. не потому, чтобы необходимость уничтожала его обязанность стараться о целости госуд., но потому, что он обязан стараться о безопасности как жителей (л. 54) уступленных, так и тех, для спасения коих таковая уступка делается.

§ 134. Посему он часто имеет обязанность распространять свои пределы войною, когда нет другого средства защитить существование, независимость госуд. и целость его пределов.

§ 135. Наконец, одно госуд. посредством договора может соединиться с другим, дабы образовать с оным одно целое.

§ 136. Противу частных иностранцев, равно как и противу государств своев. может преследовать права своего народа, как оскорбленный противу оскорбителя, и может также заключить с ними договоры.

§ 137. Когда гражд. учинит преступление или нарушением договора обществ. соединения или неисполнением того, что оным предписывается, или чрез причинение опасности госуд., то он тем самым разрывает его союз с обществом, перестает быть гражд. оного и делается его врагом.

§ 138. Посему госуд. может противу преступника поступать, как противу врага своего.

Прим. Врагов иностр. позволено убивать, если нет другого способа от них защититься, почему ж не может быть позволено убивать врагов внутренних?

§ 139. Зак. власть имеет право определить, какие действия лишают человека права гражданства и включают его в число врагов общества и каким образом противу преступников поступить должно.

§ 140. Законодательство, занимающееся таковыми определениями, называется уголовным.

§ 141. Исп. власть, когда приноровляет преступные действия к законам уголовным, называется карательною.

ГЛАВА IX

О внутренних правах величества.

§ 142. Внутренние права величества на отношения верх. власти к подданным. Предметы оных суть: 1-е. госуд. имущество; 2-е. действия подданных и 3-е, определение их первоначальных прав.

§ 143. Право верх. власти располагать госуд. имуществом называется правом располагать госуд. доходами. (л. 55).

§ 144. Зак. власть, поколику издает законы о податях и налогах, равно как об употреблении оных, называется правом налогов, jus tributorum.

§ 145. Поколику исп. власть выполняет законы о налогах и употреблении оных, то называется в сем смысле: управителем госуд. податей, jus aerarii.

§ 146. Госуд. имуществом называется: во 1-х все то, что принадлежит правительству, как прав. лицу, изображающему госуд., во 2-х все то, что из частного достояния поступает в госуд. казну. Первого рода госуд. имущество называется госуд. капиталом, fundus publicus. Напротив того, части, отделяемые по временам от частного достояния, называются податью.

§ 147. Поколику все имущество госуд. первоначально состояло в одних произведениях земли, то, когда подати взимаются непосредственно с естественных продуктов, называются прямыми.

§ 148. Госуд. имеет право наложить непрямые подати, взимаемые с домов, с потребления известных товаров, или с некоторых занятий.

§ 149. Поколику каждый для своей свободы сколько можно (л. 55 об.) менее хочет жертвовать из своего имущества, то в договоре подданства содержится молчаливое условие, которым своев. обязывается употреблять госуд. имущество с возможною бережливостью.

§ 150. Но поколику госуд. имеет предметом сохранение величайшей выгоды подданных, т. е. безопасности, то в оном вопреки частному хозяйству (в котором расходы соразмеряются доходом) доходы должны быть располагаемы по количеству расходов, и подданный обязан платить все подати, возлагаемые на него для цели госуд.

§ 151. Право своев. располагать действиями подданных для цели госуд. называется полицейскою властию.

§ 152. Так как зак. власть издает для сего нужные учреждения, то называется[1] она правом полиции, jus politiae.

§ 153. Исп. власть, поколику наблюдает издаваемые полицейскою властью законы, называется она полицейским распоряжением, jurisdictio politica.

§ 154. Полиц. власть располагает действиями подданных дабы частию непосредственно, частию посредственно содействовать безопасности, как (л. 56) цели госуд. В 1-ом случае можно назвать оную общею, поколику она встречается даже у народов необразованных, а вторую — особенную, потому что она встречается только в образованных государствах.

§ 155. Непосредственно препятствует цели госуд. частию злые люди, частию сама природа. В рассуждении первых полиция старается положить преграду будущим преступлениям, а содеянные открыть немедленно. Вредные действия природы она старается отвратить и для того прилагает средства уничтожить или, по крайней мере, ослабить силу оных.

§ 156. Посредственные или прямые способы безопасности находятся отчасти в людях, отчасти в госуд. имуществе.

§ 157. Посему прав. имеет право стараться о народонаселении и образовании граждан. Для сего оно учреждает врачебные заведения, доставляет удобство к бракам, старается истребить распутство и холостую жизнь, облегчает переселения из одной провинции в другую и приглашает даже иностранцев к поселению в областях его. Для образования граждан споспешествует оно училищными заведениями и другими мерами, состоящими в его власти. (л. 56 об.).

§ 158. Для умножения госуд. имущества полиция отвращает препятствия, встречающиеся в добывании, в усовершенствовании и менее продуктов.

§ 159. Наблюдение тишины и порядка в городах и селах и предупреждение всякого рода частных обид и оскорблений есть также предмет полицейской власти.

§ 160. Верх. власть имеет право располагать действиями подданных, а потому она может делать постановления касательно их имущества, т. е. определять их частные права касательно собственности.

§ 161. По причине сих распоряжений зак. власть называется властию гражд. законодательства, potéstas legislatoria civilis.

§. 162. Исп. власть по причине исполнения гражд. законов или приноровления оных к случаям называется гражд. судебною властию, potestas juridiciaria.

§. 163. Гражд. законодательство не может учинить перемены в перво-

[1] Так в подлиннике.

начальных правах человека, ибо люди именно для безопасности оных вступая в общество [1].

§ 164. Гражд. законодательство не может также переменить прав приобретаемых, ибо приобретение есть ничто иное, как соединение предмета с (л. 57) первоначальным правом посредством действия, след. отнять приобретенное право значит нарушить право первоначальное.

§ 165. Закон. власть может только превратить должности несовершенные в совершенные, если того требует цель, ибо повеление оной по причине договора подданства налагает на подданного должность совершенную.

§ 166. Посему она может способы приобретения частию ограничить, частию распространить, но способы лишения собственности она может только ограничить, распространять же оные противно ее цели и правам подданных.

§ 167. Посему законы вообще должны содержать гражд. в относительном равенстве, т. е. каждому в одинаковом с прочими положении и в одинаковых обстоятельствах доставлять одинаковые права и налагать одинаковые обязанности.

§ 168. Дабы обезопасить права и воспрепятствовать под предлогом законных требований делать незаконные притязания, верх. власть должна принять на себя право принуждения и право (л. 57 об.) наказания.

§ 169. Но сии права она может производить в действо только тогда, когда последует жалоба на обиду, ибо если частный человек не жалуется на похищение права, то из того познается, что он уступает оное, и судеб. власть, принуждая или наказывая предполагаемого оскорбителя, тем самым причиняет ему обиду.

§ 170. Судебная власть решает не только распри о праве, т. е. когда один доказывает свое право, а другой опровергает оное (спорное судопроизводство jurisdictio contentiosa), но также полагает преграду распрям (jurisdictio volutaria).

§ 171. Никогда судеб. власть не может отвергнуть жалобы подданного или быть пристрастною в решении распри к одной из тянущихся сторон.

§ 172. Для доставления силы своим повелениям исп. власть может употреблять наказания, которые должно различать от казней. Сии последние употребляются тогда, когда подданный (л. 58) об'является врагом общества. При наказаниях, напротив того, подданный не лишается прав гражданства, но терпит известное зло, для исправления ему определенное.

Условное государственное право.

Об образах правления.

§ 173. Совокупность условий договора подданства называется госуд. постановлением, constitutio, или образом правления, forma reipublicae.

§ 174. Явные определения об образе правления суть явные договоры между гражданами и своевластителем, называются коренными законами, leges fundamentales; подразумеваемые условия называются молчаливыми коренными законами.

§ 175. Первобытные только жители страны могут определять образ правления, и только владельцы имеют право делать таковые распоряжения.

[1] Так в подлиннике.

§ 176. Но когда один народ причинил обиду другому, то сей может переменить образ его правления.

§ 177. Каждое прав. законно, которое учреждается законным образом (л. 58 об.).

§ 178. По договору подданства верх. власть вручается или одному лицу физическому или нравственному. В первом случае образ правления бывает единовластный, монархический, во втором — оной бывает аристократической или демократической. Демократ. бывает тогда, когда верх. власть принадлежит большинству голосов, которым определяются средства для цели общества в собрании граждан. Аристократ бывает тогда, когда верх. власть вверяется определенному нрав. лицу или сословию.

§ 179. Когда физич. лицу договором подданства предоставлены все права величества без всякого ограничения, т. е. когда он может располагать средствами для цели общества по своему только[1] благоусмотрению, тогда образ правления называется монархическим неограниченным или самодержавным.

§ 180. Когда монарх употребляет силы госуд. противно цели госуд. или подданных лишает первоначальных и производных прав, для сохранения (л. 59) коих учредилось общество, тогда образ правления называется деспотическим.

§ 181. Если монарх или не имеет всех прав верх. власти, или в выполнении некоторых ограничен известными постановлениями, то образ правления называется ограниченным.

§ 182. Поколику весь народ не может участвовать в отправлении верх. власти вместе с монархом, то для сего учреждается сословие, которому предоставляет[2] право участвовать в делах, подлежащих верховной власти.

§ 183. Члены семейства государя суть его подданные, ибо в госуд., кроме самого своев., нет лиц, независящих от верх. власти.

О способах приобретать верховную власть в монархии.

§ 184. Верх. власть в госуд. первоначально учреждается по договору подданства. В госуд. монархич. народ предлагает верх. власть избираемому лицу, а сие последнее соглашается на его предложение. Таким образом верх. власть получается чрез договор. (л. 59 об.).

§ 185. Поколику право монарха есть право личное, т. е. одному только известному лицу представляемое, по смерти избранного монарха власть верх. снова приходит к народу, которой в праве избрать нового властителя или переменить образ правления.

§ 186. Поколику гражданство есть общество нескончаемое, властители же госуд. суть смертные, то народ должен определить, кто по смерти монарха и каким образом должен наследовать. Как таковая власть определять наследие трона принадлежит народу, то в монарх. госуд. всякий образ наследования почитается законным, который определен согласием народа. След. столько находится образов наследования, сколько оных по началам народного права представить можно.

§ 187. Монархия, в которой каждый раз по упразднении престола избирается новый своев., называется избирательною. Монарх. образ правления называется наследственным тогда, когда наследник

---

[1] Далее в подлиннике ошибочно были повторены вторично 6 последних слов: «для цели общества по своему то» (последнее слово не дописано, и все повторенное взято в скобки).

[2] Так в подлиннике.

вступает на престол (л. 60) не по избранию, но по силе предшествовавшего закона. Если наследник получает верховную власть по закону, то только с согласия народа, то сей образ наследования называется смешанным.

§ 188. Способ приобретать верховную власть не переменяет существа оной. А потому в монархии неограниченной, хотя новый монарх получает полную и неограниченную власть, но самого образа наследования переменить не может; ибо оный основывается не на избрании, но на договоре подданства.

§ 189. По смерти монарха, доколе не определится преемник, трон называется упраздненным, и состояние монархии называется междуцарствием. В течение сего времени зависит от народа управлять ли государством по общему согласию, или поручить (л. 60 об.) сию власть некоторым согражданам. Лицо, которому, вверяется управление государством во время междуцарствия называется наместником, правителем госуд. vicarius monarchiae, который есть только поверенный народа, но не своевластитель, должность его есть только временная, которая оканчивается вместе с избранием нового монарха.

§ 190. Право избирать монарха народ или себе предоставляет, или поручает некоторым лицам, на известных правилах и условиях или совсем безусловно. Избрание, сделанное по силе предписанных на то правил, называется законным, а вопреки оным учиненное называется незаконным.

§ 191. Избрание есть договор, в котором договаривающиеся стороны суть: 1) Народ, (л. 61) предлагающий верх. власть, 2-е Лице, приемлещее оную. Отсюда следует: a. Доколе не совершено избрание, до тех пор избираемый не имеет верх. власти, b. Во время избрания народ может постановить правила для избираемого вновь монарха. Сии правила называются избирательными условиями, pacta conventa. c. Избираемому можно принять и не принять верх. власть на таковых условиях, d. Если принимать оную, то получает владычество и условиями избирательными обязывается так, как коренными законами.

§ 192. В монархии избирательной право назначать наследников престола принадлежит не государю, а народу или его уполномоченным; потому действия избрания не зависят от воли государя. Если при (л. 61 об.) жизни государя наследник избирается, то он не может ни препятствовать избранию ни насильно дать народу наследника своего трона. Когда народ законно избирает преемником царствующего государя, тот есть наследник монархии и право владычества получает он тотчас по пресечении жизни своего предшественника.

§ 193. В монархии наследственной учреждаются законы, которыми определяются лица, способные к наследованию и самый способ наследования, дабы не могли возникнуть несправедливые притязания и споры о наследовании. Таковые законы постановляются согласием народа и по избрании первого монарха им сами подтверждаются. Они обязывают и народ (л. 62) и монарха и всех тех, которым впоследствии времени по силе оных принадлежать будет право наследства. Потому законы сии, называются коренными.

§ 194. По силе коренных законов в монархии наследственной по упразднении трона наследник восходит на оный, не требуя согласия народа. Хотя он прежними коренными законами обязывается, но не подлежит никаким новым обязательствам. Таковой образ наследования продолжится, доколе род царствующего поколения не прекратится. По прекращении же оного народ снова получает право избирать наследника и определять способ наследования.

§ 195. Если в монархии образ наследования (л. 62 об.) бывает смешанной, то, хотя наследник по воле народа обойден быть не может, однакож в случае явной неспособности, или несогласия его на предлагаемые условия, народ не обязан признать его наследником.

§ 196. Если в монархии наследственной право наследования ограничивается только потомством первого царствующего в роде, то наследование называется семейственным. Если же определение наследника зависит от предшественника, таковое наследование называется отечественным, отчиным, patrimonialis.

§ 197. В монархии отеческой монарх располагает верх. властью как собственностию. Если он может по произволе только передать верх. власть другому, то монархия несовершенно отечественною[1]; если же может (л. 63) разделить по произволу области госуд. на разные зависимые или независимые общества, то монархия называется совершенно отечественною.

§ 198. Отечественной образ наследования противен цели общества; ибо потому, во-первых, весь народ делается собственностью своего властелина; во-вторых, разделение областей госуд. каковое предполагается в монархии совершенно отечественной, подвергает госуд. опасности и совершенному разрушению.

§ 199. В монархии наслед. семейственной определяется порядок наследования членов семейства, первой в порядке почитается наследником. По прекращении царств. поколения, народ приобретает право избирать наследника и определять образ наследования. (л. 63 об.).

О республиканских образах правления.

§ 200. В демократии верх. власть принадлежит всему народу, т. е. или всем гражданам или начальникам семейств. Собрание оных называется народным сословием collegium populare.

§ 201. Поколику нар. сословие представляет народ, то ему принадлежит верх. власть; потому все граждане ему подчинены и даже члены народ. сословия каждой сам по себе отдельно подлежит оному. Итак в республике демократ. никто сам по себе не свободен. Но только нар. сословие свободно как в рассуждении внешних госуд., так и в рассуждении самого своего гражданства.

§ 202. Поколику нар. сословие имеет верх. власть и совершенно свободно: то оно по произволу может располагать (л. 64) всеми общественными делами, оно может определять способ отправления верх. власти, издавать и переменять законы и определять все меры для достижения цели общества.

§ 203. Голоса членов нар. сословия равны: потому отправление дел и постановление законов должны быть производимые при общих совещаниях, об общественных делах, называется нар. собранием, comitia popularia. Потому сословие нар., когда само собою действовать хочет, должно отправлять дела свои в нар. собрании.

§ 204. Но дабы при сих собраниях не происходило замешательства, и распрей, то определяется коренным законом, кто имеет право подавать голоса в собраниях, что должно почитать общею волею своего собрания, в каком месте, в какое время (л. 64 об.), каким образом созывается народ. собрание, как подавать и собирать голоса и как по оным делать заключения.

§ 205. Нар. собрание не может быть учреждаемо ежедневно, потому отправление обществ. дел по определениям нар. сословия поручается

[1] Так в подлиннике.

или одному лицу, или некоторым членам. Таким образом постановляется или правитель гражданства, которой ее только чиновник госуд., или особенное сословие, управляющее делами во имя верх. сословия и сообразно с целию общества.

§ 206. Право присутствовать в нар. собраниях есть право наслед., ибо всегда оно принадлежит известным лицам по их качествам, с которыми право сие переходит к потомкам, как напр., право владения известным участком земли или другим недвижимым имуществом. Вообще (л. 65) способ наследовать и получать право в нар. собрания определяется коренным законом республики.

§ 207. В аристократии верх. власть принадлежит некоторым вельможам совокупно, или собранию вельможей, collegio optimatum, т. е. прав. лицу, которому народ поручил обществ. власть. Собрание сие называется верх. сословием, которое потому имеет всю власть, принадлежавшую первоначально целому народу.

§ 208. Власти верх. сословия и аристократ. подлежат все частные граждане и все особенные общества, даже члены оного сословия; след. в аристок. никто сам по себе не свободен; только верх. сословие свободно как в рассуждении внешних госуд., так как собственного гражд. общества. (л. 65 об.).

§ 209. Поколику власть верх. сословию сообщается от народа, то оное представляет народ. Воля оного почитается волею всего народа.

§ 210. При учреждении арист. образа правления народ по силе первоначальной свободы определяет способ отправления верх. власти. Посему от воли его зависит определить. 1. Число вельмож. 2. Способ избрания их. 3. Назначить, временно ли их управление или всегдашнее. 4. Избираются ли их преемники, или назначаются по известному закону. 5. Принадлежит ли право быть вольможею известным фамилиям, или соединено бывает с владением известным имуществом, или с некоторыми личными качествами. На все оные случаи постановляются нар. волею законы, коренными (л. 66) называемые.

§ 211. Постановленные таким образом законы между народом и верх. властью составляют условия договора подданства. Верх. сословие обязывается оными в рассуждении народа и не может их нарушить без его на то согласия. Если же верх. власть без всяких условий передана верх. сословию, то оное, как собрание народное, может по своему произволу постановлять и переменять коренные законы.

§ 212. Арист. бывает наследственною, когда право подавать голоса в верх. сословии принадлежит известным фамилиям или сопряжено с владением известным недвижимым имуществом. Избирательная арист. бывает, когда право голоса приобретается (л. 66 об.) по избранию или самого верх. сословия, или народа. Смешанная арист., когда подаватели голосов избираются, но только или из известных фамилий, или из владетелей известным имуществом.

§ 213. Если в арист. избирательной право избирать вельмож преемников принадлежит не верх. сословию, а народу или его уполномоченным, однакож вельможи ни в чем от власти народа не зависят, такой образ правления есть арист., хотя оной и кажется демократическим.

§ 214. Образ правления, составленной из монарх. и арист., из демок. и арист. или другим способом, называется смешенным. Оный происходит чрез разделение верх. власти и ограничение оной. Так как сие ограничение верх. власти различным образом быть (л. 67) может, то и смешанные образы правления многоразличны, каждый из оных подтверждается коренными законами.

§ 215. Итак в правление смешанном находятся многие физические или нравственные лица, из которых каждому принадлежит известная часть

власти, которую отправляет оное или независимо или вместе с другими. Посему оные лица все равны между собою и независимы касательно части принадлежащей им власти. Посему в смешанном образе правления лица, между коими разделена верх. власть, только все вместе имеют власть полную и совершенную.

§ 216. В одном госуд. принадлежит более власти одному лицу, в другом — вельможам или народу, почему в первом (л. 67 об.) случае образ правления называется монарх. смешанным, во 2-м арист. смешанным, а в 3-м демок. смеш. От сих образов правления должно отличить чистую монархию, чистую арист. и чистую демократию.

§ 217. Из многих госуд. может составиться посредством договора одно госуд., если учредится общая для всех частей верх. власть.

§ 218. Если из многих госуд. составится одно всегдашнее общество, причем каждое сохраняет общественную власть во всем том, что к общей цели не относится, тогда происходит союзное госуд., corpus foederatorum respublicarum. Итак союзные госуд. остаются отдельными (л. 68) обществами, но имеют взаимные права и обязанности по договору соединения, но в рассуждении общей цели и касательно внешних госуд. они почитаются одним государством, которое само по себе свободно и независимо.

О перемене образа правления.

§ 219. Когда договор подданства заключен, то своев. не имеет уже права переменить образ правления, ибо он удерживает свое право только на тех условиях, на которых оное ему предоставлено. В народных даже правлениях самое большинство голосов не может произвести сей перемены; ибо оному предоставлено по договору подданства право сохранять определенной (л. 68 об.) образ правления, а не изменять оной.

§ 220. Равным образом народ не имеет права произвести перемену в образе правления, не имея к тому законных причин; ибо договор подданства обязывает равно обе договаривающиеся стороны. Хотя бы народ и удержал сие право при первом учреждении правительства, то и тогда не может производить оное в действо; ибо собственное его спокойствие и твердость правительства зависит от того, когда оно не подлежит переменам.

§ 221. Но образ правления может быть переменен по взаимному согласию своевластителя и народа, что также может произойти и тогда, когда верх. властителю предварительно по договору (л. 69) подданства сообщено право производить в образе правления перемены, сообразные с целью государства.

§ 222. В перемене образа правления не могут участвовать жители, ибо они не участвовали в договоре подданства; но при случае уничтожения или перемены оного могут они оставить государство [1].

Изображение системы политических наук [2].

Введение.

(лл. 1—4)

Государственные сведения должны состоять во взаимной связи между собою; ибо они относятся к одному и тому же предмету. Чтобы

[1] На этом заканчивается текст тетради «Энциклопедия прав».

[2] Курс «Изображения системы политических наук» вместе с курсом «Государственное хозяйство» составляет особую переплетенную тетрадь записок Горчакова. «Изображение системы политических наук» занимает лл. 1—11, и «Государственное хозяйство» — лл. 12—84 об.

открыть таковую связь, должно обратить внимание на цель государства, при определении которой должно сообразоваться с общими началами права, не принимая в уважение положительных постановлений в устройстве государств; ибо первые проистекают из общего источника разума человеческого, следовательно сами себе противоречить не могут; между тем как последние зависят от случая, обстоятельств и нередко от частного произвола, а потому часто находятся в прямой противоположности и не соответствуют ни цели, для которой учреждается общество или совершенно оной противны.

Чтобы определить цель государства, должно рассмотреть во-первых, природу людей как членов оного; во-вторых, их взаимные отношения, как существ независимых.

Из сего рассмотрения явствует, что люди до вступления в государство находились в бедственном состоянии: ибо, по причине слабости своих сил, не могли защищать своих прав, ни усовершить своего состояния. Посему они согласились между собою у (л. 2 об.) чредить верховную власть и поручили оной право избирать и употреблять средства к их защите и благосостоянию.

Итак круг государственных сведений разделяется на три главные части.

В 1-ой об'ясняется природа человека и права людей независимых.

Во 2-ой — учреждение верховной власти, сообразное с целью государства.

В 3-ей — средства верховной властью избираемые для достижения цели государства.

ЧАСТЬ I

ГЛАВА I

О природе человека.

Человек имеет двоякую природу: чувственную и духовную. Чувственную природу человека из'ясняет антропология, а духовную психология.

ГЛАВА II

О взаимных отношениях людей независимых.

Человек, как существо разумное, имеет права и подлежит обязанностям. По своей чувственности он стремится к сохранению и услаждению бытия своего, избирает к тому средства и желает, чтоб в употреблении оных другие люди ему не препятствовали. Сие желание налагает на него самого обязанность не препятствовать другим людям в достижении предполагаемых ими целей; ибо другие люди суть также разумные существа и, подобно ему, желают достигнуть благополучия. (л. 33).

В уединенном состоянии человек может следовать одной только естественной свободе, т. е. он может исполнить все то, что приносит ему удовольствие. Но в состоянии общежития или прикосновения с подобными ему существами он может исполнять только то, что не чредит другим, ибо если бы он для достижения своих целей стал нарушать права других людей, то тем самым подал бы им повод поступать с ним таким же образом. Итак, от взаимного противодействия свободы естественной люди не могли бы жить вместе. Систематическое исследование условий, при которых общежитие между людьми независимыми существовать может, составляет науку права естественного.

ЧАСТЬ II

ГЛАВА I

Об учреждении верховной власти.

Общежитие людей равных между собой по правам и обязанностям, руководимых одними только внушениями рассудка или законами естественной справедливости, не могло существовать долго, по крайней мере, оно не было так выгодно, чтоб люди согласились остаться в оном навсегда. Опыт доказывает, что люди не внемлют рассудку и вредят друг другу, коль скоро нет силы, которая удерживала бы их от таковых покушений и заставляла поступать честно и справедливо. Конечно в естественном (л. 3 об.) состоянии рассудок предоставляет человеку право принуждения, как средство для отвращения нападений со стороны других людей, но сие средство крайне недостаточно. Не каждый человек может пользоваться оным, ибо сила не всегда соответствует праву и часто бывает на стороне оскорбителя.

В состоянии вне-общественном не менее опасностей предстояло человеку со стороны несмысленной природы, которых он собственными силами отвратить был не в состоянии. Глад, жажда, вредные действия стихий, дикие звери и проч. суть опасные враги человека. Итак, он старался изыскать средства противу сих опасностей и к улучшению своего состояния. Опыт доказал в последствии времени, что соединение с другими есть деятельнейшее средство для той и другой цели. Сие первое совокупление людей называется оборонительным союзом, societas defensoria. Договор, на котором оно основывается, заключает в себе два существенные условия: 1. Члены оборонительного союза дали взаимное обещание не вредить друг другу. 2. Каждое нападение на целое общество, на кого-либо из членов или каждую опасность отвращать соединенными силами.

Хотя по сему договору каждый обязан содействовать цели общества, но в оном нет условий, на которых должны быть (л. 4) избираемы средства. Никто из граждан не обязан следовать воле других в избрании оных, а потому если бы кто из сочленов захотел принудить других согласиться на избранные им средства, тот поступил бы против права. Для сего сочлены оборонительного союза принуждены были учредить верховную власть, которая избирала бы средства для достижения цели общества и приводила бы оные в действо. Здесь граждане независимые делаются подданными и состоят под законами верховной власти: но сие подданство не есть состояние кабалы. Люди, вступая в общество, желают свободы и благосостояния, а не рабства и нищеты; они подвергаются верховной власти на том только условии, чтобы оная избирала и употребляла средства для их безопасности и благосостояния; они предлагают свои силы в расположение общества, но с тем только, чтобы они обращены были на общую и, следовательно, также на их собственную пользу. Итак цель, для которой постановляется своевластитель, определяет права и должности его самого и его подданных. Сие взаимное отношение верховной власти к подданным и подданных к верховной власти составляет науку права государственного (jus publicum). (л. 4 об.)[1].

---

[1] Дальнейшее продолжение курса «Изображение системы политических наук» мы опускаем (план курса см. в предисловии).

Государственное хозяйство[1].

Краткое изображение системы меркантилистов

О различной важности отраслей промышленности в государстве.

(лл. 21 об.—25 об.)

...§ 25. Фабрики и мануфактуры почитаются по системе меркантилистов также важнейшею и прибыточнейшею отраслию народной промышленности, почему заслуживают особенное внимание в управлении государственного хозяйства. Всякая другая деятельность производительная, а наипаче земледелие подчинены оным. Всякое насильственное средство позволительно противу прочих занятий, особливо противу земледелия, когда притеснение оного пользу приносит мануфактурам; ибо сии последние служат надежными средствами к поддержанию и получению выгодного баланса. Чем совершеннее мануфактуры и чем оные многочисленнее и разнообразнее, тем решительнее выгода баланса и тем большее количество денег приобретается от иностранной торговли.

§ 26. Для приведения мануфактур в цветущее состояние должно употреблять все понудительные средства. Посему ввоз всяких товаров запретить должно всем народам вовсе или уменьшить оной. Надлежит стараться все вещи первой потребности и предметы роскоши производить внутри государства так, чтобы оных доставало не только на внутреннее продовольствие, но чтобы знатный излишек оных отправлять за границу. a. Производство грубых изделий не должно предоставлять течению природы, или воле самых производителей, но надлежит вынуждать оное наградами, предписаниями и наказаниями. b. Произведения мануфактур должны быть разнообразны, дабы могли удовлетворять (л. 22) всем потребностям жизни и прихотям роскоши. c. Должно вынуждать произведение таких вещей, которые служат материалами для фабрик. d. Но производство и употребление оных не должно быть свободно: след., таковыми товарами производители не могут свободно торговать внутри и вне государства. А потому вывоз оных вовсе запрещается, предписывается обработание внутри государства. Сии меры производят дешевизну грубых произведений в пользу мануфактуристов. Но если чего нельзя произвести или по причине ропота подданных, или по причине неблагоприятства самой природы, то надлежит допустить ввоз грубых произведений, из которых таковой товар приуготовляется. Но, позволив ввоз грубых материалов, должно тщательно препятствовать иностранцам ввозить подобные обработанные товары, налагая на оные тяжкие пошлины, дабы иностранные товары не могли на рынках выдержать соперничество с нашими. Особенно надлежит в таком случае преграждать тайный ввоз товаров и запрещенную торговлю.

Но иногда сих правил нельзя выполнить в точности частию по причине местного положения государства, частию по причине упорства и неблагоразумия жителей, частию от противодействия других государств. Для сего должно, по крайней мере, с некоторыми ограничениями приводить оные в действо, если нельзя грубых продуктов произвести внутри государства, или получить оных от иностранцев в довольном количестве, или вовсе преградить ввоз обработанных товаров: то, по крайней мере, надлежит стараться затруднить ввоз

[1] Из курса «Государственное хозяйство» мы публикуем лишь части, трактующие наиболее актуальные для 10-х годов XIX в. политические и экономические вопросы (о методах ведения сельского хозяйства, о развитии промышленности и торговли, о крепостничестве и т. д.).

таких, которые дома производятся в довольном количестве; или позволить ввоз оных из таких государств, которые не могут преклонить на свою сторону баланса.

Государство, последующее сей системе, старается сколько о том, чтобы на домашних (л. 22 об.) рынках обращались домашние произведения, столько и о том, чтобы для его собственных произведений открыты были рынки во всех других государствах. Для сего оно употребляет следующие средства:

a) Ободряет жителей к вывозу домашних произведений в чужестранные земли.

b) Старается приобресть право сбывать свои товары на иностранных рынках.

c) Но чтобы иностранцы охотно покупали привозимые к ним товары, для сего старается доставлять оные по дешевой цене.

Вывозимые товары суть или такие, которые привозятся из чужих краев и обратно отправляются за границу, или оные приготовляются из домашних, либо из иностранных продуктов.

Весьма легко случиться может, что торговцы по их частному усмотрению, по положению земли и по другим обстоятельствам почтут за лучшее вместо внешней торговли заниматься внутреннею и вывозить только те товары, которые внутри употреблены быть не могут; но как сие противно основаниям и цели меркантильной системы, то деятельное правительство употребляет сильные и надежные средства к возвышению торговли внешней. Средства сии суть:

a) Премии или награждения на вывоз всех товаров вообще или на такие произведения, вывоз коих почитается особенно выгодным. Таковые награждения, во-первых, поощряют торговца предпочитать внешнюю торговлю внутренней; во-вторых, они доставляют нашим товарам дешевизну на иностранных рынках, почему оные привлекают более покупщиков, нежели товары других народов.

b) Другое столько же надежное средство к поощрению вывоза особенно тех товаров, которые привезены из чужих краев, есть возвращение пошлины при вывозе оных за границу. Если бы товар остался внутри государства, то (л. 23) взятая с оного пошлина увеличила бы его цену внутри на домашнем рынке. Но сии средства бывают иногда недостаточные к достижению преимуществ во внешней торговле; ибо другие народы по причине соревнования последуют часто тем же правилам. Для сего торговцам предоставляются другие выгоды при закупке и при продаже товаров, как на домашних, так и на иностранных рынках; к сей цели особенно содействуют колонии, заводимые в иностранных краях и в беспрестанной зависимости находящиеся от главной земли. Обязанности таковых населений суть:

a. Все грубые произведения свои исключительно продавать главной земле за установленную цену или за таковую, каковая определяется торговцами, приезжающими из общего отечества. Причем они не должны вести активной торговли, но довольствоваться пассивною.

b. Они не могут сами обрабатывать грубых продуктов, как собственных, так и иностранных. Но все искусственные произведения обязаны получить от главной страны за такую цену, каковая назначается фабрикантами и купцами оной. Выгоды таковых торговых сношений весьма ощутительны для главной земли, равно как и невыгоды для колоний весьма велики. Политика меркантилистов не обращает притом внимания на справедливость таковых обязанностей, но почитает оные законными, поколику приносят главной земле пользу. Надлежит стараться только о том, чтоб удержать населения свои в зависимости, по крайней мере, до тех пор, пока будет возможно. Осо-

бенным средством для сей цели найдено то, чтобы торговлю с колониями отдавать в исключительное распоряжение таковому обществу, которое по силе сего права может вести монопольную торговлю, не только с колониею, но и товарами оной может исключительно торговать не только внутри государства, но и в чужих краях, след., доставит обществу величайшую выгоду. (л. 23 об.).

Монополии и исключительные привилегированные торговые общества почитаются по сей системе, если не существенно необходимыми, то, по крайней мере, чрезвычайно полезными для достижения главной цели. Первые служат к возвышению фабрик и мануфактур, а вторые к распространению иностранной торговли.

Монополия доставляет владетелю оной исключительное право заниматься известными мануфактурами и фабриками под непрестанным и особенным покровительством правительства. Итак оная предполагает:

a. Что правительство имеет право предоставлять такие монополии и выгоды.

b. Что такого роду промышленности ни чем иным возвышены быть не могут и что свобода занятий граждан наименее к тому способствует. По духу системы меркантилистов правительство способствует возвышению мануфактур беспрестанным надзором за их деятельностию и направлением оных. Посему оно не только может, но и должно принять меры к тому, чтобы жители государства довольствовались произведениями одних только домашних (мануфактур) фабрик. Отсюда необходимо проистекает строгое запрещение всех иностранных товаров, или высокая пошлина на ввоз оных. Строгие законы должны быть изданы противу потаенной торговли, яко вредной народу и правительству. Границы государства должны быть тщательно оберегаемы посредством таможен и застав от хитрых торговцев, которые ищут случая вторгнуть и иностранные товары на домашние рынки. Когда сия цель будет достигнута, то предстоит еще другая, достижение которой еще затруднительнее. Когда внутренние рынки наполнены будут домашними мануфактурными произведениями, то должно стараться распространить употребление наших товаров между иностранцами. Но таковое старание тогда только может получить успех, когда (л. 24) наши товары будут превосходить дешевизною и добротою товары иностранных народов. В сем случае не должно полагаться на благоразумие самых торговцев, но надлежит действовать на них положительным образом. Почему должно издать предписание в разсуждении отделки товаров, их ширины, длины, степени тонкости, веса, цвета и пр., причем тщательно наблюдать, чтоб таковые предписания были соблюдаемы, и нарушение оных почитать наравне с прочими преступлениями государственных законов.

Чтобы произведения наших фабрик не уступали произведениям других народов, надлежит выписывать мастеров из тех земель, в которых какой-либо товар отделывается в особенном совершенстве, дабы посредством сих людей распространить искусство производить оной внутри государства. Но случается, что некоторые фабрики скрывают тайну приготовлять известной товар; в сем случае позволяются всякие средства открыть оную, хотя бы то было посредством подкупа, обмана, насилия, или подобного сим средства.

Как монополии содействуют возвышению фабрик, так торговые общества содействуют возвышению иностранной торговли. О важности оных в рассуждении умножения народного богатства заключили из того, что они находятся в богатейших и цветущих государствах, почему и приписали оным благодетельные последствия промышленности и трудолюбия.

Торговые общества учреждаются через составление общего капитала Акционеры или владетели сего капитала под покровительством верховной власти имеют в своем распоряжении или всю внешнюю торговлю, или торговлю с известными частями света. По силе таковых распоряжений торговые общества мало-по-малу подчинят неминуемо всю внутреннюю промышленность, занимающуюся приготовлением товаров для внешней торговли. Они будут обладать самою большею частию деятельности народной, потому что искусственная промышленность (л. 24 об.) получает из чужих краев нужные для своего производства материалы чрез их руки, а свои товары отсылает за границу при их посредстве.

Кроме того, торговые общества располагают всею внутреннею торговлею, ибо они определяют цену товаров, как домашних, так и иностранных. Отвлекая капиталы от их естественного канала, т. е. внутренней торговли, в искусственной канал внешней торговли, мало-помалу они приводят весь народ в свою зависимость. Самое правительство нередко подвергают они своей власти. Богатство, приобретенное ими посредством монополии, дает им средства делать правительству заимообразные ссуды, причем они не упускают случая пользоваться критическим положением своего отечества и выговаривают при таковых ссудах условия, полезные для них, тягостные для их отечества и правления. Таким образом все государство делается мало-по-малу от них зависимым.

Не менее важный источник народного богатства составляют горные заводы, ибо они доставляют или металлы для непосредственного приготовления денег и фабрикам и мануфактурам доставляют материалы для производства товаров или, наконец, изготовляют некоторые продукты непосредственно для иностранной торговли.

При добывании металлов, особенно благородных, не должно смотреть на количество оных и издержки, употребляемые на добывание оных и приготовление денег; легко случиться может, что количество добываемых металлов гораздо менее, нежели количество издержек, на то употребляемых. Деньги оживляют деятельность народа, а потому их должно ценить по их влиянию на оживление промышленности, а не по количеству кусков металла. Один рубль серебра может в течение года умножить народное богатство на 10, на 100 и более; следовательно, если добывание оного обойдется вдвое (л. 25), то сие не только не должно считать потерею для государства, но еще выгодою.

Земледелие в сей системе, несмотря ни на превозносимую важность оного, почитается не столь прибыточным, как прочие отрасли народной промышленности. Последний ремесленник предпочитается земледельцу. Производят, продают и вывозят сельские продукты не для того, что они могут обогащать государство, но для того, что они споспешествуют мануфактурам и внешней торговле. Земледельческая нация никогда не может сделаться богатою, потому что произведения оной никогда не могут быть предметом обширной внешней торговли. Правительство может и сию часть народной деятельности сделать гораздо выгоднейшею для умножения народного богатства посредством своих предписаний. Земледельцы, по своей необразованности, часто не знают не только общественных, но даже и их собственных выгод, а потому занимаются обрабатыванием таких продуктов, которые по их массивности, излишеству во всех частях света могут быть употребляемы только на месте производства и на ближних торжищах. Для того должно как земледельцев вразумить и научить его[1] производить

[1] Так в подлиннике.

такие продукты, которые или непосредственно могут поступать на иностранные рынки, или могут служить материалами для наших фабрик, отправляющих свои изделия за границу. Отсюда произошли экономические общества, земледельческие школы, надзиратели хозяйства крестьян и подобные сим учреждения, также положительные предписания земледельцам в рассуждении их занятий. История не представляет еще ни одного государства, в котором бы земледелие усовершилось именно от сих учреждений, но все почитают оные не только полезными, но даже необходимыми, и географы, статистики и путешественники выставляют оные в своих сочинениях как важные государственные постановления. Предрассудки, основанные веками, в течение веков только могут быть опровергнуты; ибо люди по природной (л. 25 об.) лености лучше соглашаются без размышления следовать чужим мнениям, нежели принять на себя труд исследовать. Таков был мир и прежде нас.

Система физиократов.

(л. л. 31—37)

А. О различных способах возделывания земли[1].

Во всяком государстве земля принадлежит в собственность частным людям, отчасти верховной власти. Если силы владельца соответствуют пространству земли, то он сам возделывает свое поле; а когда поместья его обширны, то он возлагает обработывание оных на других людей. В сем последнем случае возделывание земли производится трояким образом.

I. Чрез крепостных людей. В таком положении вещей земля со всеми принадлежностями и произведениями оной принадлежит (к собственному)[2] в собственность помещику. Крепостной человек не имеет никакой (л. 31 об.) собственности, ибо сам он не себе принадлежит. Не ему принадлежит дом, в котором он живет, скот, который он содержит, одежда, которую он носит, хлеб, которым он питается. Из ежегодного произведения земли господин уступает ему некоторую часть на содержание его самого, хозяйственных строений и орудий, на содержание рабочего скота и другие домашние потребности. Таковые издержки несет владелец для получения дохода от своих крестьян и земли. Но гораздо чаще владельцы земли употребляют другой способ для удовлетворения потребностям их крепостных крестьян, которой состоит в отделении известного участка земли, который крестьяне возделывают своим капиталом и для себя собственно, а помещику платят за оной работою или деньгами по мере, назначаемой от владельца. Во всех таковых случаях помещик есть владелец, откупщик и капиталист. Вся прибыль и весь убыток остается за ним. Государство имеет в виду только его самого.

II. Второй способ возделания земли есть чрез вольных работников. В сем случае помещик есть владелец и вместе возделыватель. Ему принадлежит все произведение земли, он несет все издержки и убытки. Он дает работникам плату, которая вся принадлежит им; ибо они принадлежат себе самим. Он[3] может иногда быть скуднее продовольствия, даваемого крепостным людям, однакож они могут нечто от оной сберегать и имеют (л. 32) к тому побуждение, ибо накопленной избыток принадлежит им в совершенную собственность. Они могут обратить оной на усовершенствование своей работы, дабы

[1] Публикуемому здесь разделу: «О различных способах возделывания земли» предшествует общий обзор системы физиократов.

[2] Так в подлиннике.

[3] Так в подлиннике. По смыслу должно быть «она».

получить чрез то больше прибыли. Таким образом при сем способе возделания земли рождается, сверх капитала владельцев, другой производящий капитал, от них независимой.

III. Третий способ возделания земли производится чрез откупщиков. В сем случае помещик,— только владелец, а возделывание земли предоставляет одному или многим зажиточным крестьянам, которые за право пользования землею дают ему известную пользу по договору. На обработание земли употребляют собственной капитал и получают все произведение оной. При сем в распоряжении помещик ничего не теряет, но еще выигрывает; ибо 1. он избавляется от всех издержек и получает только чистую прибыль от своей земли; 2. доходы его не подвержены случайному умалению от неурожая, скотского падежа, моровой язвы и тому подобных приключений; 3. не на его ответственности состоят откупщик и его работники; а потому общественные повинности и всякая ответственность гражданской власти, падающие на сих последних, не отягощают помещика. 4. Он свободен от всех забот касательно возделывания земли и старание его состоит только в том, чтоб в надлежащее время получить условленную плату, в которой он всегда может быть уверен; ибо сельские продукты откупщики[1] служат ему в том надежным обеспечением. Государство при таковом распоряжении получает большую выгоду; ибо вместо одного капиталиста, как это бывает при возделывании земли крепостными людьми, оно имеет двух, т. е. владельца и откупщика. Сей последний более чувствует побуждений к усовершенствованию земледелия (л. 32 об.), нежели крепостной крестьянин; ибо чем более земля приносит плодов, тем более получает он выгоды. Прибыль, получаемая им от земледелия, служит надежным средством к ускорению производительных сил работы.

В Англии и во всех государствах, где видны успехи земледелия и народного богатства, земля возделывается сим последним способом. Но где сельское хозяйство удалено еще от совершенства, там владелец есть сам возделыватель или откупщик своей собственной земли. Если его работники суть вольные люди, то он дает им плату, а если его крепостные, то отделяет им участок земли, которой они обрабатывают для собственного продовольствия. Во Франции известен еще способ обрабатывания земли посредством мызников (métayer), которые возделывали более нежели $^5/_6$ всей земли. Однакож сельское хозяйство вообще было хуже во Франции, нежели в Англии.

По третьему способу к произведению земли содействуют I. Помещики. II. Откупщики.

I. Помещики содействуют к произведению издержками на первоначальную разработку полей, на осушение оных, на огорожение, окопы и каналы, на постройку земледельческих зданий и другие усовершенствования, при которых земля с меньшими издержками может доставлять откупщику более дохода, которой посему в состоянии давать большую плату помещику. Сие приращение дохода должно почитать процентом или прибылью, принадлежащею владельцу, за издержки, употребленные им на улучшение земель своих. Оные издержки по системе физиократов называют поземельным. Depenses foncières.

II. Класс откупщиков содействует к ежегодному произведению во-первых (л. 33) первоначальными издержками, dépenses primitives, во-вторых, годичными dépenses annuelles. Первоначаль-

[1] Так в подлиннике.

ные издержки состоят в заготовлении земледельческих орудий, в запасе рабочего скота в продолжение, по крайней мере, большей части года, оседлости его на земле помещика, или до получения первых плодов по заключении контракта с помещиком. Годичные издержки состоят в семенах, в починке орудий земледельческих, в ежегодном содержании работников, также в содержании его семейства, в прокормлении скота и в пополнении всего того, что было издержано, попорчено и утрачено в течение года.

Прим. Земледельческие работники, или крестьяне как вольные, так и крепостные суть только поденщики, которые так, как и фабриканты, могут сколько-нибудь сберечь от заработанной ими платы и чрез то умножить народное богатство. В производящем классе полагаются они потому, что при их содействии можно получить чистое естественное произведение.

Произведение земли разделяется на произведение гуртовое, produit brut и на произведение чистое, produit net. Всякое произведение получается посредством предварительных издержек. Посему всякое произведение сначала бывает гуртовым, т. е. массою произведений более или менее значительною, из которой надлежит вычесть издержки, употребленные на добывание оной. Когда сие учинено будет, то остальная часть произведения есть чистая прибыль, составляющая истинное приращение богатства народного. Без предварительных издержек откупщика или возделывателя земля не приносила бы никакого плода. Потому часть народного богатства должна быть обращаема на сии издержки. След., общество не может располагать произведением земли, прежде нежели возделыватель вычтет из оных свои издержки, ибо в противном случае возделыватель оставит обработание земли, и произведение пресечется. (л. 33 об.) Итак, прежде нежели правительство или владелец, получат право на произведение земли, надлежит, чтоб чистое произведение отделено было от гуртового. Только первое может быть разделено между владельцем и правительством. След., сама природа положила пределы в разделе произведения земли между правительством и возделывателем, которые, если правительство преступит, то уменьшит капитал, употребляемой на земледелие, а вместе с оным уменьшится и самое произведение земли, от которого зависит количество его доходов. Сие правило остается непременно, сам ли владетель возделывает свою землю, или отдает оную откупщику. В первом случае, равно как и во втором те же издержки потребны для обработывания земли. След., правительство может иметь участие только в чистой прибыли, когда владелец земли есть вместе возделыватель оной или откупщик.

Но прежде нежели определим раздел чистой прибыли между владельцем и правительством, означим правила раздела гуртового произведения между владельцом и откупщиком. На сей конец мы должны их рассматривать отдельными лицами, ибо капитал, полагаемой на возделание земли, отличен от того, которой употребляется на покупку земли и на содержание оной в состоянии, способном к обработанию.

Владелец и откупщик при разделе гуртового произведения находятся, повидимому, в противоположности; ибо чем большую часть оного получит один, тем менее останется для другого. Но природа сама постановила правила сего раздела. Возделыватель земли, дабы мог продолжать свои занятия, должен получить от своего промысла, по крайней мере, такую же плату за свои труды и такую же прибыль с своего капитала, каковая получается в других (л. 34) промыслах. Если его состояние будет хуже других промышленников, ...он оставит земледелие и употребит свой труд и капитал на другой промысел.

Итак, часть, каковую должен получить из гуртового произведения возделыватель, определяется стечением между им и владетелем. Если состояние возделывателя будет безопасно, если не будет подвержен произвольным угнетениям, если он будет зависим только от условий, им заключенных, если его упражнения не будут почитаемы низкими во мнении людей, то оно будет находиться в равном отношении ко всем прочим прибыльным промыслам и наравне с оными будет привлекать к себе движимое богатство народа и трудолюбивых промышленников. Тогда владельцы, пользуясь соперничеством откупщиков, при выборе оных будут соображаться только с собственными выгодами, конечно, отдадут преимущество тем из них, которые больше могут принести им чистой прибыли.

Часть произведения, получаемая владельцом, есть ничто иное, как чистая прибыль или остаток оного по совершенной выручке всех издержек, употребленных предварительно для получения гуртового произведения. Так как труд земледельцов, сверх уплаты всех необходимых издержек, приносит еще чистую прибыль, то класс их называется почтенным именем производительного. По той же причине и ежегодные издержки земледельца называются производительными; ибо, сверх возвращения собственной цены своей, приносят еще чистую прибыль, т. е. доход владельцу.

О средствах, споспешествующих к умножению народного богатства.

Если количество грубых произведений ежегодно добываемых составляет единственный доход жителей государства, и если приращение народного имущества зависит от приращения грубых продуктов: то главная цель государственного хозяйства должна состоять в том, чтобы умножить произведение оных. Система физиократов предлагает к тому следующие средства.

I. Удаление всех затруднений как во внутренней промышленности, так и во внешней торговле.

II. Соединение всех налогов, пошлин и акцизов в одну поземельную подать владельцев, определенную соответственно чистой прибыли ими получаемой с поместьев.

1. Ограничение и отягощение промыслов мануфактур и торговли ни коим образом не может быть полезно ни откупщикам, ни владельцам. Ибо чем более свободы имеет класс непроизводящий и чем более находится соперничества во всех его занятиях: тем дешевле производящий класс может получить, нужные для него искусственные изделия как домашние так иностранные; след. тем менее будет платить за оные своими грубыми произведениями. Столь же бесполезно для непроизводительного класса угнетение производящего. Ибо чистая прибыль земли остающаяся за вычетом содержания откупщика и самого владельца служит к продовольствию и занятию непроизводящего класса. След. чем более чистая прибыль тем изобильнее содержание непроизводящего класса и тем дешевле получает оной материалы к своему занятию. И так введение совершенного равенства и совершенной свободы во всех занятиях есть самое простое средство довести все классы государства до высочайшей степени благоденствия.

2. В рассуждении внешней торговли надлежало бы различать страны изобилующие землею от торговых государств, каковы Голландия, Гамбург и пр. коих главный промысел составляют торговля и ману-

фактуры. Но и сии государства содержатся на щет владельцев и откупщиков от которых они получают также и материалы для своих занятий; с тем только различием, что владельцы и откупщики доставляющие им сии вещи находятся от них в отдалении в других государствах. Несмотря на сие оные торговые государства весьма полезны для других народов; ибо заменяют недостаток в оных домашних мануфактуристов и купцов доставляют им те выгодности, которые бы им следовало получить от домашней промышленности.

Для земледельческих народов ни в каком отношении не может быть полезно ограничивать трудолюбие таких государств или посредством запрещения с оными торговли, или посредством тягостных пошлин на их товары. Таковые запрещения и налоги служат только к возвышению цены иностранных товаров и к понижению цены домашних произведений; ибо иностранные товары покупаются на домашние произведения; чем дороже первые тем дешевле последние. Домашние производители не получая им следующей цены за их произведения, оставляют производство оных и избыток который прежде служил средством выменивать иностранные продукты, от таковых запрещений вовсе прекратится. Напротив того самое деятельное средство возвысить цену избыточествующих вещей отправляемых за границу есть совершенно неограниченная свобода торговли со всеми иностранными народами. При посредстве таковой свободы государство в течение времени приобретает потребное количество домашних ремесленников, мануфактуристов и торговцев и вскоре сравняется со всеми другими народами. Ибо во первых постоянное умножение избытка произведений земли возродит множество капиталов, которые по причине множества будут приносить малые проценты и владельцы, следуя внутреннему побуждению, без всяких предписаний со стороны правительства, сами обратят оные на заведение искусственных производств. Но сии новые ремесленники и фабриканты, имея внутри государства и материалы для своих изделий и средства к пропитанию, даже при малом искусстве и опытности, могут превзойти иностранных мануфактуристов дешевизною своих товаров; ибо те получают вещи нужные для продовольствия и занятия из отдаленных стран. Но усовершаясь мало по малу в отделке товаров они могут со временем вытеснить иностранных торговцев из домашних рынков и наконец вступить с оными в конкурс и на иностранных торжищах. Сие постоянное умножение как грубых так и обработанных товаров столько размножит и увеличит народные капиталы, что они не будут приносить надлежащей прибыли ни в земледелии, ни в мануфактурах. Тогда необходимо одна часть капиталов обратится ко внешней торговле, посредством которой вывозимы будут остающиеся от домашнего потребления как обработанные так и грубые продукты при таковом торге домашние купцы имеют преимущество пред иностранными; ибо они имеют в отечественной стране и груз для своих кораблей и все нужные для них потребности, между тем как купцы торговых государств то и другое должны получать из отдельных стран. И так при меньшем искусстве в мореплавании первые могут столь же дешево поставлять товары на иностранные рынки, а при равном искусстве еще дешевле. След. они легко могут с иностранцами вступить в конкурс и со временем одержать над ними поверхность.

И так сходственно с сею доброю и благодетельною системою самое надежное средство распространить в земледельческой стране фабрики и мануфактуры и торговлю состоит в совершенной свободе всех промыслов. Произведения оной страны получают от того высокую цену, от чего накопляется достаточный капитал для заведения мануфактур

и для отправления внешней торговли. Если напротив земледельческая страна угнетает внешнюю торговлю посредством пошлин или совершенных запрещений, то она вредит чрез то собственным выгодам двояким образом. Во первых чрез возвышение цены всех иностранных товаров и мануфактурных произведений, необходимо уменьшает вещественную цену домашних излишних произведений, на которые или на цену которых иностранные покупаются. Во-вторых, доставляя монополию на домашних рынках собственным ремесленникам, фабрикантам и купцам, тем самым возвышает прибыль от их занятий сравнительно с прибылью, получаемою от земледелия, оттого часть капиталов отторгает от земледелия и обращает на содержание искусственных занятий или по крайней мере не допускает к земледелию те капиталы, которые бы без сей монополии необходимо были обращены на оное. И так она притесняет земледелие, во-первых понижением вещественной цены произведений оного и след. понижает обыкновенную от оного прибыль, во-вторых возвышает несоразмерно прибыль во всех других занятиях, чрез сие делает земледелие менее, а торговлю и мануфактуры более прибыточными. Оттого каждый для собственной корысти старается освободить капитал свой от земледелия и обратить на благоприятствуемые промыслы.

Предположим даже, что земледельческое государство посредством угнетения сельского хозяйства ранее может произвести промыслы, фабрики и торговлю, нежели как это могло произойти посредством совершенной свободы, но как таковое водворение вопреки естественному порядку произошло преждевременно, то оно не могло случиться иначе как с великими пожертвованиями. Государство при сих распоряжениях одну отрасль промышленности насильственно возвышает, а другую таким же образом понижает. Существенной же его убыток состоит в том, что оно возвышает такую отрасль промышленности, которая возвращает только капитал с обыкновенными процентами, а на место того ослабляет земледелие, которое не только возвращает капитал и обыкновенные проценты, но еще дает чистую прибыль.

II. Государственные доходы или налоги, l'impôt, поступающие в казну и в виде жалованья даваемые государственным (человекам) чиновникам и служащим суть не что иное, как билет на получение известной части жизненных потребностей. Получаемые по силе сего билета иностранные товары должно почитать также домашними, ибо они обменены на внутренние произведения. И так собственно говоря налоги составляют часть естественных произведений, определенную для государя и служивых наемников; ибо обработанные искусственные произведения представляют истребленные во время отделки оных грубые продукты. След. все налоги падают наконец на класс производящий, которой уплачивает оные из чистой прибыли. Если бы сходственно с сим все налоги прямо взимаемы были с чистой прибыли, то владельцы лишались бы части наслаждений равной тому сколько государь с своими жалованными людьми получает, однакож не более. Напротив того когда налоги взимаются с непроизводящих классов, то тем причиняется вред владельцам земли, народу и правительству.

1. Положим что налоги сбираются с откупщиков тогда они количество оных вычтут из платы даваемой владельцу или нет. В первом случае налоги падут на владельцев; во втором же случае причинит ущерб капиталам заготовительному и годичному; след. гуртовое произведение, которое бывает втрое более годичного капитала, будет уменьшено, и вместе с оным уменьшится и государственный доход.

2. Если налоги будут собираемы с непроизводящего класса, то принадлежащие к оному ремесленники, мануфактуристы и купцы по

причине налога или возвысят цену своих товаров или нет. В первом случае по причине возвышения товаров, налог будут нести владельцы земель частию потому, что принуждены будут платить дороже за все то, что получают от производящего класса, частию потому что откупщики, по причине дороговизны тех же товаров будут вычитать у владельцев часть цены платимой ими свыше прежней таксы на товары, на пр. они будут уменьшать доход владельца. Во втором случае непроизводящий класс по причине налога, уменьшившего его доходы, будут употреблять жизненных припасов и материалов менее, нежели прежде, а запрос на его товары со стороны владельцев будет более, по той причине, что сии последние остаются, при таковых мерах во владении всех своих доходов. Вследствие сего производство жизненных припасов и материалов уменьшится; владельцы при больших издержках меньше будут получать выгодностей жизни и самые откупщики, будучи не в силах ограничить число закупок, не вредя хозяйству, понесут при земледелии больше издержек и поздно или рано обратят оные на владельцев: чем позже они приведут сию перемену, тем больше уменьшится хозяйственный капитал их; и чрез то владельцы и самое государство впоследствии времени тем более потерпят от уменьшения естественных произведений.

И так во всяком случае только владельцы земли несут налоги. Лучший способ собирать налоги есть тот, когда оные определяются во известной части чистого произведения; ибо в сем случае сами владельцы оному не подвергаются; ибо при самой покупке земель каждой владелец уже принимает оные в уважение и платит за землю меньшую цену нежели какую бы он заплатил тогда, когда земля никакому налогу не подлежала. Положим, что десятина земли продается по 100 р. Владелец, имеющий 100 000, может купить 1 000 десятин. За вычетом налогов на оную будет он получать 10 000 доходу. Но когда бы не было налога, то он получал бы с 1 000 десятин 15 000 доходу. Но за такое количество земли он заплатил бы не 100 000, а 150 000. След. в собственном смысле говоря не владелец платит налоги, но его земля, на доходы которой правительство имеет право совместного владетеля, приобретенное им чрез доставление безопасности владельцам, которые при первоначальном введении поземельной собственности должны были на сие согласить, дабы обезопасить себя во владении землею и пользовании ее плодами.

Все прочие налоги суть непрямые, потому что падают не на самых владельцев, но на людей, принадлежащих к другим классам, однакож окончательно переходят на владетелей земли. Все они не могут быть одобрены государственным хозяйством.

Непрямые налоги бывают, когда определяются или на самые лица, или на вещи меновые. В первом и во втором случае они причиняют великий и неизбежный вред правительству и народу.

Налог на лица (подушное) необходимо бывает налогом произвольным, след. разрушающим всякую собственность; ибо что должно принять мерою сего налога? наше лицо само по себе только потребляет, само по себе ничего не производит и ничего не платит. И так нет никакого отношения и никакой соразмерности между нашим лицом и налогом. След. мерою при определении налога будет один только произвол определяющего. Если на лице положено 5.. подати, то можно спросить, почему не 4 и не 10, налог на вещи меновые тот же имеет недостаток, с какой бы точки зрения мы ни рассматривали вещи не можно отыскать истинного и верного правила для определения сего налога. Цена вещи есть нечто случайное и непостоянное. Достаток продавца равно как и то чего вещь ему самому стоила суть подроб-

ности нам совершенно неизвестные. Из покупки вещи не можно заключить ни о богатстве, ни о бедности покупщика. Самое потребление вещей не может быть определено предварительно. След. налог сей как в целой совокупности оного так и в соразмерности оного к предметам, тому подлежащим есть совершенно неопределенное учреждение, а потому и быть не может иначе как налог произвольной. Но всякой налог произвольной противен праву собственности, ибо вещь тогда только почитается нашею, когда мы пользоваться оною можем. Но если бы нам отказали в пользовании вещами, то мы взаимно отказались бы и от права собственности. Коль скоро налог бывает произвольный, то всякой находя оной несправедливым старается отвратить от себя и обратить или вовсе на других или отчасти. Отсюда происходит ненависть, ревность, мстительность, личная вражда и другие беспорядки противные добрым нравам. Всякое произвольное распоряжение есть насилие противное естественной свободе людей. Страх подвергнуться насильственному налогу рождает в податных жителях твердое намерение противиться оному. Для них нет большей выгоды как скрыть от общества свой достаток. Богатство их обращается не на полезные употребления, но на непосредственное потребление. Страх лишиться части заставляет истреблять все. Кроме отягощения и неудобства непрямых налогов они имеют еще другие невыгоды. Если налог обращен на людей непроизводящих, то он поступает в государственную казну весьма (люд) медленно так как источник всякого дохода есть земледелие, то налог взимаемый с непроизводительного плана, переходит на производительной посредством многих и продолжительных сделок между производителями и потребителями. Откуда же правительство может удовлетворять ежедневным потребностям общества? Если оно будет заимствовать для удовлетворения сным средства в других источниках; то сим способом отяготит еще более произведение напр.: я владелец земли, которая приносит мне 4 000 р. доходу и 2 000 подати правительству. В то же время когда я получу доход, правительство получает налоги свои. И так я и правительство, получая доход в определенное время, мы можем сходственно с тем располагать нашими расходами. Но предположим что правительство получает свои доходы не прямо с моей земли, но от других людей, которым я заплачу налог покупкою их товаров, можно ли тогда будет предполагать, что правительство получат сполна 2 000, которые в прямом налоге оно получало. Даже ту часть которую я уступлю ему в виде покупки произведений промышленности, получит оно поздно и может быть не в то время, когда доходы ему наиболее были нужны. Непрямые налоги вредны во первых (потому) правительству, во вторых владельцам земли, в третьих откупщикам или возделывателям.

I. Когда налог определен на класс непроизводящий, то оный не иначе может продолжать свои занятия, как возвысив цену своих произведений. Тогда налог будет падать на тех, кои покупают товары непроизводящего класса. Так как правительство само потребляет часть тех товаров, то оно само платит налог налагаемый на класс непроизводящий в соразмерности возвышения цены искусственных изделий. Владельцы также участвуют в платеже налога, ибо они также не могут обойтися без употребления искусственных изделий. Наконец тяжесть непрямого налога падает равномерно на возделывателей земли и на их работников, которые также заимствуют искусственные произведения от непроизводящего плана. И так налог на класс непроизводящий есть налог непрямой падающий на правительство, на владельцев земли, на земледельцев и откупщиков.

II. Но предположим, что класс непроизводящий не может возвысить цены своих товаров для уплаты налога. Каждый класс промышленников соразмеряет свое потребление с получаемой платы. Если плата уменьшится, то уменьшится и его потребление (с получаемою платою). Но когда уменьшится потребление непроизводящего класса, то количество продуктов производящего класса будет несоразмерно потреблению и далеко превзойдет оное, след. производители не получат надлежащего вознаграждения за свое производство. Отсюда произойдет расстройство в производящем классе: ибо оной лишится способности полагать на свои занятия капитал равной прежнему. След. налог непрямой в сем последнем случае будет вреден непроизводящему классу потом производящему, а наконец по недостатку в произведениях того и другого роду соделается вредным для всех прочих классов и даже и для самого правительства.

И так система физиократов одобряет одни только прямые налоги, определяемые на земледелие, как единственный источник всякого дохода и народного богатства.

Ораторская изящная проза или красноречие[1].

Силою слова проницать в душу других, повелевать их умами, растрогать их чувствительность разительным изображением нравственного, восхитить их воображение живейшим выражением вещественного изящества, есть искусство красноречия, составляющего самую драгоценную способность человека.

(л. 40 об.) Сею-то руководясь способностию, служитель божия престола проповедует с кафедры важные истины нравственности; защитник невинности возвышает в судилищах глас свой; человек государственный рассуждает в советах о участии народов; гражданин защищает пред лицем законов вольность и свободу; достойный вития, прославляющий дарование и добродетель, приписует им похвалы, служащие для одних одобрением, для других укоризною,— а для всех поучением, наконец, любомудрствующий словесник приготовляет в безмолвном убежище те мужественные опровержения, которыми на суд всеобщего мнения предаются злоупотребления, заблуждения и преступления. Такова важность и плоды истинного красноречия.

Ораторская проза или красноречие, имеющее целию поучать, нравиться и трогать, касается в некоторых точках области изящных искусств. Декламация и мимика посещают кафедру светского и духовного оратора, где однакож оне (л. 41) слагают с себя титло изящных искусств, которым гордятся на позорище. Оратору должны быть открыты все сокровища того языка, на коем он витийствует. Сего не довольно. Он должен быть философ, наблюдатель, знаток обычаев и нравов своего народа. Посему то вдревле оратор и философ имели взаимную потребность в мудрости; искусства их хорошо говорить и

[1] Этим разделом мы начинаем публикацию курсов «российского языка» и «введения в эстетику». Оба курса записаны А. М. Горчаковым в одной тетради, содержащей 135 заполненных листов; (лл. 1—65 — бумага — с вод. знаком «1811», лл. 66—135 — с вод. знаком «1812»). До раздела «Ораторская изящная проза или красноречие» следуют, повидимому, принадлежащие Кошанскому «Общая характеристика российского языка» (лл. 1—9), «Грамматика» (лл. 91-35 об.), «Литература духовного и светского красноречия в России» (лл. 35 об.—40). Принадлежность публикуемых здесь частей этой тетради П. Е. Георгиевскому установлена нами на основании мемуарных свидетельств лицеистов, данных лицейского архива и анализа, изданного Георгиевским в 1836 г. «Руководства к изучению российской словесности», в котором переработаны некоторые главы и отдельные места лицейских записок (*В. М.*)

мыслить были в тесном соединении и совершенном равновесии. Философ довольствовался только тем, чтоб доказать, оратор старался убедить в том. У первого слушатели были внимательны, второй должен был их сделать таковыми. Строгое суждение о нравах, тихий ход умствования заставляли удивляться философу; спокойствие духа, природное или приобретенное, красота слов, блеск выражения, принуждали любить оратора.

Самый наружный вид оратора должен быть важный, благородный, возбуждающий почтение и доверенность, (л. 41 об.) и с первого взгляда располагающий слушателей в свою пользу. Он должен быть хороший декламатор и пристойный мимик. Самый голос его должен быть звучный, музыкальный, гибкий. Как трудно соединить в себе все сии достоинства! И потому редки ораторы! За то истинный оратор есть более нежели человек; он подобен какому-то высшему существу, по произволу располагающему и управляющему сердцами и волею слушателей.

Квинтилиан, Аристотель и другие древние ораторы разделяли ораторскую прозу на три рода: на прозу или красноречие похвальное, советовательное[1] и судебное. Цель первого была хвалить или хулить, цель второго — присоветывать или рассоветывать; цель судебного — обвинять или защищать.

А) Предметы похвального красноречия.

Главными предметами красноречия похвального были панегирики (л. 42) благодарственные и надгробные слова, бывшие в употреблении у древних так же, как и у нас, с тою разностию, каковая неминуемо должна произойти от нравов и веры. Известно, что наши надгробные слова, произносимые в церквах, суть сочинения духовные и входят в состав обряда погребения. Здесь вития должен быть непременно духовною особою; между тем как у древних не жрецы, а родственники умершего говорили ему похвальное слово пред собранием народа,— и слова сии не принадлежали к сочинениям духовным, но светским. При сем случае выставляемы были изображения предков, что и подавало римским вельможам удобный случай вперять в народ благородство, знаменитость и преимущество своего рода.

Между сочинениями сего рода красноречия у древних занимает первое место панегирик Евагору, царю Саламинскому; за сим следует похвальное слово (л. 42 об.) Трояну младшего Плиния. Превосходное произведение II в. красноречия римского, того века, когда витийство, лишась прежнего своего величия, заменяло наружными красотами и приятностями ума простые и истинные красоты слова, означавшие эпоху совершенства. Сочинение сие, не взирая на все свои недостатки, приносит честь Плинию и в потомстве.

К сему же роду похвальных слов относится цицеронова речь pro Marcello, хотя она писана совсем другим слогом, нежели Плиниев панегирик. В сей речи приносится цесарю благодарность за возвращение им Марцелла, друга цицеронова и одного из величайших неприятелей цесаря. Марцелл, держа сторону Помпея, после нещастной Фарсальской битвы, удалился в Митилены и там, ведя уединенную жизнь, упражнялся во словесных науках. Все согласны, что нет другого сочинения сего рода красноречия, могущаго сравниться с сею речию, (л. 43) исполненною благородства, чувствительности и любви к отечеству. Речь сия, по уверению всех, говорена была Цицероном без приготовления. Первая речь цицеронова против Катилины при-

[1] Ниже этот род прозы называется советодательным.

надлежит к другому роду похвального красноречия, изображающего дела, заслуживающие хулу и осуждение. Поразительная речь сия, сокрушившая дерзость ужасного злодея Катилины, осмелившегося придти в римский сенат в то самое время, когда Цицерон рассказывал сенаторам о всех обстоятельствах открытого им заговора,— речь сия внушена была негодованием, ненавистию и презрением.

Достойным памятником сего же рода красноречия почитается цицеронова же речь против Антония. Речь сия, стоившая сочинителю ее жизни, есть не иное что, как ужасными красками начертанная картина всех пороков, всех мерзостей, всех злодеяний Марка Антония. Цицерон не говорил ее, но она находилась у всех римлян и была читана повсюду.

(л. 43 об.) Прим. В новейшие времена сей род похвального красноречия содержит в себе, собственно, так называемые похвальные слова великим мужам, потом надгробные слова и проповеди и, наконец, речи, произносимые в академиях.

B) Предметы советодательного красноречия.

В советодательном роде красноречия, употреблявшемся вдревле в делах государственных пред народом или в сенате, было рассуждаемо о делах общественных, о войне, о мире, о переговорах, о пользах государства и о всяких предметах, до законодательства и правления относящихся. Сей род красноречия, не говоря уже об ораторах, был в великом употреблении у греческих и римских историков и составлял главное украшение их творений. Фукидид, Ксенофонт, Тит Ливий, Саллюстий и Тацит влагают в уста прекрасные речи государственным особам, почитаемым мужами красноречивыми, нередко произносившими речи пред лицем сената и народа. Разность нравов и правлений не позволяет в новейшие (л. 44) времена пользоваться сим родом красноречия, поскольку у нас рассуждения, имеющие влияние на участь народов, производятся иначе, нежели у древних,— и человек государственный не всегда имеет обязанность быть оратором.

Важнейшие образцы сего рода красноречия находим у Демосфена и Цицерона. Так называемые Филиппики Демосфеновы превышают, кажется, всякую похвалу. Кроме некоторых других речей цицероновых, можно в образец сего рода привесть речь его за закон Манлиев и те речи, в коих он опровергает закон о разделе земель.

C) Предметы судебного красноречия.

Сей род красноречия заключает в себе дела, подлежащие рассмотрению судей. Самое важнейшее упражнение греческих, но преимущественно римских ораторов составляли судебные речи, употребляемые ими совсем отлично, нежели у нас. Наши суды не походят на суды древних греков и римлян: у нас частные люди не бывают обвинителями: нет таких спорных дел (л. 44 об.), которые вносились бы на решение народа. К сущности судебного красноречия вдревле относилось: в чем состоит какое-либо разбираемое дело? Основательно ли оно? Преступление ли оно или нет? Под какой подходит закон? Лета, звание, нравы, свойство, выгоды, состояние обвиняемого, доказывают ли вероятность или невероятность приписуемой ему вины?

Расположение в сих речах может быть такое же, какое и в народных словах, но перемена позорища делает большую перемену и в предмете. Вы являетесь пред судей, коих не столь легко можно преклонить одним красноречием. Вы знаете, с какими силами выходит

ваш соперник. Подобно двум борцам каждый из вас должен быть готов на все уловки противника, каждый из вас является с доводами более или менее убедительными. Но какая разница между ними и вами! Посреди их лежит венок дубовый, который тому или другому достанется. Посреди вас стоит подобный вам человек и, горе (л. 45) вам, если невинность повлекут в темницу! Кровь на вас и на сынах ваших!

Защитительная речь Демосфенова по случаю распри его с Есхином о венце почитается превосходнейшим произведением судебного красноречия. Но Цицерон на сем поприще стяжал себе бессмертную и незабвенную славу. У англичан Борк, Шеридан, Фокс славятся в сем роде.

Прим. Хотя все сии три рода красноречия должны иметь различные свойства, судя по различию их предметов, однакож, как справедливо замечает Квинтилиан, есть качества всем им общие; есть даже и такие, по которым они весьма часто сближаются и входят отчасти один в другой ибо нередко случается, что оратор, рассуждающий о каком-либо государственном деле, должен бывает употреблять к преклонению слушателей те способы, к каковым прибегает оратор, защищающий кого-либо в суде. Оба они должны употреблять доводы и возбуждать страсти, хотя сие последнее средство приличествует особенно судебному роду.

Успехи древнего красноречия.

(л. 45 об.) Если все вещи идут постепенно к своему совершенству, то красноречие первых времен должно быть такое, которое близко к обыкновенной речи (поелику природа предшествует всегда искусству) и не прежде вышло за сии пределы, как уже тогда, когда возвышенное искусство научило человека гораздо пленительнейшему, но несколько удаленному от естественного слова наречию. Глас величайшего оратора,— говорит Квинтилиан,— вначале был не что иное, как невнятное детское лепетание; словом, речь первых витий было не что иное, как изображение свободным словом изящного в том виде, в каком оно находится в природе. Но когда человеческий ум узнал способы творить сам изящное и притом такое, которое еще более естественного поражает наше воображение, то от сего открытия в человеческой речи сделалась она живописнейшею и приятнейшею.

Не нужно возвращаться к первым летам света, или изыскивать памятники восточных или египетских (л. 46) древностей, дабы найти начало красноречия. Если в сии времена и находился некоторый род красноречия, то оный более сходствовал со стихотворством, нежели с собственно так называемым красноречием. Поелику сходбища между людьми были редки, одно токмо насилие служило главным средством к разрешению раздоров, то искусство красноречия и убеждения легко могло быть известно[1]. Первые возникнувшие государства — Ассирийское и Египетское — были деспотические; единая или несколько особ управляли государством, а прочие были послушные рабы и слепо повиновались; они были принуждаемы, а не уверяемы и след. красноречие и убеждение здесь не могли иметь места.

В истории ума человеческого достойно примечания то, что две возникнувшие республики оставили всему свету редкие образцы поэзии и красноречия. Из недр вольности двукратно распространялся (л. 46

[1] Так в подлиннике.

об.) по лицу земному свет изящного вкуса, еще и поныне озаряющий благоустроенные народы. Искусства воображения, вкуса, гения остались благородным наследием от свободных древних народов и собраны на развалинах Афин и Рима.

Греция, разделенная сначала на множество малых республик, управляемых царями[1], и потом превращенных в демократии, была единственная страна, где прежде познали сущность истинного красноречия; трогать сердца всей образованной нации, убеждать и привлекать на свою сторону умели одни токмо Греки. Между сими-то республиками, подобно гордому Колоссу, высились Афины, колыбель всех изящных искусств, а наипаче красноречия, возведенного здесь до возможнейшего совершенства. Впрочем нельзя думать, чтобы и в Афинах вдруг возникло красноречие во всем своем совершенстве; оно, так как и прочие произведения, имело слабое начало. Дошедшие до нас (л. 47) сочинения Антифона, Андокида, Ликурга ритора, Лесбонакса весьма посредственны. Цицерон говорит, что до Перикла и современника его Фукидида не видно было ничего похожего на истинное красноречие. Думают однакож, что за долго пред ними славились в свое время Солон, Пизистрат и Клисфен. После сих, Фемистокл преимуществовал пред другими даром слова и политикою. Потом Перикл, славившийся многими другими качествами, приобрел великую славу красноречием и почитается знаменитым оратором. Он был более нежели оратор. Он был министр и полководец—и назван Юпитером красноречия. Историки всю политическую его силу более приписывают увлекательному красноречию, нежели государственным его дарованиям. По уверению многих он первый написал речь для собрания народного.

Уверяют также, что в то же самое время Клеон, впрочем человек самый беспокойный, украшен был даром красноречия. В сие же время явились как ораторы Алкивиад, Критий и Ферамен. (л. 47 об.) Витийство не было их ремеслом, они не образовались в училищах, но на позорище света, в собраниях народных. Так как сочинения их не дошли до наших времен, то о слоге их и существовавшем тогда вкусе судить можно только по творениям Фукидида, процветавшего около того времени. Цицерон об них говорит: Grandes erant verbis, crebre sententiis, compressione verum breves et ob eam causam interdum subobscuri.

По смерти Перикла красноречие сделалось предметом всеобщего соревнования, которому Греция обязана множеством людей, дотоле неизвестных, но потом прославившихся под именем риторов — софистов, которые вскоре после Персидской войны как будто бы действием волшебного жезла вдруг произошли во всех странах Греции. Софисты, видя, какое действие могла производить речь искусно сложенная, тотчас начали преподавать наставления в искусстве красноречия. Сколь пагубны были сии люди для нравов Греции, столь велики и неотрицаемы их заслуги, оказанные наукам! Красноречие (л. 48) их было не столь превосходно, как удивительна была их готовность к речи и обилие. Изумляться надобно, колико отважны и предприимчивы были Трасимах, Протагор, Продик, Гиппий, а наипаче Георгий Леонтийский, бывший профессором красноречия, коего слава столь была велика, что его именем украшались монеты. Впрочем слог его слишком искусственный и исполнен противоположностей. Вообще все предписания, правила и примеры сих софистов были заразительны. Вместо последования истине и природе, они научали

[1] Так в подлиннике.

превращать все предметы, переменять малое в великое, ложному давать вид истины, защищать обе стороны, опровергать и ослеплять очарованиями, коих впечатления не могут быть продолжительны.

Против сих-то софистов вооружился Сократ всею хитростью и тонкостию диалектики. Потом надлежало явиться философу Аристотелю для исправного преподавания риторики.

(л. 48 об.) Лизий и Исократ в рассуждении влияния на Афинскую республику и на общественные дела Греции были несравненно ниже Перикла; но они весьма много способствовали благоприятному преобразованию в языке и красноречии. В оставшихся творениях Исократа виден слог украшенный, изящный, приятный, пленительный, а особливо гармония, о которой, кажется, заботился он слишком много. Открытое им училище красноречия в течение 60 лет почиталось славнейшим во всей Греции.— Быв профессором красноречия, приобрел он несметное богатство. Чудо в нынешнем веке!! Впрочем слог Исократов при всей плавности и нежности чрезмерно слаб.— Pompae magis,— как говорит Цицерон,— et ad voluptatem aurium accommodatus potius, quam ad certamen juditiorum.

Наконец является величайший из учеников Исократовых — Демосфен, затмивший всех своих учителей, предшественников и современников и по всеобщему одобрению признанный первым оратором, (л. 49) так, как Гомер первым стихотворцем. Тщетно природа, завидуя славе его, отказала ему в наружных дарованиях. Быстрота слов его, приводившая вне себя слушателей, не допускала их заметить его недостатков; они скрывались под блеском картин им представляемых. Все чувствовали силу красноречия, не примечая его действий, все следовали за ним, как за орлом, парящим в высоту, не зная, каким образом он достиг ее. Есхин был слаб пред ним. Демад и самый Фокион не могли противустать ему. Сей гром сражал все. Судьбы Греции колебались между Филиппом и Демосфеном по самую смерть его. Речи демосфеновы не отличаются украшением и блеском, но они преисполнены отважных мыслей. Мы забываем об ораторе и помышляем о предмете. Слог демосфенов силен и краток, хотя иногда сух и отрывист, оставляя маловажные красоты, он старался о высокости, заключающейся в мыслях. Основательность (л. 49 об.) суждений, неоспоримость доказательств, особенная сила и простота — вот достоинства творений Демосфеновых.

По смерти Демосфена Греция потеряла свою свободу, а вместе и красноречие. Риторы и софисты довершили конец истинного витийства.— С Димитрием Фалерейским умерло, говорит Мейнерс, истинное аттическое красноречие, и никогда не воскресало между греками.— Димитрий Фалер[ейский] предпочел цветущий слог стремительности и силе своих предшественников: Delectabat athenienses,— как говорит Цицерон,— magis quam inflammabat.

Успехи римского красноречия.

С прочими науками и искусствами римляне, чрез долгое время народ воинственный и грубый, переняли у греков и красноречие. Вообще римляне содержатся к грекам как подражатели к изобретателям. Римский язык достиг уже высокой степени обработанности, возможного совершенства и силы, когда образовались первые ораторы, (л. 50) коим и современники, и потомство дали сие почтенное имя. Римское красноречие, как пишет Цицерон в книге «De oratore», не сделало приметных успехов до времени Катона Цензора и даже до Гракхов, впрочем отличившихся только высоким умом, который не

был еще руководим искусством, ниже очищен вкусом. Пылкость и чувствительность составляли свойства Гракхов, важность и сила отличали Катона; но всем троим не доставало еще той изящности, того согласия, того искусства размещать слова и составлять периоды, которое занимает весьма важное место в риторской науке, не меньше обязанной, как и стихотворство, почитать ухо путем к сердцу. Обоих Гракхов и Катона гораздо более превзошли Красс, Антоний, Курион и Цесарь. Но всех сих, по уверению Квинтилиана, превзошел Цицерон и его современники. Цицерон везде показывает величайшее искусство в слове; он нигде не отступается. Везде себе равен. У него все на своем месте: (л. 50 об.) он особенно умел трогать и возбуждать нежные страсти. Он везде плавен, звучен, цветущ, великолепен в нравственных чувствованиях.

Когда явился Цицерон на поприще ораторском, Гортензий занимал там первое место и был называем первенствующим в судных делах. Цицерон, с самого начала встретившись с сим оратором, имел славу противоборствовать ему и заслужить его почтение и дружбу. Гортензий стал упадать по мере того, как Цицерон возвышался. Для сличения Цицерона с Демосфеном, коему он подражал, можно привести слова Фенелона, славного любимца граций, также весьма хорошая параллель между сими ораторами находится у Лагарпа, Квинтилиана новейших времен. Смотри его курс словесн[ости]. Владычество красноречия римского погибло вместе с Цицероном и с республикою. При Августе тотчас прекратились все великие ораторы, и красноречие (л. 51) скоропостижно изуродовано с языком римским. Причины быстрого и великого упадка языка и красноречия превосходно показал сочинитель разговора — de causis corruptae eloquentiae.

Провидение послало на римлян, может быть, в отмщение за человечество, дотоле ими попираемое, тиранов и бичей в помазанниках. Могло ли красноречие, любимое дитя свободы, процветать при таком положении государства? Тень древнего красноречия блуждала по школам, где читаны были одни декламации. Квинтилиан усильно старался отвратить вторгающуюся порчу языка, коей причастны были сам Тацит и младший Плиний.

При падении Римской республики введение христианства подало повод к другим родам красноречия — к проповедям. И действительно, некоторые священники латинские отличались чистотою слога. Лактанций, Минуций и св. Августин имеют довольно живости и силы; но все они заражены были вкусом того века, привязанностью к надутым и напряженным мыслям (л. 51 об.) и к игре слов. Из греческих проповедников Златоуст наиболее отличался. Его слог чист, красив, обилен, нежен, иногда трогателен, и в нем много азиатского!

В новейшие времена мы не находим еще соревнователей в красноречии Демосфену и Цицерону. Наиболее способствуют красноречию у англичан и французов. Английский парламент представляет открытое поле публичным ораторам; впрочем красноречие было там всегда слабейшее орудие, нежели в греческих и римских народных собраниях и судах.

Питт, Фокс, Шеридан и Борк служат важными образцами английского судебного красноречия. Во Франции же не могло слишком возвыситься судебное красноречие потому, что оно не руководствовало к почестям, как в Афинах и Риме, и притом не имело предметом своим важных общественных дел. Впрочем некоторые из революционистов довольно отличались на сем поприще. Важнейшие образцы красноречия представляет Франция (л. 52) в надгробных словах.

Прим.: Здесь у места будет показать причины, почему новейшие не достигли и не делали таких успехов в красноречии, какие сделаны греками и римлянами.

О происхождении стихотворства.

(л. 54) Во все времена и у всех народов произведения поэзии (л. 54 об.) предшествовали произведениям прозаическим, требующим большого углубления и основательности. Поэзия есть первоначальная отрасль народного образования. Будучи не что иное, как стремительное излияние восторга, она не терпит глубокого размышления и медлительных изысканий. Подобно быстрому потоку вырывается из глубины чувствительного сердца ко впечатлениям удовольствий и катится по цветам природы. По сей-то причине все почти единогласно утверждают, что поэзия родилась прежде прозаического витийства, так что первоначального происхождения ее должно искать не у благоустроенных и просвещенных народов, кои только усовершили оное, но в обществах самых диких. Мнения и догадки сии основываются на следующих доказательствах.

1) Жители Америки и других вновь открываемых островов выражают живейшие свои чувствования музыкою, песнями и пляскою, согласованными между собою.

2) Источником сего есть врожденное всем народам свойство чувствовать впечатление от всего чрезвычайно (л. 55) приятного или чрезмерным огорчением наполняющего душу.

3) Есть в каждом народе люди, обращающие в пользу сие общенародное расположение, посредством живейшего воображения, выражающие оные общие чувствования пред соотечественниками и тем обращающие их на себя внимание и предпочтение.

4) Сии излияния восторгов суть первоначальные стихотворения и потому-то история неустроенного состояния народов содержится в их песнях, служащих похвалою или их богам, или героям, или деяниям их предков и пр.

5) В первые времена Греции жрецы, философы и законодатели управляли другими силою стихотворства, соединяемого иногда с голосом лиры. Все сие продолжалось дотоле, пока греки начали различать мечты, увеселяющие воображение, от познаний, питающих разум, и тогда-то историки, философы, правоведы и риторы, уставив свойственный стихотворству образ мыслей и речей, начали писать каждый о своих делах прозою, дабы писать со всею точностию, так что после (л. 55 об.) сего стихотворство учинилось особенным искусством и стало быть употребляемо к восхищению воображения и сердца других.

ОТДЕЛЕНИЕ ВТОРОЕ.

О существенных и отличительных качествах стихотворства и определении оного.

Различие поэзии от прочих изящных искусств.

Истинное о существе поэзии понятие тогда токмо можем снискать, когда отделим ее от красноречия и изящных искусств, с коим оно великое имеет сходство, а потом покажем качества, свойственные одной токмо поэзии. Различие стихотворства от прочих изящных искусств состоит в том способе, коим каждое из них выражает изящную природу. Что музыкант производит тонами, живописец красками, ваятель своими орудиями, танцовщик телодвижениями, то стихотворец — мерным словом.

Различие поэзии от красноречия. С первого взгляда кажется, нет ничего различнее красноречия и поэзии, (л. 56) ибо одно выражается слогом неизмеренным, другая измеренным. Но сей-то первый взгляд нас и обманывает, и мы часто, быв обеспечены наружным отличием, переходим из прозы в поэзию и наоборот, сами того не примечая. Пусть поэзия и красноречие имеют общий источник — изящную природу; пусть действуют одним орудием — словом; но в сих-то общих качествах посмотрим, нет ли известных оттенок, из коих одни принадлежат собственно стихотворству, а другие красноречию. Не говоря уже о том, что собственная цель красноречия — наставлять и просвещать разум, а цель поэзии,— как свободнейшего существа приятно занимать свободный дух; не упоминая о том, что поэзия прямо стремится к изящному, а витийство посредственно:

1) Самые дарования, приличные витии и стихотворцу различны. Первый, устремляя слово свое к убеждению разума, истощает все свои способности к овладению (л. 56 об.) сердцами других, и становится везде или историком или философом; второй, имея первым предметом своего искусства воображение и сердце других, говорит языком страстей и бывает повсюду мечтатель. Вития имеет в виду действительное (réelle). Поэт — только правдоподобное; от первого ожидаем истины и новых познаний; от второго — приятных вымыслов. Пусть оратор иногда для сильнейшего действования над разумом прибегает к средствам, свойственным только стихотворцу, но он не смеет выступить за пределы истины; он должен изображать действительные предметы, а не созидать новых.

2) Изящная природа не есть одно и то же поле для витии и стихотворца в том отношении, как тот и другой ею пользуются. Вития смотрит на природу, наблюдает и изображает предметы такими, коими действительно их находит, и сколько можно вернее; он вникает во все части, действия и отношения предметов и, ничего не прибавляя к ним и не уменьшая оных, дает нам точное об оных понятие; между тем как поэт, об'емля воображением произведение (л. 57) природы, не довольствуется точным изображением оного, но, желая сделать оное совершеннейшим, или отбирает от него одно токмо изящное, или, оставив совсем оное, творит новые предметы, украшает их очаровательными жилищами, населяет тысячью различных племен и, паря воображением своим по нравственному и физическому миру, по всем преданиям баснословным и историческим, становится обитателем возможного и вымышленного мира.

3) Самый восторг (entousiasme), одушевляющий как поэта, так и оратора при произведении чего-либо, бывает различен. Вития, получая впечатления посредством чувства и разума, приходит в восторг от того, что предметы, описываемые им, действительно возбуждают оный; стихотворец же, созидая силою воображения изящные предметы, восхищается тем, что произошло от его мечтаний. След[овательно] чувствования первого суть действительные (réelles), второго — мечтательные (illusoires).

4) Самый способ выражения мыслей содержит в себе различие стихотворства от красноречия. Речь поэта кажется если не особенным языком, по крайней мере, как бы отличным наречием того языка, коим выражается оратор. Поэт, приписывая всему умственному чувствования, качества, бывает в выборе слов столько разборчив, сколько самовластен, употребляет выражения смелые, новые и резкие, (л. 57 об.) чем самым придает речи живость, не свойственную витии. Употребляемые поэтом украшения, метафоры,

гиперболы и все вообще фигуры, дающие жизнь существам неодушевленным, представляют нечто новое, в обыкновенной речи не встречающееся. Он, не отступая от правил грамматики, делает такие изменения в речи, которые, будучи свойственны только волнующемуся его духу, представляются как бы в некоем беспорядке. Наконец, поэт для большего услаждения воображения или чувств измеряет речь свою, выбирает такие звуки, которые бы, выражая самое действие или состояние описываемого предмета, приятны были слуху. Отсюда произошли гармония, стопосложение и стихи.

О сущности поэзии.

Показав некоторые из существенных качеств стихотворства, рассмотрим мнения, предлагаемые о сущности оного, дабы тем удобнее вывести настоящее определение поэзии.

1) Некоторые полагают сущность поэзии в вымышлении (fiction), но слово fictio не совсем определенно.

2) Другие думали, что поэзия состоит в стопосложении; предрассудок сей столько же древен, как и поэзия. В таком случае поэзия сделалась бы одною детскою игрушкою, пустым словосоставлением, могущим исчезнуть от малейшего перестановления слов. Но где есть точное (определение) подражание изящной природе, превратите там порядок, перемените слова, прервите меру, то хоть тут не будет прежнего согласия — приятности для слуха, но не пропадет самая природа. (л. 58) Впрочем мера и согласие суть цветы поэзии, без коих она будет один токмо эстамп, могущий изобразить округлости или форму, свет и тени, но никогда колорит.

3) Наконец, третие полагают сущность поэзии в восторге или в исступлении (entousiasme), основываясь на мнении Г. Блера, который говорит, что стихотворение есть язык страсти или восхищенного воображения. Но сие качество не принадлежит ли равно и прозе, ибо страсть во всех степенях возвышается — и на театре, и в судебных местах. Кто скажет, чтобы в Перикловых словах, когда он гремел, поражал и ниспровергал Грецию, исступление владычество[вало] с меньшею силою, нежели в Пиндаровых одах? Притом же если в поэзии исступление будет непрерывное, то многие истинные поэмы потеряют свою цену. Трагедия, епопея и оды были бы поэтическими по некоторым токмо местам разительным, а в прочих частях не останется и отличительного признака поэзии.

Определение поэзии.

Теперь остается утвердить сущность поэзии во подражании, ибо оно заключает в себе исступление, стихосложение и вымыслы, как необходимые средства для точного изображения предметов. Следовательно, в ближайшем знаменовании поэзия есть подражание изящной природе, выражаемое измеренным слогом, между тем как проза, или красноречие есть самая природа, выражаемая вольным и гладким течением слова.

ОТДЕЛЕНИЕ ТРЕТИЕ.

О цели и предметах поэзии.

(л. 58 об.) Все глубокомысленные разыскания и открытия были бы одною токмо пищею нашей суетности, если бы не служили к полезному в жизни нашей употреблению. На сем основании должно судить

и о стихотворстве. Есть люди, кои, почитая достойными человека занятиями токмо те, кои питают наш разум, считают за ничто стихотворство, обольщающее, по их мнению, наше воображение одними токмо мечтами и воспламеняющее призраки страстей. Сие мнение совершенно было бы справедливо, если бы стихотворство ограничивалось одним токмо мечтательным занятием нашего воображения или сердца. Соединять приятное с полезным, нравиться и возбуждать страсти,— но страсти не противные мудрости, а живо нами чувствуемые, есть главная цель поэзии. Ужас злодеяния, последуемый страхом, стыдом, раскаянием и тысячию других неприятных чувствований; сострадание к нещастным, героическая — и, следовательно, законная — любовь, патриотизм, торжество добродетели, вот страсти, долженствуемые быть предметом поэзии.

Что может быть благодетельнее, как впечатлевать в душе живые чувствия добродетели и отвращения к пороку? (л. 59) Но, действуя открытым образом, сколь трудно успеть в сем предприятии! Самолюбие, личные выгоды, тайные склонности, предрассудки и множество других господствующих страстей явно восстанут против того! В сем то случае поэт имеет много средств к из'явлению важных услуг в пользу человечества. Все сие он должен представить пред глаза и внушать сердцу, возбуждая внимание и снискивая тем благосклонность. Стройный звук слов, приятные картины воображения, живые впечатления чувствий — суть те прелести, которые насильно, кажется, привлекают к добродетели, заставляя находить удовольствие в исполнении обязанностей и ослабляя жестокость неизбежных ударов судьбы. Нередко поэзия уменьшает горести жизни и услаждает оные, укрощает волнения страстей и возжигает в сердцах честные и похвальные побуждения. Так Орфей выводил людей из грубого состояния; Фалес внушал соединение в общество, склонял к повиновению законам; Тиртей своих соотечественников (?)[1] водил на сражение и песнями своими вдыхал в них непреодолимое мужество; Омир, наконец, был учителем политиков, ироев и каждого человека. Вот предмет поэзии! Кому не известно, что милые музы любят иногда и смеяться? Оне всегда были любезными подругами граций. Посему поэзия может переходить к шуточному слогу, но токмо не к низкому, в чем погрешил один французский (л. 59 об.) поэт: переводя псалом, где изображается гнев божий против иудеев, так говорит у него Саваоф:

«Contre ce peuple furieux
Je jeterai mes souliers vieux».

Это низкая черта в стихотворстве.

Поэзия может рассматривать красоты природы, употребляя естественные цветы и отборные вымыслы. Описывать ли [хотим] красоты мира, можно находить в том же мире подобия. Изобразить ли хотим грацию, посмотрим, с какою милою простотою Тибулл описывает свою Сульпицию: «Во всех действиях ее видна прелесть, на каждом шагу тысячи красот; убирает ли она свои волосы; нравится; распускает ли их, небрежный сей вид придает ей новые прелести; в пурпур ли или другое платье одевается, всегда пленяет и восхищает сердце. Так на Олимпе щастливый Вертулен, принимая разные виды, всегда нравится!»

Поэзия может заниматься и высокими предметами. Начиная от божества до последнего насекомого, все чему можно дать действие, подчинено ее законам, ибо все подлежит подражанию. Но не всякая

[1] Так в подлиннике.

поэзия равно нравится; каждый род поэзии трогает нас по мере того, как предмет, ею изображаемый, более или менее способен произвести впечатление. Вот почему елегии и буколическая поэзия для нас приятнее драматического (л. 60) рода (???)[1]. Так Овидий представляет страстного Леандра, плывшего чрез волны к милой своей любовнице и трогательным тоном умоляющего поднявшиеся волны: «Ах! Дайте, дайте приплыть мне к берегу, и увидеть один раз ту, для которой жизнь поручаю вам, взглянув на нее последний раз, поплыву назад, и тогда поглотите меня». Таков еще у Тибулла Аполлон, которого он видел во сне; таково у Проперция описание Елисейских полей; у Овидия торжество любви. Таково оплакивание Адонисовой смерти у Биона; и все сие украшено руками самих граций!

Так как впечатление, происходящее от подражания, не столь глубоко бывает в сравнении с тем, какое производит самый предмет, и сие последнее долее в нас остается, нежели первое, то посему стихотворец должен подражать вещественному предмету. Впрочем сие не всегда должно быть главным предметом или правилом, ибо часто большее удовольствие чувствуем от искусного подражания предметам, нежели от самой вещественности оных. Мы с удовольствием рассматриваем картины, изображающие кровопролитное сражение и другие плачевные происшествия, которые оскорбили бы чувствительность на самом деле! Но подражание приятно. Такова смерть Федры! Романические повествования и театральные сцены суть те эстетические прельщения, которые нечувствительно (л. 60 об.) выводят нас из самих себя и заставляют забыть, что это одно искусство. Мы смеемся, плачем, забывая самих себя. Вот, что делает искусное подражание природе! Следовательно, та есть лучшая поэзия, чтение и представление коея[1] изумляет нас, приводит душу в волнение и делается приятным.

Каждый согласится, что сострадание и страх более растрогают, нежели комические шутки, которые скоро вылетают из памяти, а слезы и страх глубже впечатлеваются на сердце. Кино (Quinault) своими сценами не пленил бы зрителей, если бы Люлли не одушевил его оперы своими симфониями. Не с большим ли удовольствием ходим мы в собрание, где надеемся от представления жалкого действия проливать слезы? Но смех и шутки слабо действуют на сердце. Впрочем поэзия и в том и другом роде оказывает свое могущество.

ОТДЕЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ.

О средствах к успеху в стихотворстве.

Стихотворец — vates divinus — вещий — как достигнуть столь лестного названия? Что к тому нужно?

Составлять слова и слоги по известным правилам, говорит Опиц, есть последнее достоинство поэта. Главное качество его состоит в обилии высоких идей, остроумных изобретений, разительных картин и пламенного чувствования; его ум должен быть способен к приятию возвышеннейшего (л. 61) полета и обнимать все, что есть в предметах прекрасного, полезного, великого. Язык поэта должен совсем отличаться от обыкновенного. Тот только,— говорит Гораций,— может быть поэтом: ingenium cui sit, cui mens divinior, atque os magna sonaturum. В сем смысле Гомер был подлинный поэт. Везде у него виден творческий гений, богатое воображение и почти божественный энтузиазм. Он успел соединить прекрасное, важное и великое. Итак, поэт от при-

[1] Так в подлиннике.

роды должен иметь: 1) чувствительность души; иначе, он произведением своим не возбудит страстей, не тронет нашего сердца, если сам не чувствует воспламенения. Поэт без живейшего чувствования подобен лучу, который светит, но не согревает; 2) пылкое воображение; 3) остроумное соображение всего изящного в предмете и действительного. Между приобретаемыми средствами поэту нужны: 1) познание вещественной природы; 2) познание человека; 3) познание древних поэтов и художников, наконец, 4) знание природного языка.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

О разных родах стихотворений.

Поэзия главною целию имеет соединять приятное с полезным, нравиться и возбуждать благородные страсти. Различие предметов и времен, характеры народов, несходство мнений о вещах, разные состояния души делают то, что достигнуть сей цели невозможно (л. 61 об.) одним способом. Иной в предлагаемой ему поэтом истине не иначе может увериться, как только убедительными доводами; другого же научает более остроумная шутка какого-либо Скаррона, нежели важный тон Платона. Тот же самый при другом расположении души оскорбился бы более едкостью сатиры, нежели исправился. То же находим и между самыми поэтами. Кто родился с характером забавлять и смеяться, тот никогда не возвысится до парения Ломоносова. Сии то различные тоны, происшедшие или от самых предметов, или от свойства писателей, или от других каких причин, произвели разные роды поэзии. Нет сомнения, что разные отрасли стихотворства произошли не в том порядке, в каковом оне ныне предлагаются. Первые поэты, руководясь своим гением, следуя внушениям своих склонностей и руководству дарований, не знали никаких правил. Древние,— говорит Зульцер,— ни мало не принимали на себя много труда [1] в рассуждении разделения разных родов стихотворства. Как скоро дарования их поэтов производили что-нибудь новое, то они давали сему произведению название по своему благорассуждению, не заботясь о том, соответствуют ли оному существенные качества того рода стихотворения. Многие произведения (л. 62) названы были более сообразно наружному их виду, нежели содержанию.

Собственное разделение стихотворений на разные роды есть произведение позднейших умов, основанное на сообразности качеств описываемых предметов. Но не все авторы одинаковым образом разделяют поэзию на драматическую и эпическую; основываясь на том, что в первой действует сам стихотворец, во второй — другие лица; в первой мы видим предлагаемое нашему взору; во второй же нашему воображению; но таковое разделение учинено по различиям ни мало не существенным. Другое известнейшее разделение стихотворений: 1) на эпические, 2) лирические, 3) дидактические и 4) драматические. Но и такое разделение не простирается на некоторые подотделения.

Впрочем мы, держась сих четырех главных форм, прибавим еще дополнительный план, в которой поместим стихотворения, не подходящие под главное разделение. Но и сим разделением мы не желаем, да и не можем, ограничить неограниченный гений. Различные роды так неприметно переходят, или сливаются друг с другом, что всякое систематическое разделение делают невозможным. Да и естественно, ибо воображение при изобретении различных родов ((л. 62 об.) поэзии не следовало никакой системе.

---

[1] Так в подлиннике.

Поэзия бывает или суб'ективная (подлежащая), заключающая в себе лирическую и дидактическую поэзию, из коих в первой поэт выражает свои чувства (Gefühle), во второй свои мысли. Если же стихотворец находится как бы на стороне, и другое лицо поступает на его место, в таком случае поэзия бывает об'ективная. Поэзия об'ективная следует главным формам времени, которое, как известно, разделяется на прошедшее, настоящее и будущее. Драматическая поэзия представляет прошедшее как настоящее. Эпическая поэзия, сестра истории,— рассказывает прошедшее. Для того она у древних заменяла историю. Предсказанием будущего занималась некогда пророческая поэзия, которая потерялась да и не может быть, когда человеческий ум достигает высшей степени образования. Древние стихотворцы назывались vates и Аполлон — бог поэзии — был вместе богом пророчества. И евреи имели своих пророков. Но пророческая поэзия очень естественно переходит в лирическую, ибо так как человек может лишь догадываться касательно будущих происшествий, то сии догадки делаются мечтаниями. (л. 63) Так как много находится стихотворений, которые не подойдут под главные четыре формы поэзии, то мы рассмотрим:

A) Простые стихотворения, излагающие одну главную мысль, куда относятся: 1) надписи, 2) разные роды эпиграмм и 3) загадки.

B) Сложные, излагающие одно целое, сложенное из многих главных неприкосновенных представлений:

1) Лирические стихотворения: a) песни, b) оды и гимны, c) романтические пении провенциального изобретения, d) елегия и e) потом прибавим героиды.

2) Дидактические стихотворения: a) баян, b) сатира, c) послание и d) собственно так называемое поучительное стихотворение (Lehrgedichte) или poésie didactive.

3) Епические стихотворения: a) небольшие поэтические повести из действительного или вымышленного мира, истории, сказки и пр., b) романс и c) эпопея.

4) Драматические стихотворения: a) комедия, b) трагедия, c) смешанная драма или без пения, или с пением — опера.

A. О простых стихотворениях.

И уединенная, или одна мысль в особенности, может одеться в прекрасные слова, и допускает эстетически совершенное выражение. Таковые уединенные занимательные (л. 63 об.) мысли суть или всеобщие нравственные, либо политические изречения, или занимательные и остроумные выдумки при особенных встречающихся случаях.

Первые дают начало поэтическим изречениям (sententia) и надписям, другие — эпиграммам.

1) Гномы или изречения встречаются во множестве у греков и римлян; их можно также собирать из больших новейших стихотворений. К совершенству оных принадлежит: 1) чтобы изречение содержало ясный и вразумительный смысл; 2) чтобы оно было занимательно; 3) чтобы имело совершенно эстетическое выражение; след., чтоб предложено было не только в стихах, но и в прекраснейшей картине.

2) Надписи заключают в себе краткое чего-либо замечательного описание, состоящее в явственном изображении таких описуемого предмета принадлежностей, коими оне более всего привлекают к себе внимание. След., предметом может быть все, что только заслуживает особенное внимание, как-то: редкое здание, памятник, необыкновенной герой, примерное деяние и пр. Сочинитель надписи должен заме-

тить, чем предмет его отличается от всех прочих или чем производит разительное действие над нашим воображением или сердцем. Иногда действия изображаемого предмета составляют содержание надписи, напр.:

«Суворова здесь лик искусство начертало,
Да ведают его градущи времена:
Едина царства им не стало,
А трем корона отдана».

Дмитриев.

(л. 64) Иногда причина действующая и конечная дают сочинителю надписи мысли, напр.:

«Какой ужасный грозный вид!
Мне кажется лишь скажет слово,
Законы, трон, все пасть готово.—
Не бойтесь, он на дождь сердит»...

3) Эпитафия, как самое слово показывает, значит надпись на гробнице, и в пространном знаменовании заключать может и хвалу и порицание. Но как злость редко сооружала памятники бесславия, и поелику гробницы воздвигаются дружеством, или усердием, то обычай стеснил первоначальное пространство слова так, что оно вообще принимается теперь за надпись, начертанную на гробнице в похвалу умершему человеку. Поелику хвала воздается умершему, чтобы других побудить к подражанию его доблестям, то главное намерение эпитафии состоит в сохранении примеров добродетели, дабы гробница доброго человека заменяла отсутствие его между нами и дабы уважение памяти его производило в нем действие, равное созерцанию его жизни. Следовательно, совершенны те токмо эпитафии, которые показывают добродетель в лучезарном свете, возвышают душу читателя и побуждают его к подражанию. На сей конец не всегда нужно описывать подвиги героя, или исчислять сочинения философа. Вместо длинной (л. 64 об.) надписи для таких мужей довольно одного их имени; напр., на гробнице Невтона излишне было бы исчислять все его открытия; одно имя сего математика-философа уже сделало бы[1] его бессмертным. Примерами таковых, состоящих из одного имени, эпитафий могут служить простые, короткие и чуждые всяких прикрас римские эпитафии, заключающие в одном прилагательном имени все победы полководцев: напр. Caesar germanicus, Caesar dacicus, illiricus etc. Но таковые надписи могут быть только для величайших людей, ибо если гробницу человека, прославившегося случайно и на короткое время, украсите одним только его именем, то чрез несколько лет потребуется истолкователь для надписи. Эпитафия в слоге должна наблюдать торжественность и быть чужда неприличных украшений. По сей причине слог эпитафии должен быть отличным от слога елегий. Обычай погребать умерших в церкве или близ оной, сначала введен, может быть, с тем намерением, чтобы христиане, имея пред глазами убедительнейшие доказательства непостоянства человеческой жизни, обращали ум свой к благочестивым размышлениям; сей обычай не дозволяет уже в надгробные надписи включать мысли, противные тому учению, для распространения коего созидаются храмы. Равномерно внешние украшения памятников должны (л. 65) соответствовать торжественности места. По той же причине неприлично

[1] Так в подлиннике.

в эпитафиях обращаться к прохожим. Не излишне напомянуть, что в эпитафии надлежит помещать и имя умершего; иначе как эпитафия, долженствующая пережить камень, ее содержащий, сохранит для потомства сведение о человеке, которого имя в ней не упоминается?

Хотя надгробная надпись принадлежит к роду панегириков и, следовательно, не ограничивается историческою точностью, однакож истины пренебрегать в ней не должно. Не надобно хвалить человека за добродетели, которых он никогда не имел. Не место и о пороках умершего упоминать в эпитафии, которая предназначается не для увековечения злодеяний, но для показания образцов добродетели. На гробнице мецената хвалите его щедрость, но ничего не говорите об его роскошестве, равным образом не на памятнике Августовом должно сохраниться предание о заточенных им гражданах.

Наконец, наилучшим украшением надгробной надписи должны быть добродетели частной жизни, исполняемые людьми всех состояний — добродетели, для которых могут найтись многие подражатели. Кто освободил целую страну от угнетения, кто рассеял мрак невежества и заблуждений, тот не может иметь многих соревнователей своим подвигам. Но кто устоял против искушений богатства, кто в бедности пребыл верным добродетели, тот многих воспламенит своим примером, во многих возбудит ту же решительную твердость (л. 65 об.). Эпитафия, изображающая пороки или недостатки, должна соединять остроту с пылкостью, но избегать злости и пристрастия.

1) **«Суворов здесь лежит.— Кто он?— иные скажут.**
Но Висла и Рымник то всякому докажут»...

4) Эпиграмма есть род стихотворения, ближайший к сатире потому, что часто имеет один с нею предмет. Критики и насмешку, даже колкое слово, сказанное в разговоре, привыкли называть эпиграммою. Но сие название в обширном смысле дается остроумному изречению, выраженному немногими стихами. Эпиграмма получила свое начало от надписи, от коей отличается тем, что сия последняя пишется или действительно с тем, чтоб ей (л. 66) быть написанной на ее предмете, или на изображении оного, по крайней мере, имеет такую наружность, но предметом эпиграмм бывает часто то, на (чем)[1] написать ее не можно, напр., семейственные добродетели, или пороки и пр. Впрочем ученые не согласны в определении эпиграммы, иные утверждают, что сущность ее состоит в остроумной мысли, другие полагают в обоюдности, третие — в откровенной простоте, видимой нами у Катулла, и пр.

Эпиграмма обыкновенно предлагается или в виде эпическом, или для большей живости дают вид разговора. Она пишется равными и неравными стихами. Как ни кратка эпиграмма по свойству своему, но должна заключать в себе две части: предложение и замысел; первое состоит в изложении мыслей, приуготовляющих нас как бы к замыслу, а посему мыслей оных столько требуется, чтобы замысел был вразумителен, и в сем то состоит краткость, свойственная предложению эпиграммы. Достоинства замысла состоят в непринужденности, непритворности и сильной краткости. Непринужденность состоит в изобретении таких мыслей, которые найти, кажется, не стоило никакого труда сочинителю, но оне встретились сами при первом взгляде на предмет. Непритворность заключается в такой мысли, которая кажется не произведением остроумия сочинителя, но самого предмета и которую мысль каждой бы сказал, если бы представил предмет эпиграммы с той стороны, с какой изобразил

[1] Так в подлиннике. Над словом: «(чем)» написано над строкой: «что».

его в предложении сочинитель. Занимавшиеся мелкими стихотворениями (poésies fugitives) написали множество (л. 66 об.) эпиграмм; но мы приведем здесь несколько из оных.

«1) Я раззорился от воров.—
Жалею о твоем я горе.—
Украли пук м·их стихов.—
Жалею я о воре.
2) Мне лекарь говорил, нет, ни один больной,
не скажет обо мне, что недоволен мной.—
Конечно, мыслил я, никто того не скажет,
Смерть каждому язык привижет...»

5) К эпиграммам относятся также мадригал, сонет, рондо и триолет по причине сходства в том, что каждое из сих небольших стихотворений содержит в себе острую, удачно и кратко выраженную мысль. Имя мадригала не было известно древним, но в их эпиграммах находятся образцы сего рода сочинения. Краткие сочинения Сафо и Анакреона, дошедшие до нас, можно почесть мадригалами. Катулл и Марциал в некоторых эпиграммах представляют очень хорошие образцы мадригала. Буало определяет мадригал следующим образом:

«Le madrigal plus simple et plus noble en son tour
Respire la douceur, la tendresse et l'amour».

Из определения сего видно, что мадригал — простее эпиграммы, но благороднее в своих оборотах; нежность и тихие чувствования составляют его душу. В замысле эпиграммы видны живость и усовершенствованное искусством дарование; но в замысле (л. 67) мадригала приметны тихий восторг, естественная простота и добродушие. Притом же, по замечанию Ешенбурга, в мадригале не всегда бывают нужны обе существенные части эпиграммы. В мадригале бывает не менее четырех и не более 15 стихов. Вот несколько примеров:

1.

«По чести от тебя не можно глаз отвесть;
Но что к тебе влечет?.. Загадка непонятна.
Ты не красавица, я вижу... а приятна!
Ты лучше б быть могла, но лучше так, как есть».

Д.

2.

«Похожа хочешь ли ты на Амура быть?
Глаза лишь надобно закрыть.
Захочешь ли, чтоб он пленился сам тобой?
Алина! только их открой».

3.

«Вот мой тебе портрет. Сколь счастлив бы я был,
Когда б ты иногда сказала:
Любезней и милей его я многих знала;
Но кто меня, как он, любил?»

Д.

4.

«Vous n'écrivez que pour écrire;
C'est pour vous un amusement;
Moi, qui vous aime tendrement,
Je n'écris que pour vous le dire».

Сей мадригал многие французские пииты приводят в пример. Он сочинен Прадоном в ответ одному из его знакомцев, который писал к нему письмо, наполненное остроумием.

6) Сонет есть сочинение самое трудное. Буало говорит, что «un sonet sans défaut vaut seul un long poëme». Но никто не определил его порядочно; поелику никто еще не отличился (л. 67 об.) в сем роде сочинения и не оставил нам образец, следуя коему могли бы мы сказать что-нибудь положительное. Сонет имеет многие свойства мадригала, но в нем должно быть все возвышенно, изящно и превосходно; мысли зрелые, слог красивый, стихи плавные и сладкозвучные, рифмы богатые, так что малейшее отступление от предмета, слабая мысль, негладкий стих, неточное выражение, повторение одного слова, коротко сказать, всякая погрешность против слога непростительна в сем сочинении. Сверх трудности внутреннего состава, сонет затруднителен также и в наружном виде: он состоит из 14 стихов большею частию шестистопных. Первые 8 стихов разделяются на два четверостишия, в коих рифмы мужская и женская полагаются через строфу. Последние шесть делятся на два трестишия, где рифма последнего стиха в первом трестишии соответствует рифме последнего, находящегося во втором трестишии. Каждая четырехстишная строфа должна заключать в себе полную и оконченную мысль. В сонете требуется величественный тон оды, острота эпиграммы, и нежность мадригала. Столь затрудняющее сочинителей качество сонета есть причиною, что не можно найти образцов сего стихотворения.

7) Рондо началом своим одолжено французам, как название его показывает. Содержанием рондо бывает что-нибудь забавное и шуточное; простодушие, откровенность суть главные достоинства составляющих его мыслей. Нередко (л. 68) важные мысли изображаются через рондо; но в таком случае оно подходит к сонету. Рондо разделяется на несколько четверостиший, в коих стихи могут быть четырехстопные, пятистопные и шестистопные. Слово, мысль или часть целой речи повторяется несколько раз в начале и конце каждого четверостишия [1], где повторение бывает с начала и при конце каждого куплета; нравятся более другие, немногие из лучших наших поэтов занимались сим родом сочинений.

8) Триолет есть особливый род рондо, занимающийся также забавными предметами. Из осьми составляющих его стихов пять должны быть мужские, кончающиеся на одну рифму. Первые два стиха, из коих первый есть мужской, второй — женский, должны содержать в себе полный смысл; третий стих есть опять мужский, в четвертом же повторяется весь первый стих триолета. Пятый стих должен быть мужский, а шестой — женский. Наконец, в седьмом и восьмом стихах опять повторяются два первые стиха триолета, но так, чтобы они служили продолжением мыслей, начатых в шестом стихе.

9) Наконец, к мелким стихотворениям относится загадка, в которой представляется вещь под темными метафорическими подобозначущими словами.

О лирической поэзии вообще.

Лирическая поэзия получила название от лиры, которая у древних сопровождала пение, и которую Пиндар в одной из од своих называет семиструнною. Правда, что ни один род стихотворения столько не наклонен к пению, как лирической; однако и другие стихотво-

[1] После слова: «четверостишия» в тексте сделанный карандашом крест, обозначающий, вероятно, какой-то пропуск.

рения петь можно. Следовательно, все сие не составляет еще существенного различия, равно как (л. 68 об.) и мера стоп, ибо и эпические стихотворения могут быть писаны четырехстопными стихами. Существенное различие лирической поэзии мы должны иметь в нашей душе. Лирическая поэзия есть поэзия чувств (Gefühls). Она начинается суб'ективно, когда человек чувствует внутреннюю нужду поэтически выразиться и тогда чувство превозможет над мыслию. Но под сим чувством не надобно разуметь одно только чувство сердца, ниже одно нравственное, ниже одно вероисповедательное. Такое чувство может быть мечтательное, чувство к истине, к природе, чувство веселостей, шутки, своевольства, насмешки и пр. Лишь холодная острота и сухой рассудок не должны первенствовать в лирической поэзии. Для того у французов оды суть лишь эпиграммы. Лирическое воображение должно заимствовать материю от чувства; но сию материю оно обрабатывает с помощию рассудка, только лишь не холодного, но такого, который с ним неразлучно сопряжен.

Сколько лирическая поэзия не происходит от чувства[1], однакож должны быть в ней мысли, но мысли лирические. Таковые мысли превыше всего обыкновенного, площадного. Оне должны быть новы, необыкновенны, но естественны и с чувством тесно сопряжены. Оне должны казаться столь легкими, как бы сами родились, и вместе быть неподражаемыми; и таковых то мыслей недостает у многих стихотворений, издаваемых под именем лирических. Лирическое стихотворение требует лирического единства, соединенного с видимою правильностию, которая обыкновенно именуется лирическим беспорядком, но который лучше бы назвать лирическим порядком. И сей то порядок или беспорядок примечается (л. 69) не токмо в высших лирических стихотворениях, но и в легких песенках не должно быть ни малейшего следа системы. Под лирическим беспорядком разумеют то, когда восторженный разум поэта не успевает чрезмерно быстро текущих мыслей расположить логически. Потому ода плана не терпит, но беспорядок сей есть высокой беспорядок или правильный беспорядок. Между периодов или строф находится тайная связь, как между видимых прерывистых колен перуна неудобозримая нить горючей материи. Лирик в пространном кругу своего светлого воображения видит вдруг тысяча мест, от которых, чрез которые и при которых [можно] достичь ему предмета, им описуемого; но их нарочно пропускает или, так сказать, совмещает в одну совокупность, чтоб скорее до него долететь. При всем том, если не предводит его разум, то хотя провождать должен, иначе сей мнимый беспорядок будет в самом деле беспорядок, горячка, бред. Образцами прекрасного лирического разнообразия или беспорядка исполнены все Пиндаровы оды, которые всегда могут служить примерами сего рода лирических стихотворений. Нынешние лирические стихотворения на заказ или на случай, в которых тот или та воспеваются, большею частью не удаются. И не мудрено, ибо им недостает Пиндарова разнообразия.

Вдохновение или восторг не что иное у лирика есть, как живое ощущение, дар неба, луч божества. Поэт в полном упоении чувств своих, разгораясь вышним оным пламенем или воображением, приходит в восторг, берет лиру и поет, что ему велит сердце. (л. 69 об.) Не чувствуя себя восхищенным, и приниматься он за лиру не должен. В прямом вдохновении нет ни связи, ни холодного рассуждения, оно даже их убегает и в высоком парении своем ищет только живых, занимательных, чрезвычайных представлений. От того-то в превосход-

[1] Так в подлиннике.

ных лириках всякое слово есть мысль, всякая мысль картина, всякая картина чувство, всякое чувство выражение, то высокое, то пламенное, то сильное, то приятное. Но вдохновение может быть не всегда высокое, а чаще, между порывным и громким, посредственное, заемлемое от воспеваемого предмета, обстоятельств или собственного расположения поэта.

Высокость или выспренность лирическая есть не что иное, как полет пылкого, высокого воображения, которое возносит поэта выше понятия обыкновенных людей и заставляет их сильными выражениями своими то живо чувствовать, чего они не знали и что им прежде на мысль не приходило. Но высокость бывает двоякого рода: одна чувственная — и состоит в живом представлении веществ, другая — умственная, состоящая в показании действий высокого духа. Первая принадлежит к лире, а другая — к драме. Посему то иногда живое чувственное не может быть высоким умственным, ни самое высокое умное не может быть живым чувством.

По сему понятию лирическое высокое заключается в быстром парении мыслей, в беспрерывном представлении множества картин и чувств блестящих, громких, высокопарных и цветущих слогом выраженных. Высокое же драматическое содержится в тихом и спокойном действии души великой, которая быв выше других, и в слабостях человека твердостию и мужеством (л. 70) его, а не одним блеском воображения и громом слов, показывает, в чем высокое существо, и заставляет разум почитать его или благоговеть пред ним.

Как начало, так и окончание лирического стихотворения должно быть быстро и пылко, и поэт тотчас должен прервать сочинение, коль скоро примечает, что исступление его ослабевает. Единство страсти, или одно главное чувство в лирическом стихотворении, как в эпопее и драме единство действия, господствовать долженствует, ибо рассеяние за многими предметами отнимает силу и быстроту у лиры. А для того, посвятив ее радости, можно теряться в восхищениях, но отнюдь не переходить к печали. Начиная ненавистию, не должно оканчивать любовью. Впрочем единством называется и то, когда поэт предмета своего ни мало не упускает из виду. Примеры сего у Анакреона почти во всех его одах и у Горация.

С выражением чувства могут быть соединены — и действительно соединяются — многие описания, и потому часто лирическая поэзия переходит то в дидактическую, то в эпическую; но эпические описания в лирической поэзии не должны идти спокойным шагом эпической поэзии, и если описание первенствует, то лирическая поэзия теряет свой характер.

С дидактическою поэзиею граничит лирическая поэзия философскими, теоретическими и практическими мыслями. Под сею философиею разумеется философия жизни для различия от школьной. Без такой философии лирическая поэзия утомляет, особливо в такое время (л. 70 об.), когда разум человеческий уже сделал большие успехи в образовании. Для того то древняя романтическая поэзия ныне не удовлетворительна.

Язык лирической поэзии не различается от языка обыкновенного жизни, как то в песнях. Тут чувство и мысль,— однакож так натуральная, как бы из чувства проистекало,— решат достоинство стихотворения. Чем выше лирическая поэзия возносится к идеалу, тем более язык ее удаляется от общежительного. Для того на языке, близком к общежительному (langue de conversation), каков французский, не удаются оды. Язык лирической поэзии высшей может быть самой отважный и употребляет слова самые вольные, только не против духа

и законов оного. Ни одна нация не обращала столько труда и внимания на образование языка высшей лирической поэзии, как греческая, напр., в хорах трагиков, начиная от Есхила, Софокла и Еврипида. Мера стоп зависит от законов языка, напр., в немецкой оде Горацианская может быть удачно употреблена. Но все покушения перенести оную и в песни были напрасны.

Предметы лирические нельзя определить; некоторые из них неисчерпаемы, как-то: любовь и весна; для того младые поэты всегда с них начинают.

Разделение лирических стихотворений.

Некоторые, приняв за основание то, что одне из лирических стихотворений пишутся для чтения, а другие для пения с музыкою, разделяют лирические стихотворения на оды и кантаты; мы разделим оные стихотворения 1) на песни, 2) оды и гимны, 3) провенциальные стихотворения и 4) элегии и, наконец, прибавим статью о героидах.

А. О песни.

(л. 71) Песня есть лирическое стихотворение в самом простом слоге природы или столько естественно, сколько вообще естественное противоположно идеалу, однакож не наотрез. Песня есть простонародное (populaire) стихотворение в первобытной своей сущности. Сия то простонародность обманула Бюргера до того, что он думал, будто бы печать совершенства всякого стихотворения есть простонародность. Понятие простонародности исключает лишь высший полет воображения и не требует самого площадного (gemeine) языка, но нередко самое возвышенное духовное (réligieux) чувство может в песне выразиться самым простым языком природы. Вообще простота составляет отличительный характер песни. Все, что предполагает искусство, должно быть из песни изгнано. Мысль и язык не должны иметь ни малейших следов выученного (studierte). Всякое глубокое размышление и напряжение не имеет в песнях места. Мера стоп ее должна быть самая легкая, так, чтоб лилась в душу и ее с собою увлекала. Различные чувства могут одушевлять песнопевца, чувство к истине, чувство к природе, чувство мечтательности, шутки, веселости и пр. Шуточные песни могут называться эпиграмматическими. Таковые были некогда в Германии в моде из-под пера Лессинга. Таковые любят французы и некогда испанцы. Самое важное (serieux) чувство может принять в песне эпиграмматический вид. Только сей вид не должен быть искусственной и не разрушил бы лирической характер.

История песни.

(л. 71 об.) Нет такого грубого народа, который бы не имел, по крайней мере, грубых песней. Простонародные песни, родившиеся в народе, преимущественно заслуживают быть собраны, ибо оне могут служить вообще для истории народа. Многие новейшие литераторы пытались собрать песни различных народов. Но самое прекраснейшее собрание (Sammlung Volkslieder) подарил Гердер в его стихотворениях: Zur Litteratur und schönen Künsten. Впрочем Гердер многое по-своему обработал. Да и вообще простонародная песня, будучи переведена, теряет свой национализм. Самые древнейшие известия касательно истории песни опять мы должны искать в Библии. В Иудее очень рано стали различать песню от оды. Но самые прекраснейшие

из соломонова времени — самого Соломона, так называемая высокая песня (hoches Lied), есть не что иное, как собрание любовных песней, переведенных Гердером в его творениях. Но чтоб понять дух их, надобно о сем читать Гердерово же рассуждение.

Другой род песенной поэзии родился в Греции и кажется разительнее отделим от прочих родов стихотворения. Что греки при различных случаях, особливо в обществах, певали песни, в том нет никакого сомнения. Отрывки особенного рода песней у них назывались σχόλιον (схолии), когда в компании стакан переходил из рук в руки. Даже сам Аристотель занимался сочинением сих схолий. Из древнейших греческих песнопевцев известны Stesichorus и Mimnermus, которому даже подражал Гораций. Обыкновенно и стихотворицу Сафо сюда причисляют; но что нам от ней досталось, более приближается к одам, нежели к песням. Прекраснейшие песни получили мы от Анакреона, коего песни повсюду распро(л. 72)странились и тем достойнее примечания, что имели влияние на новейшую поэзию песней. Его песни отличаются от всех прочих нежностию и роскошною (üppig) грациею. Позднейшая судьба греческой поэзии песней нам неизвестна.

Римляне еще прежде, нежели получили греческое образование, имели собрание песней; но до нас дошли только грубые отрывки военных песней (Soldaten), которые певали солдаты при случае торжественного возвращения в столицу. Оне часто были исполнены издевок над самим героем, везомым в триумфе на колеснице. Таковая песнь, петая солдатами за торжественной колесницей Юлия Цесаря. Цель их была напоминать о человечестве. Когда греческое образование переселилось в Рим, тогда и римские песни приняли греческий вид. Один из древнейших римских псевдонимов, подражавший греческим, но умевший соединить с собственным римским, был Катулл. Его песни шуточны, забавны, легки, роскошны, игривы и все ознаменованы древним римским добросердечием. По Катулле ни один поэт не прославился только песнями. Гораций подражал Мимнерму столь же тонко, как и Алкей. Многие из его од переходят в область песней, напр., хоровая песнь. Другие колеблются между собою и песней. Гораций превышает Катулла большею красивостию и исправностию, но не имеет того добросердечия.

Совсем другая поэзия песней родилась в XII в. Христианская вера и романичество вдохнули, так сказать, совсем другой романический дух в песни. Самые церковные песни на латинском языке писанные, ничего от древнего не удержали, кроме слов. Они даже по новому образцу были скандованы и некоторые с рифмами, при всем том есть из них превосходные. Древнейшие песни на новейшем языке (л. 72 об.) провенциальные. Оне скоро перешли в искусственные лирические стихотворения: сонеты, мадригалы, триолеты и пр. Вскоре провенциальными, в XII, XIII и XIV и след. столетиях, образовались испанские, португальские и пр. песни.

B. Ода.

Ода есть лирическое стихотворение в идеальном слоге, следовательно, совсем различна от песни, как простонародного стихотворения. Ода не следует ни в чувстве, ни в языке обыкновенной жизни; это отлив разгоряченного духа, отголосок растроганных чувств, упоение или излияние восторженного сердца. Человек, возникший из праха и восхищенный чудесами мироздания, первый глас радости своей, удивления и благодарности должен был произнести лирическим воскликновением. Вот истинный источник оды, а потому она не есть, как

некоторые думают, одно подражание природе, но и вдохновение оной, чем и отличается от прочих родов поэзии. Она не наука, но огнь, жар, чувство. Ода быстротою, блеском и силою своею, подобно молнии об'емля в единый миг вселенную, образует величие всей природы. Воспарив до небес, в то же время низвергается и в преисподнюю, извивается, чтобы скорее цели своей достигнуть, прерывает и умолкает дабы вновь внезапно, и с высшим явившись стремлением, более звуком и светом своим удивить, ужаснуть, поразить земнородных. При всем том хотя ода и не простонародное сочинение, однакож и не должна быть ученою (gelehrt). Многие оды набиты ученостию, древностями, мифологиею и пр. и таковые оды во зло употребляют священное название. Там, где ода возвышается над общежитием, не должна однако теряться в отвлеченностях; но самые отвлеченные понятия должны быть облечены в неделимость. Предмет оды составляет все, что только делает человека благоразумным и приносит ему честь — человеческая сила, достоинство (Würde). (л. 73) Поэт переносит нас то в лучший свет, то в прекрасный, возносясь иногда непосредственно к божественному, и тогда ода становится духовною; иногда лишь к красотам природы. Он не ссорится, но даже дружится с философиею. Самые понятия умозрительной философии под пером его, или лучше волшебным его воображением, принимают поэтический вид и практическая философия может иметь у него благородное место, как скоро в состоянии принять высший характер. Поэт может с высоты своей смотреть долу с шуточною улыбкой, или просто может шутить. Не совершенно требуется, чтоб ода была сериозна (ernsthaft). Но и пылкой энтузиазм может господствовать в оде, только лишь не страсть, которая влечет к низкому. Ода позволяет гораздо большую игру воображения, прямо потому, что возносится над всем земным. Сия то вольность благоприятствует лирическому беспорядку, который исключает малейшую тень системы. Однакож в сем беспорядке должно таиться единство как чувства, так и мысли. Поэт в оде особливо выигрывает кротостию и силою выражения. Язык оды, конечно, удаляется от общежительного, но не через пышное, или блещущее выражение, не чрез фигуры и метафоры, и вообще не чрез слог. Язык оды может быть столько же прост, как и язык песни, лишь только не простонароден. И прямо там, где ода соединяется с простотою, достигает своей цели, как то у Клопштока, простым, но сильным выражением. Роды стихов нельзя для оды определить, ибо каждый язык требует различных. Довольно, что в оде могут употребляться роды стихов самые искусственные (künstreich). Меры стоп должны быть самые торжественные, что опять зависит от характера языка. Известно, что греки истощали все свое искусство на строение стихов (л. 73 об.) в оде. Самые искусственнейшие — Пиндаровы. После они приведены к простоте Алцеем.

Разделение од.

Некоторые разделяют оды на различные классы по предметам. Одне из од изображают чувствования благоговения, благодарности и славословия верховного существа — вообще предметы вероисповедания — называются гимнами; другие, занимаясь отличными деяниями великих мужей или важнейшими общественными происшествиями, называются одами героическими, иные служат излиянием пылких ощущений, произведенных в душе стихотворца какою-либо нравственною мыслью или истиною и известны под особенным названием философских од. Другие, наконец, имеют своим предметом одни тихия и нежные, но наполняющие душу чувствования, внушаемые или любовию,

или другою какою-либо нежною страстию и называются одами анакреонтическими. Гимны должны быть самыми древними из лирических стихотворений. Чувствия благоговения к божеству составляют и у диких самую первую и священную обязанность, между тем как изумление, внушаемое великими деяниями подобных нам, и сладостный восторг, произведенный нежными предметами, суть произведения более устроенной и более роскошной жизни, а потому уже в продолжении времени могли сделаться предметом лирических стихотворений. Гимны же, изображавшие исступление и восторг целого народа, происшедший в сердцах всех от благоговения ко виновнику природы, обратили на себя первое внимание поэтов. Гимны по существу своему принадлежат к самым высшим лирическим стихотворениям, ибо что может быть выше чувствия истинного благоговения к божеству, но при всем их (л. 74) парении должны поражать естественною простотою, ибо искренность не совместна с высокопарностию, отзывающеюся искусством. Гимнами евреи в разных случаях воспевали истинного бога и чудеса его, а язычники — поклоняемых ими богов и героев. Изящнейшими образцами гимнов могут быть псалмы Давида. Гимны Гомеровы и Орфеевы суть древнейшие. Из 86 гимнов Гомеровых удержалось только 36; их можно назвать мифологическими повествованиями. Орфеевы гимны суть исчисления качеств богов космологических, но он рассказывает, а не собственные чувствования изливает, следовательно, его гимны собственно не принадлежат к одам. К мифологическим гимнам относятся также Каллимаховы; всех его гимнов считается семь, но все они обнаруживают позднейшее происхождение, когда мифологическая вера клонилась к падению и охладевала.

Новейшими литераторами разделяются древние гимны на 1) феургические или таинственные, 2) пиитические (или всенародные), 3) философские. Новейшие же гимны более приближаются или похожи на оду, или небольшую поэму, сочиненную в славу бога, или в похвалу какой-либо добродетели; таковы суть: гимн богу — Дмит[риева], гими кротости — Дер[жавина], гимн солнцу слепого старца Оссиана — Кап[ниста] и пр.

Философские оды имеют содержанием какую-либо нравственную мысль, или истину, или порок в отвратительном виде; так, чтобы в первом случае изящество воспеваемой лириком добродетели наполнило сердце наше живейшим восторгом, а во втором, чтобы гнусность порока произвела в высшей чувствование негодования. Следовательно, умствования, доказательства, логические разделения, свойственные (л. 74 об.) сочинениям поучительным (didactiques) не должны иметь места в сей оде, но везде должны присутствовать глас пламенной страсти, разительные примеры, картины, поражающие своею живостию. Образцами сего рода од могут быть: Горациева ода 1, кн. 3 и ода Руссова на счастие, также многие оды Державина и некоторых лучших наших поэтов. Анакреонтические оды суть излияние нежных, страстных, тихих, но наполняющих собою сердце чувствований, коих источником бывает не одна любовная страсть, но все, что, так сказать, разнеживает и умягчает нашу душу, все, чем она любит быть занята, все, что имеют восхитительного мечты воображения. Простодушие, чистосердечие, нежность сердца, детская откровенность и даже некоторая небрежность составляет отличительные качества анакреонтических стихотворений. Приметное притворство, искусство и вообще насилие сердцу и дарованиям ума должны быть изгнаны из них. Вообще успех в сих стихотворениях предполагает врожденную чувствительность души, преклонной ко всему нежному. Такова была стихотворица Сафо. Каждый стих ее, каждая мысль проникает сердце,

возбуждает умиление, заставляя с удовольствием принять участие в ее горести. Сие происходит от того, что страсть одушевляла Сафу, и что сердце было подлинником каждого слова. Таков точно был чувствительный Анакреонт.

История оды.

Рождение оды предполагает уже высшее образование ума; при всем том она столь же свойственна человеческому уму, сколько и песня. Ода, конечно, не могла так рано родиться и в источнике своем сливалась с песнею. Но что она естественна, доказывают древнейшие героические оды, которые однакож более или менее переходят в песни. Самые древнейшие оды — еврейские. Некоторые из них относятся к глубочайшей древности еврейской истории, и не мудрено. Вера их вообще увлекала воображение к идеальной философии. Но самый лучший период (л. 75) сего рода стихотворения прямо относится к тому времени, когда еврейская нация достигла высочайшего образования во время псалмопевцев Соломона и Давида. Мы называем их оды псалмами; во всех присутствует один дух — высочайшее чувство монофеистической веры. Многие из них возносятся над всем обыкновенным и земным так высоко, как только человеческое воображение парить может. Впрочем, чтоб правильно ценить их, для сего нужно знать язык.

Можно научиться познавать их из псалмов, переведенных Крамером и переводов Мендельсона. Еще смотр. Ueber den Geist der gebräischen Poesie. Herder. Также D. Blair. Lect. XLI.

Сии псалмы тем достойнее примечания, что величайшее имели влияние на новейшую поэзию и почти на всех языках, по крайней мере христианских, нашли подражателей.

В Греции ода шествовала медленно. Полифеическая вера — игра воображения — не могла способствовать ее полету. Древнейшие — полифеические — и следов не имеют истинного характера од. Уже позднейшие Гомеровы гимны и Орфеевы некоторым образом носят отпечатки од. Собственная ода у греков произошла от трагедии или, по крайней мере, сия подала оной повод, ибо греческая трагедия родилась из хоров в честь Бахуса. Они составляли необходимую часть трагедии и, если их совершенно отделить, неоспоримо принадлежат к наилучшим одам. Таковые хоры напр. во Софокловом Едипе между 1 и 2, также между 2 и 3 действиями. В то же время процветала ода совсем независимо от драмы. Некоторые утверждают, что и Пиндаровы [оды] были в связи с драматическими творениями. Как бы то ни было, довольно, что Пиндар жил в самый цветущий период греческой поэзии, и все его творения составили бы для нас нечто неоцененное. (л. 75 об.) Но случай доставил только оды его на победы — 14 Олимпийских, 12 Пифийских, 14 Немейских и пр. Он пел также и гимны и другие лирические стихотворения, которые, к сожалению, потерялись, и из которых бы можно было лучше судить о характере Пиндара, но и остальные принадлежат к чудесам человеческого ума. Они идут совсем другим путем, нежели все нынешние воспевающие оды. Его предметы были самые сухие: пара хороших коней, искусный возница, сильный боец или борец. Какое сухое поле! Для того он проливал поэтическое свое чувство на сухом поле, и подобно потоку превращал оное в плодоносное. Сравнения, картины, описания попеременно проносились подобно легким облакам в прекрасный день. Похвала победителя составляла случайную связь, ибо для каждого победителя довольно было чести быть воспету Пиндаром. Самый сил-

ный здравый рассудок говорит у него самым сильным языком воображения, и столь искусственная и вместе столь торжественная мера стоп никому из греков не удавалась. В строении стихов его можно назвать искуснейшим архитектором. Сколько Пиндар труден для подражания, а еще труднее для переводов, ибо его поэзия так тесно соединена с языком, как ни одна в свете. Хороший перевод Пиндаровых од можно ожидать разве от того, который с поэтическими дарованиями соединит самое наилучшее практическое познание своего языка. Как Пиндаровы оды далеко продолжились, неизвестно, хотя впрочем, без сомнения, они имели подражателей. Довольно, что вдруг родился совсем другой род оды — Алцеев — менее отважный (kühn). Алцей вообще ничуть не был чрезвычайный стихотворец. Его мера стоп также мастерская, но утонченная и легче. Все древние писатели с уважением говорят об Алцее. Но нам достались лишь одни его отрывки; многие же удержались в одах Горация.

Сафо стихотворица, изобретшая особенную меру стоп (л. 76) по имени ее называемую, также сюда принадлежит двумя своими одами, из многих ее творений сохранившимися до наших времен. Вообще нам очень мало или всего менее досталось из греческой поэзии.

Чрез подражание греческой родилась римская ода. Основатель ее один из остроумнейших и единственный в своем роде поэт, Гораций. Он первый, как и сам говорит, перенял греческую меру стоп Гораций хотя и подражал Алцею, но с подражанием умел соединять высочайшее римское образование. Его поэзии многие более удивляются, нежели достойно ценят. Гораций неоспоримо имеет более рассудка, нежели воображения; он жил в такое время, когда высшее лирическое одушевление почти изумерло. И если он что-либо имеет от сей божественной искры, то все сообщено греческими поэтами. Гораций не ограничился ни одним чувством философским, ни одним нравственным, ниже духовным. Но все сие неприметно у него сливается подобно как у искусного живописца тень со светом. Гораций имел более вкуса, нежели творческой силы, или гения, но его ум столько соединял разнообразных талантов, что заставляет ревновать самих гениев. Он то прямо научает познавать истинный характер оды; будучи преисполнен искусства, кажется всегда натуральным; у него каждое слово на своем месте, и каждое слово стихотворно. По силе и краткости можно назвать его Тацитом, но по красивости (élégance) Гораций пребудет всегда единственным. Мудрено ли, что Гораций с такими качествами был любимцем не только современников, но и всех веков и всего света; впрочем более любимцем мужей, нежели юношей, ибо его красоты требуют зрелости вкуса, размышления и всегда открываются новые. Гораций, будучи ближе к новейшему образу мыслей, имел множество переводов, но большею частию жалких, ибо он имеет обманчивую легкость (л. 76 об.) или, как говорят, facile difficile. Горацию, сколько известно, не было последователей из древних римлян; не прежде, как по введении христианской веры, когда обратилась[1] на христианские предметы, последовал ему Пруденций.

В новейшей словесности ода есть труднейшее стихотворение. Между романтическими стихотворениями напрасно бы кто стал искать ее. Они имеют совсем другой характер, хоть канцоны и приближаются к одам. В Италии при классической словесности ни один поэт не возбудился к одопению. Первый италиянский певец од, старавшийся спорить с греческими, Chiabrera, скончавшийся 1638, он образцом своим избрал Пиндара, довольно его вытвердил (studiert), изобрел

[1] Так в подлиннике.

новую меру стоп, которая однакож к Пиндаровой не идет. Киабрера имел решительные дарования к лирической поэзии, что он сам уже слишком чувствовал и столько гордился, что сравнивал себя с Колумбом, открывшим Новый Свет. Отважных метафор, картин не доставало в Киабрере так, как в Пиндаре, но он не имел потрясающего чувства и заражен многоглаголанием; словом, он принадлежал к певцам од второклассным. Когда Италия имела сего мнимаго своего Пиндара, явился италиянский Гораций, который к действительному Горацию так содержится, как Киабрера к Пиндару, т. е. Gwidi, подражавший Горацию, но не достигший его духа (Geist). Гвиди помрачен был Фульвием Тести (Testi), старавшимся перенять у Горация речение (diction) и меру стоп, но ему недоставало тонкости вкуса и свободы духа. С XVIII столетия италиянцы много потеряли той силы, которая необходима для певца од.

Испанцы, при всей силе и крепости ума, ничего чрезвычайного не произвели в области од. Louis de Zean, человек духовной, был из первейших испанских (л. 77) певцев од. Но его чувство подавлено было игом инквизиции. И португальцы имеют своего Горация — Antonio Fereira. Они называют одою все классическое, так что подражание анакреонтическим песням пожаловали в оды. В новейшие времена, когда португаллы упали нравственно и политически, явился певец од — Francisco Manuel don Limento, который в творения свои пролил поразительную крепость языка, патриотизм и вольность духа.

Рассмотрев собственно так называемую оду, коснемся кратко лирических стихотворений, сочиняемых для пения с музыкою. Чувствия, изображаемые в сих стихотворениях, гораздо тише, нежели в одах, и по большей части не столь высоки.

Кантата есть важнейшее из сих стихотворений, изобретенная италиянцами в XV веке, а потом принятая и другими европейцами. Излияние движений сердца есть главный предмет кантат, которые по различию своего содержания разделяются на драматические, в коих чувствования бывают возбуждаемы совершающимся в то же время действием, и на эпические, коих содержанием бывает или происшествие, или какой-нибудь предмет, или что-нибудь страстное. Первые употребляются в операх.

Опера не есть изобретение одной Италии, как некоторые думают, но она во многих отношениях есть подражание греческой трагедии. Там также разговоры сопровождались музыкою, как и в ней речитативы, только известными тонами. Долгое время опера была забавою только дворов при торжественных случаях, но ныне уже сделалась народною. Опера есть живое царство поэзии; в ней представляются сражения, победы, торжества, пещеры, бури, молнии, громы, бездны и пр., или приятные рощи, долины, журчащие источники, цветущие луга, класы, зефиром колеблемые и пр. В ней находят на землю облака, летают гении, являются привидения, поют птицы, раздается эхо и пр. Словом, видишь пред собою волшебный, очаровательный мир и не чувствительно познаешь свое величие. После столь великолепной оперы находишься в (л. 77 об.) столь сладком упоении, что нередко забываешь все неприятности жизни. Нигде не можно лучше и пристойнее выразить высокие сильные оды, сопровождаемые арфою во бессмертную память героев отечества и в славу государей, как в опере на театре. Трагическая опера обыкновенно почерпает свое содержание из языческой мифологии, древней и средней истории. Лица ее — боги, герои, рыцари, богатыри, феи, волшебники и волшебницы, у нас же — из славянского баснословия, сказок и песен древних народных.

Сочинитель оперы тем только отличается от трагика, что смело

уклоняется от естественного пути и даже совсем его выпускает из виду; ослепляет зрителей частыми переменами, разнообразием, великолепием и чудесностию приводит в удивление, несмотря на то, естественно или неестественно, вероятно или невероятно. Песни или самые оды для хоров, когда бы пристойность и случай позволили петь их, должны быть ненадуты, просты, сильны живым, наполнены чувствованием. Комический оперист обыкновенно заимствует содержания свои из романов, из общежития, шутит благородно, более мыслями нежели словами, избегая площадного. Италианцы обильны трагическими и комическими операми, а французы — более последними, особливо маленькими, так называемыми у них опереттами. У нас важных опер почти и нет, но комических находится несколько в сочинениях Сумарокова, Княжнина, Хераскова, князя Горчакова, Шаховского, Попова и прочих. Но всем им предпочитается «Мельник» г. Аблесимова, по естественному плану, завязке и простому слогу.

Ораториею называется пространная кантата, имеющая содержанием что-нибудь священное, или почерпнутая из священной истории. Она следует во всем общим правилам кантаты, (л. 78) исключая, что слог стихотворства и музыки в сем творении бывает важнее и выше соразмерно содержанию оной.

Третий род лирических стихотворений составляют романические песни провенциального изобретения. Теория сих стихотворений неразлучно кажется сопряжена с их историей. Поэзия сия родилась в XII в., в то время, как младенческая сила младенческого воображения опять пробудилась. Ода не могла получить свое начало за недостатком в понятиях и свободы духа. На место ее поступила canzone. Слово сие означает то же, что и греческое ода — ode, но канцона не есть ни ода, ни песня, но романическое, торжественное пение (Gesang) в длинных строфах. Не простонародна, как песня, и не возвышенна, как ода, не имеет лирической отважности, богатства мыслей, ниже силы наречия. Так родилась канцона в школе трубадуров и вдруг принята была всеми первыми италиянскими стихотворцами и облагорожена. Данте еще более образовал ее; Петрарк довершил. Сему последовали все позднейшие творцы канцон. Итак для определения канцон надобно иметь пред глазами образцы ее. Судя по Петрарку, к существу канцоны принадлежат прекрасный, благозвучный язык, избыток роскошных (üppig) слов, живописные описания, пышные выражения, длинные периоды. Везде противное оде. Род стихов имеет нечто сходное с Пиндаровым, но различен по духу языка. Канцона имеет длинные строфы и наибольшую мелодию рифм, на место мелодии греческого ритма. Вообще канцона отличается от оды мягкостию. Сочинитель ее делает в конце обращение к сочинению. Наилучшие канцоны большею частию имеют предметами мечтательность любви. Но есть и героические, дидактические, елегические. Смотря по различию их чувствований и канцона получает различный тон, но вообще она имеет более нежности и любезности, нежели величия (л. 78 об.). Петрарком столько усовершена канцона, что последние канцонисты немного прибавили к красотам ее. Петрарковы особливо известны три Canzone Sorelle. Первые две подлинно неподражаемы и научают истинному характеру канцон. Действительных успехов канцона не сделала по Петрарке. Все наилучшие канцонисты из XVI в. причисляются к школе Петрарка. Между творениями Тасса находятся изрядные канцоны. Вообще канцона по сонете была первым любимым стихотворением в Италии.

Испанцы и португальцы также оказали не малую услугу обработанием канцон. В первой половине XVI столетия Boscau первый ввел ее

в употребление. После она заступила место оды. В XVI столетии и во Франции делали канцоны, но холодные, не заслуживающие никакого внимания. В английских некоторых одах присутствует дух италиянских канцон. С канцоной сопряжен также сонет (сказано в статье о мелких стих.) провенциального изобретения. Италиянцы переняли его у провенциалов и с удивительным пристрастием им занимались.

Романс есть также изобретение провенциалов. Романс близок к песням, но отличается от них своим содержанием. Руссо и Мармонтель пишут, что романс есть жалостное повествование о каком-либо любовном несчастно окончившемся приключении. Растроганное жалостию сердце и невинное простодушие стихотворца составляют собственное достоинство, а возбуждение тех же чувствований в душе других есть цель романса.

Баллады по своему содержанию принадлежат к поэзии повествовательной, а по своей форме должны быть причислены к лирической. Известно, что каждая из баллад может быть положена на музыку и пета.

4) К четвертому классу лирических стихотворений относятся э л е г и и. Чувствительное сердце, огорченное несчастиями собственными или других, находя некоторое как бы облегчение в том, чтоб излить из себя угнетающие чувствования горести, изобрело для сего сей особливый ход стихотворения; но со временем нежные (л. 79) и даже веселые ощущения сделались содержанием элегии.

Nescibus impariter junctus quaerimonia primum
Post etiam inclusa est vote sententia compos.

(Horat. ad Pisonem).

Елегия от прочих лирических стихотворений отличается двумя особенными качествами, т. е. она ограничивается изображением двух родов чувствований — радости и печали: «Elle peint des amants la joie et la tristesse». (Boil[eau], Art poétique). Елегия в древнем смысле есть отделенная местная картина (Situatonsgemälde). Стихотворец сам изливает чувство свое как лирик, не поставя себя в известное местоположение и относя все к оному. Елегия позволяет себе лирические и дидактические размышления, подобно канцоне отличается мягкостью, нежностию, равномерно разливается в роскошных описаниях. Все, что приводит сердце в необыкновенное явление[1], все, что его изумляет, или терзает,— отнюдь не свойственно елегии; самые ощущения любви, составляющие более всего оной занятие, когда они насильственны и жестоки, бывают содержанием более трагедии. Напротив сего, печаль и радость тогда токмо бывают предметом елегии, когда уже пройдет первый их, так сказать, пыл, когда они сделаются тише и спокойнее, когда они совсем как бы погаснут и только при их воспоминании рождаются в душе одни более услаждающие, нежели волнующие ее ощущения. Посему изображением печали привести другого в подобное состояние, заставить его предаться приятной некоторой задумчивости, свойственной душе чувствительной, или изливая радость, упоить его нежностию, есть цель и главное достоинство елегии. Вообще в елегии должно говорить сердце стихотворца: Il faut que le coeur seul parle dans l'élegie. Отзывающиеся или некоторым возвышением духа, или сильною страстию, или игривою живостию воображения мысли, описания и пр. совсем несвойственны елегии. Она не имеет отважных полетов лирического воображения и даже может перейти в комиче-

[1] Так в подлиннике.

ское. Легкость, простота, простирающаяся до некоторой степени, небрежность, но наипаче искренность составляют важнейшее свойство елегии; притворство должно быть совершенно из ней изгнано.

Древние, кажется, имели три рода елегий: елегию сладострастия (Wollust), любви и печали. Первый род был иногда смешиваем со вторым. Елегия любви была меланхолическая, однакож принимала многие другие чувствования, напр., сельскую радость и пр. Судя по сему понятию, новейшие совсем не имеют елегии, исключая разве с намерением (л. 79 об.) делаемых подражаний греческим и римским. Из древних греческих стихотворений известны под сим именем только Тиртеевы военные песни, вероятно, получившие сие название от известной метрической формы, [но] ничего не имеют общего с позднейшими елегиями. Они различаются от прочих лирических стихотворений лишь родом стихов. Вскоре по Тиртее многие греческие лирики прославились елегиями, которые впрочем до нас не дошли; напр., от Мимнерма достались нам лишь некоторые отрывки, елегии же Каллимаха и Филета нам известны только по тому, что древние оказывали к ним уважение, и по великим похвалам, каковые приписывают им лучшие критики древней словесности. И вообще касательно истории греческой елегии мы ничего не знаем, разве из подражания римлян. Тут имели они гораздо более счастия.

В прекраснейшие времена римской поэзии жили: Катулл, Овидий, Тибулл и Проперций. С самого начала в елегиях воспеваемы были, как и ныне, различные предметы, как то: боги, возвращение друга, или день его рождения или, как говорит Буало, она рыдала над гробом. Лучшая в сем последнем роде есть елегия Овидиева на смерть Тибулла. В елегиях нереко воспеваема была любовь счастливая или злополучная. Греки и римляне употребляли особенного рода стихосложение в елегиях, лучшее пятистопные стихи с шестистопными. Наши же поэты пишут ее шестистопными ямбическими.

Катулл.— 12 отрывков, писанных в превосходном вкусе, наполнены, приятностию и естественным слогом поместили Катулла в число любезнейших поэтов. Отрывки сии суть небольшие сочинения, в коих каждое слово драгоценно, но ни одного из них в настоящей силе нельзя ни из'яснить, ни перевесть; чем более чувствуем приятность, тем труднее определить ее. Тот, кто в состоянии будет из'яснить прелестный взор, милую улыбку, поступь любезной красавицы, тот только в состоянии из'яснить и прелесть стихов Катулла. Любители его стихов знают их наизусть, и Расин часто говаривал об них с удивлением. Эпизод Ариадны, оставленной на острове Наксе, составляющий часть брачной песни Фетиде и Пелею, есть из числа тех немногих отрывков, в коих древние с великим искусством заставляли говорить любовь. Лучшею для Катулла похвалою служит то, что Виргилий в четвертой книге Энеиды, занял у него мысли, движения (л. 80), иногда выражения и даже целые стихи: Ариадна Катуллова послужила украшением Дидоне Виргилия. Книга его, посвященная Корнелию Непоту, не содержит в себе и 100 страниц, но Катулла соделала бессмертным. Можно ли обвинять его, что он не писал больше?

Проперциевы елегии дышат, так сказать, пламенною любовию, а иногда сладострастием. Овидий, говоря об елегиях «Огни Проперциевы», весьма хорошо изобразил его свойство в сем стихе: saepe suos solitus revitare Propercius ignes. В Проперции способ сочинения и образ чувствования совершенно древние, в нем приметна гениальная смесь торжественного с шуточным. Он веселонравен (muthwillig), остр, даже до епиграмматического, не исчерпаем в счастливых мыслях и оборотах. Проперций обходится с любовию как с игрушкою, однако не

теряясь в болтаньи. Он — один из остроумнейших поэтов и труднейших для подражания. От всех эротических поэтов отличается он особенно тем, что воспевал одну токмо свою любовницу. Весьма часто повторяет он Кинфии, что она будет единственным предметом стихов его и в точности сдержал слово. Впрочем, если судить о Кинфии по сделанному ее Проперцием описанию, то она не заслуживала большей верности. Никогда и никакая женщина столько не мучила и приводила в отчаяние любовника, и никогда не было любовника столь несчастливого, который бы жаловался так много, как Проперций. И сие то самое делает сочинения его наиболее привлекательными, поелику описание несчастий возбуждает великое сострадание.

Овидий.— Сочинения и несчастия Овидия равно прославили имя его. Потомство наслаждается одним, но причины других и по сие время отыскать не можем. Ссылка его есть тайна — и любопытство, желая проникнуть оную, истощило все свои силы, но бесполезно. Овидиевы элегии, писанные в златое время римской поэзии, ни чуть не преимущественные из его творений; все они, исключая третьей елегии, посредственны. В них к единообразию предмета присовокупляется единообразие слога: чувствительности в них очень мало, а ума слишком много. Конечно, елегии его лились из сердца, но без пиитического духа. Он жаждал возвратиться в Рим и всяческою лестию старался преклонить Августа на милость. Овидий более воет (wimmert), нежели печалится, (л. 80 об.) более женски, нежели мужски сетует. Он был от природы одарен легким и плодовитым гением, веселым и сладострастным воображением и, как говорит Мармонтель:

«Enfant gâté des Muses et des Graces,
De leures trésors brillant dissipateur
Et des plaisirs savant législateur».

Следовательно, он имел гораздо более способности к живейшему изображению сладострастия, нежели несчастия. Овидиевы елегии подали повод новейшим иметь ложные понятия о сем роде стихотворения. Плач, вой, сетования, облеченные в траурную одежду, выдавали себя за елегии. Особливо сетующая любовь носила на себе сие название. Если бы судить по нынешнему понятию, то канцоны Петрарка надлежало бы причислить к елегиям. Некоторые из Овидиевых елегий, адресованные к известным особам, носят на себе другое название Expistolae ex Ponto»; но ничем не различаются от елегий печали. Прямой поэтической характер Овидия открывается во всей силе в его «Превращениях», занимающих знаменитое место между прекраснейшими произведениями древности. Елегии сладострастия, наименованные Овидием Ars amandi, исполнены редчайших, легких римски-роскошных местных и остроумно отделенных картин, они им сочинены в юности и выказывают весь жар и всю живость возраста, в котором он написал оные. Пусть они не имеют ни чувствительности, ни красоты, ни краткости Тибулла, пусть в них нет страсти Проперциевой, пусть в них часто повторяются одни и те же мысли, а иногда встречается безвкусие, но зато сколь много исполнены они прекрасных и замысловатых мыслей. Какая точность в прелестных изображениях и душевных движениях, всегда любезных! В них видно, как Овидий откровенно любит удовольствия и забавы! И вот сего то недостает многим сочинителям, желавшим подражать ему, вероятно, забывшим, что нельзя иметь того, чего лишила нас природа. Буало остроумно сказал:

«Chacun pris dans son air et agréable, en joi,
Ce n'est que l'air d'autrui qui peut deplaire en moi».

В первой книге своих любовных похождений Овидий рассуждает о выборе любовницы, во второй — о средствах нравиться и надолго сохранять ее любовь, но вообще, надобно сказать, во всей его поэме находится все, (л. 81) выключая любови; вообще Овидия можно упрекнуть также в ложном блеске, в игре слов, неправильных мыслях и излишестве украшений. Итак, Овидий, занимая место после Виргилия, Горация и Тибулла, сими, образцами совершенства, знаменовал первую степень падения словесности у римлян, потому что не имел довольно строгого вкуса и недовольно обрабатывал свои сочинения. Со стороны нравственности Овидий в своих сочинениях, как некто из французских поэтов сказал: «alarme un peu l'innocence». Впрочем любители отвлеченностей, блуждая по роскошному лабиринту «Превращений», не скажут ли: бессмертен Овидий! Из любви к нежной его музе переносимся мыслию в Томы, находим его гробницу, и вспоминаем как наказание несоразмерно с преступлением. Будучи убеждены в его невинности и чувствуя всю тяжесть несчастия, не можем не уронить над ним слезы и не произнести над прахом его в последний раз тех слов, кои оставил он нам для своего воспоминания «Nasonis mollites cubent» — покойся милый прах Назона! И сей жертвы довольно будет для истлевших костей бессмертного Овидия.

А. Тибулл из всех древних поэтов есть единственный, коего образ чувствования так сопряжен с романическим, что мог бы легко почесться поэтом новейших времен. Его поэзия имеет нечто мечтательное и сантиментальное, чего тщетно б кто стал искать у других поэтов древности. Его мечтательное чувство любви поразительно, все предметы отделаны им с мечтательною тонкостию (délicatesse). Его живейшее чувство к сельской жизни везде обнаруживается. Его наречие дышет удивительною нежностию и приятностию. Словом, у Тибулла только научиться елегии любви. В Тибулле гораздо менее любовного огня, нежели в Проперции, но зато он нежнее и разборчивее. Слог его чрезмерно легок, вкус чист, сочинение без всяких погрешностей. Он имеет такую приятность в выражениях, которую никакой перевод изобразить не может: его могут понимать только сердца чувствительные. Приятное согласие наполняет душу самыми сладостными ощущениями, сочинения его есть книга любовников. Французский поэт Шолье (Chaulieu), последователь Овидия и певец (л. 81 об.) непостоянства в любви, так говорит о Тибулле в своем послании к аббату Куртину:

«Tibulle était si bon
Que je crois qu'il aurait du maître
Sur le rivages du Lignon.
Et qu'on l'eut placé là peut-être
Entre la Fare et Céladon».

Любовники всегда должны обращаться к Тибуллу, читать его стихи, ибо, читая их, всякой скажет сам себе: счастлив человек, имеющий нежное и пылкое воображение, соединяющий вкус нежных наслаждений с дарованием изображать оные, проводящий праздные часы свои в изображении минут восхищения и достигающий славы, воспевая свои удовольствия! Так и отдаленное потомство с особенным удовольствием внимает Тибулловым рассказам о его мечтаниях и услаждениях, внимает его песням, наполненным приятностями, коими он наслаждался в своей жизни, песням, кои, кажется, были писаны для покоющейся любви и для слуха искренней дружбы.

NB. Каких же редких удовольствий лишены не сведущие в древних языках!

Между новейшими в италианской словесности первый и последний елегической поэт Ариост. Его Amorosi Capitoli суть, конечно, подражания Проперцию, но первые из новейших, исполненные чувства и приятных, любезных шалостей, легкие и красивые, хотя, правда, многоречивы и исполнены недостатка в мыслях. Кроме Ариоста, все прочие писали неудачно.

Элегии испанцев и португальцев принадлежат ко другому роду лирических стихотворений и переходят в тон посланий (épitres). Между твореними Камоэнса находятся некоторые, исполненные чувства. У французов между твореними Клемана Маро есть некоторые елегии. Но Segrais особенно заслуживает примечания. Впоследствии французские елегии перешли в послания и героиды. В англинскую словесность введена елегия еще в XVI столетии, но англинчане не попали на истинный смысл древней элегии. Они разумели тихое, исполненное чувства печальное стихотворение. В Поповых твореннях (л. 82) находится одно сочинение, относящееся к елегиям, предметом стихотворения служит смерть одной молодой женщины,— мастерское произведение. Но Ченстон, подражавший Тибуллу, соединил в елегиях мечтательность любви с чувством к сельской жизни, с прекраснейшими описаниями. Но Грей отличился в другом роде елегии, он образовались по классиком[1], был восстановителем философской елегии. Все его елегии сделались любимыми стихотворениями всей Европы, они почти единственны, ибо все подражания не удались.

О героиде.

Героида есть письмо, или послание о несчастных приключениях, соединяемых с любовною страстию. Самое название оной показывает, что она относится некоторым образом к высшим лирическим твореним; в ней действующими лицами должны быть герои, люди, чемлибо себя прославившие. Она пишется не от имени сочинителя, а от одного известного знаменитого лица к другому такому же. Пиитический характер героиды,— говорит Буттервек,— почти один с характером элегии, язык и слог в обоих родах стихотворений совершенно равны. В героиде обыкновенно употребляется стих шестистопный. Она требует слога высокого, в котором бы любовь, досада, стыд, ревность, печаль и отчаяние живо изображены были. В героиде разум покоряется чувствам, и все мысли уступают той страсти, которая изображается в словах представляемого автором героя. Прежде Овидия сей род не был известен ни грекам, ни римлянам. Он первый вздумал писать поэтические письма, исполненные елегического чувства, именем женщин к их мужьям и назвать их Heroides. Лучшими из оных почитаются: Пенелопа к Улиссу, Дидона к Енею, Сафо к Фаону, Парис к Елене, Ариадна к Тезею и пр. Сам Овидий так об них судит: «Я хочу,— говорит он,— хочу, чтобы страстный и пораженный, (л. 82 об.) подобно мне, острейшими стрелами любовник нашел в их сочинениях весь огнь, снедающий сердце его, и чтобы в исступлении вскричал: кто научил сего стихотворца с такою точностию изображать мои несчастия».

[1] Так в подлиннике.

Введение в эстетику[1].

(л. 83) Поелику главный предмет эстетики состоит в том, дабы найти постоянную точку зрения, из-под которой бы, независимо от всех метафизических понятий, можно было из'яснить чувствование изящного и сообразно с оным об'яснением положить основательные правила к суждению об изящном, или прекрасном в природе и в искусстве, то на сей конец, предложив краткое понятие об изящном, рассмотрим мнения древних и новых писателей об оном.

Краткое понятие изящного с приложением мнений об оном древних и новых писателей.

Надобно быть весьма хладнокровным, чтоб при воззрении на вселенную не чувствовать красоты, повсюду царствующей. Начиная от бесконечно великого предмета, образующегося в сокровенной области природы, везде встречаются свои красоты. Обратим ли взоры на землю, видим расцветающие долины; они занимают нас приятным образом; посмотрим ли на рощи, с зеленью коих смешиваясь лучи солнца, представляют прелестное зрелище; взглянем ли (л. 83 об.) на обширность моря, на величественное небо, во всех сих живописных положениях нежное чувство найдет для себя красоту и удовольствие; и если рассматривание сей обширной, но бесчувственной картины возродит желание наслаждаться в другом кругу природы, если обратиться к одушевленным существам, так приметим движение и жизнь. Новое совершенство! Новая красота!

Каждая мелодия утреннего певца, пробужденного авророю, вливает в душу приятные восторги. И, наконец, каждое прекрасное создание, произведенное для того, дабы оно служило первым украшением в кругу существ, одаренных жизнью, останавливает на себе взор, коего прелести очаровывают нас более, нежели другие предметы. Природа исполнена прелестей!

Но от чего же происходят сии приятные чувствования, если не от того, что везде разлита красота, вдыхающая в нас тайное удовольствие, происходящее от созерцания порядка, разнообразия, соразмерности, положения и смешения цветов. Все сии красоты ни мало не зай(л. 84)мут какого-нибудь дикого ирокезца и бедного поселянина, подавленного нуждами; один токмо истинно образованный человек внутренно привязан к природе, он токмо один, с чувствительным сердцем, с пылким воображением и с наблюдательным умом, предназначен быть зерцалом величия и красот, встречающихся на каждом шагу в природе.

Румяная заря, возвещающая земным тварям приход дневного светила, исчезающие мало-по-малу в небосклоне огни, первые лучи, упавшие на горящие верхи грозных башен, радостные трели пернатых, томная свирель, прерываемая иногда лаем псов, веселые песни мирных поселян при свежем дыхании ветерка, разносящего в воздухе благовонные частицы спящих цветов, суть такое целое, в котором

---

[1] Над этим заголовком рукой Горчакова сделана пометка: «Темна вода во облацех воздушных. Давид Ак. 3, пс. 17, стих 12». Это выражение взято в качестве эпиграфа из псалма 17, который приведен в большем отрывке автором этих лекций в качестве одного из примеров в главе «Различие высокого от поразительного» (л. 122). При опубликовании настоящих лекций вся выдержка из псалма опускается.

повсюду кроется взлелеянная руками природы красота. Пусть такое целое во всем блеске представится взорам того, кого природа не устыдилась (л. 84 об.) назвать своим любимым творением, оно наполнит душу его тихим умилением. В пламенном исступлении он скажет вам: это прекрасно! Покажите потом утомленным его чувствам божественную красоту, угасшую в лице покоющейся небесным сном святой, благословенной девы, обратите взор его на лепоту окружающих царицу неба жителей небесных, сие зрелище по чувству христианского благочестия возвысило бы душу его до высочайшей степени благоговейного умиления. Но чувство красоты, смирения и непорочности небесной увлечет его по следам воздушных путников за пределы миров сотворенных, дух его с радостию оставит вас, но с горестию к вам возвратится [1].

Так человек, как чувственно-разумное существо, кроме потребностей ума и сердца, имеет потребность эстетическую. Удовлетворение первых ни мало не мешает ему, хотя с большим трудом, удовлетворять последней. На каждом пути он может находить сладчайшую пищу для первых, но для по(л. 85)следней — токмо в области прекрасно[го]. Все, что занимает эстетическое чувство и вместе удовлетворяет эстетической потребности, правильный вкус образованного называет прекрасным или изящным.

Но чтоб судить об изящном, для сего надлежит согласиться в понятии оного и рассмотреть все мнения об оном древних и новых эстетиков. Хотя многие [эстетики] почитают бесполезным трудом исчислять и разбирать все из'яснения изящества в древние и новые времена, но разбор оный подает нам способ, если не определить, по крайней мере, из'яснить и описать изящное.

А. Мнения древних.

1) Платон (см. его Гиппиаса и Федра) говорит, что «красота есть вещь самостоятельная, что она существует в недрах божества, что она есть тот великий образец, по которому творец мира устроил вселенную, что если бы мы могли увидеть ее, то она произвела бы в нас такое впечатление, какого ничто (л. 85 об.) на земле произвести не может». Но сии из'яснения Платоновы выказывают в нем более метафизика, нежели эстетика. Из его понятия о красоте нельзя понять, как произведения природы и изящных искусств возбуждают в нас ощущение изящного.

2) Аристотель полагал изящное «в определенной величине и порядке. Животное,— прибавляет он,— безмерно великое или весьма малое нельзя назвать изящным». Хотя величие и порядок производят чувство красоты, но одни они недостаточны. Поэма, имеющая величину и порядок, не будет изящною. Следовательно, Аристотель понятиям частным дал общее знаменование.

3) Св. Августин имел гораздо обширнейшее понятие об изящном, нежели его предшественники. По его мнению, красота состоит в сообразности частей с целым, в единстве. Но к сему, в некоторых отношениях справедливому определению, прибавляет он, подобно Платону, мечтательные мысли, говоря, что ничто в природе не дает нам понятия о красоте, (л. 86) что совершенный ее образец неизменен, вечен. Вот все, что оставили нам древние писатели о сем предмете. Потом несколько столетий никто об нем не думал, и уже токмо в 1714 году лозанской профессор Крузас издал сочинение об изящном.

[1] Так в подлиннике.

В. Мнения новых.

Их можно разделить на пять классов:

1) Крузас и за ним Зульцер, Мендельсон, Мейнерс и большая часть немецких эстетиков возобновили мнение св. Августина, сказав, что изящное состоит в единстве целого при разнообразии частей. Но не видим ли множество предметов, подходящих под сии признаки, но не могущих назваться изящными? Не видим ли во всех животных единства с разнообразием, а сколько из них прекрасных?

2) Гутчесон полагал ощущение изящного в шестом чувстве, но опыты антропологии не открыли еще в человеке шестого чувства.

3) Вольф и Баумгартен полагали изящество в совершенстве, но совершенство вещей непостижимо и известно одному только богу. (л. 86 об.) Следовательно, не знав сущности совершенства, нельзя узнать и изящество.

4) Некоторые под изящным разумеют все, что чувства и силы наши занимает соответственным и легким образом. По сему очень неограниченному определению малабарец — длинные уши, китайские женщины — маленькие ноги, арабы — черную кожу, толстые губы и расплюснутый нос могут почитать красотою и изяществом.

5) Энциклопедисты полагали, что отношение и обстоятельства предметов делают их изящными. Следовательно, по их мнению, один и тот же предмет может быть прекрасным и дурным.

Читая, напр., наилучшие стихи Державина и Ломоносова, смотря по расположению духа, можно слабее и живее чувствовать красоты сих стихов. Но могут ли они чрез то потерять свое изящество. Из сего видно, что все теории прекрасного, как древних, так и новых писателей были кончены об'яснением без определения оного. Законы чувствований еще не все нам известны. Пусть тонкие умы, родящиеся для великих предназначений, составят новое наречие, на котором бы науку чувствовать можно было[1], (л. 87) изложить с логическою тонкостию! Хотя правда, что изящное тем более нравится нам, тем более занимает нас, чем понятие его неопределеннее, впечатления невразумительнее, но, чтобы сколько-нибудь приблизиться к об'яснению и определению изящного, рассмотрим действия всех наших чувствований.

Мы видели, что большая часть эстетиков согласны в том, что изящное должно быть чувствуемо. Баумгартен и сам, может быть, не ведал, как кстати он сию науку назвал эстетикою (estethica). Сим названием она различается от всех прочих наук. Чтоб чувствовать прекрасное, для сего недовольно иметь все чувства здоровые, но наипаче — чувствительное сердце. И потому есть много ученых, лишенных чувства к прекрасному; чувство и чувствование не надобно сливать между собою. Чувство значит некоторое состояние души; чувствование есть впечатление, возбуждающее чувство. Все чувствования наши разделяются на две главные части: на чувствования физические и душевные. Чувствования физические имеют свое основание в нашем организме (л. 87 об.) и не касаются мысленной силы, поелику они не имеют нужды в ее помощи. Как можно, напр., смешать чувство зрения, или слуха с нравственным чувством доброго, или с умственным чувством истинного? Душевные чувствования опять разделяются на нравственные, умственные и набожные. Есть чувствования, проистекающие из одного разумения, и потому называются умственными, что бывает, когда ум наш занимается открытием какой-нибудь истины. Есть чувствования, проистекающие из сердца, и называются нрав-

[1] Так в подлиннике.

ственными, как то: любовь и почтение. Наконец, набожные чувствования не касаются одной религии, но вообще имеют место, когда ум наш погружается в размышление о начале существа. Итак, чувствование изящного должно быть или одним каким-нибудь из всех оных, или всеми вместе.

1) Оно не может быть одним физическим, в таком случае эстетика была бы продолжением физиологии, и правила для вкуса почти также можно бы было основать как естественная история определяет пищу для каждого рода животного.

2) Если принять чувствование изящного, вместе с Гутчесоном (л. 88) и другими, принять за нравственное чувствование, в таком случае нравственная философия заступила бы место эстетики. Цена вкуса измерялась бы добротою сердца, и один добродетельный человек был бы наилучший эстетик.

3) Умственным также не может быть чувствование изящного, вопреки Канту и другим. Тогда все, что прельщает и трогает, должно быть исключено из чувства прекрасного. Но чтобы удовлетворить один холодный вкус разума, для сего не нужно бы было никакого одушевления, без которого не существовал бы ни Юпитер Фидиев, ни Аполлон Бельведерский. Да и что бы осталось творческого в прекрасных стихотворениях древности и времен новейших, если бы отнять у них, что трогает и пленяет!

4) Набожные чувствования, кажется, наиболее приближаются к чувству прекрасного или изящного. По крайней мере, греческая красота обязана своим началом их баснословию. В новейшие времена при разделении кафолицизма от протестанцизма некоторые остались на стороне первого, потому только, что кафолическое исповедание более стихотворно. Как бы то ни было, но и набожное чувствованиѐ одно не может быть исключительно прекрасным, ибо есть много прекрасных произведений, не имеющих никакой с оным связи.

Вероятнее всего, что сии различные чувствования более или менее (л. 88 об.) сливаются вместе и возбуждают чувствования прекрасного, как то в Аполлоне Бельведерском. При первом взгляде родятся физические чувствования посредством наших глаз; благородная гордость, написанная на челе, сообщает чувствование нравственное; мера, во всем наблюденная, и окружность требует сведений математических и, следовательно, производят чувствования умственные. Образ человеческий, сколько можно возвышенный до божественного, исполняет чувства благоговения и страха, следовательно, чувства набожного. Корреджиева Ночь, столь славная своим тьмосветом, преимущественно внушает чувство набожное; то же самое чувство осеняет Клопштокову Мессиаду. Другие же стихотворения дышат чувствованиями то физическими, то нравственными, то умственными и пр.

Все сие доказывает, что в уме великих артистов и поэтов более или менее сливается физическое с нравственным, нравственное с умственным понятием прекрасного. Отсюда также не трудно понять, почему некоторые благонамеренные почитатели изящных наук называют их artes humaniores.

По крайней мере, если мы хотим избрать постоянную точку для наших исследований, то должны оставить все сии самопроизвольные предположения; сия постоянная точка есть человеческое чувство. Но сие чувство, поколику человек находит себя привязанным к природе, есть чувство при(л. 89)родное; поколику же, как мыслящее существо, возносится превыше природы, есть чувство идеальное.

Об отношении изящного искусства к природе.

Чувство природное в отношении к чувству идеальному можно назвать Корреджиевым тьмосветом. Там, где начинается свет, все еще продолжается тень, так они неприметно сливаются. Подобным образом природное чувство все еще продолжается и там, где уже начинается область идеального чувства, скажу более: где исчезает природное чувство, там перестает быть идеальное, и заступает его место мечтательное. Мечта есть также плод природы, но плод несчастный, чудовище с ужасом материю отвергающее. Идеал есть плод природы счастливый, лучший самой материи, хотя впрочем на нее похожий.

Искусство старается или сравниться с природою, или превзойти ее. Предложение Аристотеля, будто бы искусство подражает природе, так как она есть, опровергается последним; предложение же г. Бате, будто бы она подражает только лучшей природе, опровергается первым. Ибо часто природа худшая служит образцом искусству, которое производит нечто лучшее или, так сказать, облагораживает оный. Итак, есть изящное искусство естественное, которое так относится к природе, как копия к образцу.

Об отношении эстетики к умозрительной философии.

(л. 89 об.) Как, с одной стороны, идеал ведет скользкою дорогою к мечте, так, с другой стороны, истинный натурализм нередко сбивает на путь ложного. Немецкий театр, обольщенный Лессингом, заражен последним пороком. В обоих случаях должен присутствовать разум, однакож так, чтобы только руководствовать чувства, ни мало не порабощая оные. Ибо одно раздельнейшее произведение, лишенное чувства, не может быть прекрасно. И здесь то эстетика различается от умозрительной философии. Эстетика, как и все прочие науки, сливается с философиею, или со всеобщею наукою знаний, одним только началом. Произведение сего начала может назваться философиею той науки и потому то и эстетика в необыкновенном смысле называется философиею изящного. Изящное, как понятие, взято из философии, но теория эстетики не есть самая эстетика, подобно как просодия не есть самая поэзия, или как философия ботаники не есть самая ботаника. Пусть метафизики принимают философию эстетики за самую эстетику, желая здравый вкус подчинить своим системам. Эстетика, или всеобщая наука вкуса, не требует в своем кругу никакой выспренной философии; начало ее основывается на непосредственном сознании известного чувствования, которое, как чувствование, всегда остается одним и тем же, вопреки метафизикам, которые возможность оного выводят различным образом. (л. 90) Итак, вся задача эстетики состоит в том, чтобы найти постоянную точку зрения, из-под которой бы независимо от всех метафизических понятий, можно было об'яснить чувствование изящного и сообразно с оным об'яснением положить основательные правила к осуждению о прекрасном в природе и искусстве. На сей конец многие избрали изящные пути, которые можно разделить на два главные: a priori et a posteriori или на эмпирической и на умозрительной.

План эстетики.

Многие превосходные писатели, желая содействовать к образованию вкуса, избрали эмпирической путь и разбирали произведения искусств, выводя оттуда всеобщие правила вкуса, так что эмпирическая эсте-

тика есть не что иное, как разбор произведений искусства. Но таким образом невозможно отыскать начала, которое бы послужило правилом для всех будущих изменений гения, и притом же нельзя показать содержания[1] изящного в природе к изящному в искусствах. Сим образом выходит одно собрание замечаний, которые могут быть прекрасны, но не всеобщи. Мы получаем одну отрицательную критику, которая только-что предостерегает нас от недостатков или погрешностей подобно Буалову искусству стихотворения. Эмпирическая эстетика бродит слепо и, так сказать, ощупью, заражая нас пристрастием. (л. 90 об.) Странно, что впрочем столь великой артист, каков Аристотель, первый подал к тому повод. В самых лучших драматических произведениях живших до него поэтов и его современников он прилежно замечал те места, которые всегда и всем нравились, и из сих наблюдений составил свои правила; следовательно, один только греческий театр служит образцом эстетическим его наблюдениям. Не разлагая грецизм[1] в обширном значении сего слова, он преподавал правила, впрочем прекрасные, но односторонние. Он остановился на чувствованиях, не стараясь открыть причины оных и не входил в исследование, во всех ли частях своего искусства пииты исполняли свою должность. Потому то ни пиитики, ни логики Аристотелевой не можно почесть полною теорию поэзии или витийства. Таковая Аристотелева односторонность причинила многие споры. Италианцы — одни старались дать преимущество Ариосту пред Тассом, другие — пред первым последнему, долго спорили, основываясь на том, который из них более или менее подходит под правила Аристотеля, между тем как они оба превосходные стихотворцы, только каждый в своем роде. Тот писал во вкусе греческом, другой в романическом, который совсем неизвестен был Аристотелю, но тем (л. 91) не менее открывает обширное поле для отменного искусства. Критики, после Аристотеля жившие, следовали по стопам его, делали новые замечания, прибавляли новые правила, но не открыли общего основания, на котором утверждены все изящные искусства.

Новейшие эстетики надеялись образовать вкус и дойти до понятия изящного умозрением так называемых душевных способностей, по пути умозрительному (a priori). Таким образом неистощимое понятие гения сделалось предметом их исследований. Неоспоримо, что эстетика, так, как наука, наиболее приближается к психологии. Многие психологические статьи, как то: об остроте, о гении и пр., входят в эстетику, но таковым умозрением так называемых душевных способностей мы получили многие полезные наблюдения, но при всем том существо изящности остается не открытым. Разбирая на мельчайшие части наш ум, мы не находим или не касаемся его стремления к изящности, а тут то особенно и лежит граница между психологиею и эстетикою. Самые даже психологические статьи не принадлежат особенно к ее области, но разве служат предисловием или преддверием.

Итак мы пойдем своим путем, не выводя с Аристотелем (л. 91 об.) понятия изящного из одних искусственных произведений, ниже с другими, отыскивая важность оного в метафизических отвлеченностях.

Сперва пусть нам предшествует всеобщая аналитика, или разбор изящного вообще и существенно различных родов и степеней изящности. Показавши, что произведения изящных искусств действуют на

[1] Так в подлиннике.

душу, возбуждая в ней приятные и неприятные чувствования, надобно исследовать начало оных чувствований, посредством наблюдений над природою души человеческой, или основываясь на умозаключениях философов. Все сие составит теорию изящных искусств. В практической части ее различные виды изящных искусств будут предложены и вместе определятся свойства и обширность каждого искусства, как то: живописи, музыки, ваяния и пр. Непосредственно затем покажутся разные направления таланта, природного и учения образованного вкуса,— главнейших пособий, служащих к усовершенствованию художника в его искусстве. Каждое искусство производит художественные работы, отличные одна от другой по существу их и по цели. Все таковые отличия должны быть описаны, так, напр., касательно живописи надлежит об'яснить различие между картинами (л. 92) историческими, аллегорическими, нравоучительными и в точности описать каждого вида отличительные свойства.

В том состоит целое содержание эстетики, науки, которая может подать помощь в изобретении, расположении и обработании его[1] предмета и которая для любителя может быть руководительницею в его суждениях и в то же время из удовольствия, доставляемого изящными искусствами, извлекать важнейшую пользу, для которой они существенно предназначены.

Эстетика, подобно всякой другой теории, основывается на весьма немногих простых началах. Два или три правила, разрешающие главные вопросы, составляют все основание эстетики. Ими определяются, с одной стороны, свойство эстетических предметов, а с другой — тот способ, или тот закон, по которому оные должны представляться разуму, и то расположение души, в котором находясь, она бывает способною принимать их действия.

ЧАСТЬ I

ГЛАВА I

Всеобщий разбор понятия изящного в природе и искусстве.

Здесь то мы наиболее приближаемся к философии как (л. 92 об.) нравственной, так умозрительной, равно как и к естественной богословии. Здесь то мы наипаче должны удалиться от обыкновенного понятия, каковое сопрягают с изящным или прекрасным в общежитии, но принимать оное согласно с языком знатоков.

У нас обыкновенно говорят: прекрасный дом, прекрасные книги, прекрасные развалины, прекрасные газеты. Что же такое сия красота, или изящность? Употребление языка, конечно, есть тиран; но надобно же быть какой-нибудь причине, почему одна вещь лучше, нежели другая. Не зависит ли это от порядка, от гармонии, от приличия? Но какой порядок в развалинах? Какая гармония в дикости дебрей? Ученые говорят: красота состоит в удобном расположении целого, которого порядок и стройность совершенно соответствуют его назначению. Но это красота философская, относительная к общему порядку вещей. Нам многое нравится прежде, нежели мы сами в состоянии дать себе отчет, почему оно хорошо, прежде нежели решим, на что вещь годится. Философ говорит: все то прекрасно, что полезно. Ах! какая разница! Можно ли тогда думать о пользе, когда чувства в очаровании. Поэзия, служительница вкуса, разумеет под словом изящного без сомнения что-нибудь другое. Эстетики замечают, что изящная

[1] Так в подлиннике.

природа в Фавне, Аполлоне, Венере и Диане не есть одна и та же, несмотря на то, что все сии божества составляют образцы совершенной красоты. В самом деле, частная красота изменяется беспрестанно, потому что (л. 93) она не составляет целого и управляется по отношениям. Что прилично Венере, то неприлично Аполлону, что прекрасно теперь, то нехорошо завтра. Какая очаровательница является всегда в одинаковом виде и наряде? И к чему в таком случае послужило бы все волшебное, неиссякаемое в переменах, искусство туалетов. И так надобно получить идею об изящном всеобщую.

Все состоит, говорят ученые, в удобном расположении, согласии частей. Но какое же сие согласие, из которого происходит изящное, и какие это части? Вот что отгадать нам должно. По уверению г. Бате качество предмета ничего не значит; будь гидра, скупой, набожный, ханжа, или Нерон, если они представлены со всеми чертами им приличными, то все они входят в круг изящной природы. Утешительные картины! Но пусть так; не изыскивая, принадлежит ли душа Нерона к природе изящной, спрашивается только: какие черты принадлежат прекрасному дереву? Почему живописец и поэт предпочитают старый дуб, обитый ветрами, полусгорелый, раздробленный громом, юному вязу, коего ветви образуют приятную беседку? Для чего проходите вы мимо великолепных палат, и останавливаетесь пред мрачными развалинами, или пред густым лесом, который ограничивает горизонт, или на берегу реки, уныло несущей волны свои в море?

Истинное совершенство собирает красоты, которые природа рассеяла,— говорит ученый. Вспомните Зевклеса; что он сделал, когда хотел (л. 93 об.) представить совершенную красоту? Может быть, он смотрел на какую-нибудь отличную красавицу, или, подобно Рубенсу, смотрел на свою возлюбленную, ибо в часы очарования, что может быть ее прелестнее? Нет, он влюблен был только в одно свое искусство, он из особенных красот составил идею о красоте совершенной: сия целая идея была образцом его Елены. Но пусть Зевклес собирал рассеянные черты красоты для составления совершеннейшей, то-есть правильной, красоты, и успел в этом; за сим каждой может спросить: что он разумел под совершенно правильною красотою, ибо мнения о красоте бесчисленно разнообразны: что для нас правильно, то для других неправильно. Греческая архитектура сменена была готическою, и та и другая почитались в свое время правильными. Утверждали некоторые, что все великое и чудесное составляет красоту. Ибо поэзия, по словам их, должна говорить душе, возвышать ее, и потому все обыкновенные вещи должны быть выключены из поэзии; но спрашивается, говоря сердцу, всегда ли непременно должно возвышать его великими идеями? Надобно ли изгонять из царства поэзии обыкновенные предметы, если они нас трогают и пленяют? Конечно, должно быть выкинуто все то, что оскорбляет наше зрение, и что нам прискучило; но есть самые простейшие, самые маловажные вещи, около которых обращается наше воображение тихо и беззаботно, и которые (л. 94) нравятся нам неизвестно почему. Если поэт умеет исторгнуть их из мрака, дать им приличное место, живописать их с приятностию, то, конечно, доставит нам новое удовольствие, не примешивая тут ни великого, ни чудесного. Скажите, что нам нравится в георгиках, в еклогах, в идиллиях? Обстоятельства все самые простые, выраженные пристойным образом, и самая сия простота составляет их прелесть.

И так, по каким признакам узнавать прекрасное или изящное? Эстетики заметили, что прекрасным предметом мы можем заниматься

при свободном расположении; и потому изящным предметом называется тот предмет, которым мы занимаемся, имея к тому свободное расположение. Под свободным же расположением надобно разуметь благородный образ мысли. Предмет, занимающий нас из удовлетворения какой-либо страсти или возбуждения чувства, общего нам с животными, не может назваться таким предметом, к коему мы стремимся с свободным расположением и, следовательно, не заслуживает названия прекрасного. Мы тогда только чувствуем свободно, когда возносимся выше земных пожеланий. Таким образом, в обширнейшем смысле занимает нас истинное, доброе и божественное, которые все три понятия называются прекрасными. (л. 95) Одни только предметы, относящиеся к к[ак]ому-либо из трех оных понятий, имеют для нас свободную занимательность и потому изящны. И так прекрасное находится или скрывается под сими тремя понятиями. При всем том понятие изящного, будучи только с тремя оными понятиями сопряжено, не есть ни то, ни другое, ни третие, а происходит из их смешения. Отсюда рождаются трудности и противоречия при определении изящного, которое разве может быть только об'яснено. Довольно того, что в том, что не есть человек, или что ниже человека, не может родиться чувство к прекрасному, для которого необходимым условием есть таинственное сопряжение естественного с разумным. Все, что отвращает внимание каждого, что разрушает священные правила истины и нравственности, чего не одобряет и чем не восхищается здравый вкус украшенного всеми совершенствами человека, сколько бы грубое чувство ни одобряло оного, вопреки гласу самой природы, ни в каком отношении не принадлежит к области изящного.

Об отношении изящного к совершенному.

Понятие изящного, вопреки Канту, сопряжено с понятием совершенного, ибо стремится к достижению оного, но не есть ни физически совершенное, ни одно умственное, ни одно набожное. Изящное, вопреки Баумгартену, не есть одно совершеное физическое, в противном случае одна совершенная физическая красота была бы единственно прекрасною. (л. 95 об.) Если его отнести к разуму, то в оном не найдем довольной причины тех действий, которые приписываемы вкусу. Если под разумом разумеется стремление духа к открытию истины в предметах умозрительных, то вкус не имеет сего направления. Мы восхищаемся, читая прекрасную поэму, любуемся превосходным произведением кисти, но сим удовольствием не одолжены ни открытию рассуждения, ни убедительности какого-либо доказательства. Есть такие красоты в природе, коими производятся одинакие действия как в философе, так и в простолюдине. Следовательно, способность, делающая нас чувствительными к сим красотам, относится более к чувствованиям, нежели к умственным способностям. Чтоб более в сем увериться, стоит только сравнить законы чувства с законами вкуса. Мы знаем из опыта, что чувствования наши иногда бывают живее и яснее, а иногда слабее и смешаннее, смотря по расстоянию между предметами и нашими чувствами. Сему закону подчинена также и способность чувствовать красоты и недостатки. Читая поэму Омирову, мы не чувствуем такого удовольствия, какое чувствовал афинянин. Язык Омиров отделяет нас от предметов, им описанных, гармония слов утихает, не достигнув нашего сердца, а если и касается, то не во всей силе. Но когда читаем подобное сочинение на собственном языке, то действие изображаемых красот гораздо для нас ощутительнее, ибо слова природного языка так (л. 96) тесно соединены с вещами, что

читая какое-нибудь приключение, не примечаем никакого посредства и видим не слова, а самые вещи.

Второй закон чувствования состоит в том, что если возродятся два чувствования, и одно другого будет сильнее, то сильнейшее преодолевает слабейшее. Мы смотрим на произведения искусства с двух сторон, не менее стараемся узнать в них худую сторону, как и хорошую; в таком случае если совершенство сильнейшее делает впечатление, нежели недостатки, то последние закрываются, так сказать, совершенствами, или бы их верно не приметили, если бы разум не столь строго смотрел за поступками вкуса. Но если увидим перевес со стороны недостатков, то и лучшие места в глазах наших ослабевают.

Таковое замечание совершенств и отвращение от совершенств есть следствие того, что хотя вкус имеет основанием внутренние чувства, но в занятиях своих подчинен разуму. И если отделить здравый рассудок от вкуса, то он будет простой инстинкт, или естественная чувствительность к изящному, которая легко может удалиться от своего предмета, не будучи руководима умственною разборчивостию; ложные красоты будут для нее вместо истинных, а истинные неприметны. Жители тех стран, в коих нет образования для умственных способностей, и чувственность предоставлена попечительности природы, имеют (л. 96 об.) странные наклонности. То, что, по согласию всех образованных, не заслуживает никакого внимания, составляет важнейший предмет их вкуса. Следовательно, основательный вкус есть естественная чувствительность, управляемая разборчивостию до высочайшей степени образованного разума. Занимаясь какими-либо предметами вкуса, мы в истине сей сами удостоверяемся. Почти все произведения гения суть одной [1] токмо подражания природе, представления характеров, или действия. Вкус, взятый за внутреннее чувство, ощущает удовольствие, происходящее от таковых подражаний, или изображений, но судить об оных подражаниях и представлениях есть дело ума, который смотрит и сравнивает всякое подражание с подлинником (об'яснить примерами).

И так вкус состоит из разных начал, более или менее участвующих в его действиях. Судя по врожденности оных, можно заключить, что природа сообщила его всем людям. Уметь несколько различать красоты не менее свойственно человеку, как и иметь дар говорить и рассуждать. Порядок, соразмерность, величие, согласие, разнообразие и новость приятно занимают всех людей. Примечено, что вкус у детей весьма рано открывается в их привязанности к правильным формам, в удивлении картинам, статуям и подражаниям всякого рода, наконец, в пристрастии ко всему новому и необыкновеному...

(л. 97) 1) Рафаэлева Мадонна была бы потому только прекрасна, что имеет совершенный цвет лица, совершенное строение тела, и пр.; выражение в чертах, сколько бы ни было совершенно, не почиталось бы прекрасным! Не может быть прекрасное и одним совершенным умственным: иначе одно совершенно истинное было бы прекрасно. То же самое разуметь должно и о прочих понятиях совершенного. Но чтоб не смешать какое-нибудь другое изящное или прекрасное с тем, о котором рассуждается, назовем последнее эстетическим или в тесном смысле прекрасным, которым мы также занимаемся с свободным расположением. Сие самое эстетическое свободное расположение, с каковым мы занимаемся предметом эстетически прекрасным, называется чувство эстетическое или чувство изящного. Сия то способность чув-

[1] Так в подлиннике.

ствовать изящное может во всей силе раскрываться, когда другие чувства — чувства истинные добра, если не получают согласного с ним направления, по крайней мере, безмолвствуют, быв погружены в тихое упоение. Следовательно, прекрасное находим токмо там, где познание переходит в неопределенные чувствования, где душа чувствует свою свободу и совершенство, возносится над целым миром. То, рассеянная в сладостных мечтаниях, разделяется между восторгом и умилением, то, внимая небесной гармонии своих сил, с негою засыпает под стройным их звуком, то увлеченная небесными (л. 97 об.) красотами, вырвавшись из тесных пределов мира, с быстротою протекает царство духов, останавливается у храма вечности.

Об отношении чувства эстетического ко вкусу.

Не надобно смешивать чувство эстетическое со вкусом; первое есть, так сказать, живой зародыш вкуса. Вкус соглашается или отвергает или поправляет чувство прекрасного, советуясь однакож с оным, иначе, предавшись самому себе, и сам заблуждается, и чувство изящного с пути совращает; потому то, где совсем нет чувства эстетического, там нет и вкуса. Впрочем в одном и том же человеке может быть одно другого слабее или сильнее. Но что ж такое вкус? Слово вкус в собственном смысле означает то чувство, которым распознаем приятность пищи и пития. Философы, вникая в природу души человека, приметили другую способность, сей подобную, и назвали ее вкусом. Сие слово употреблялось в смысле весьма обширном, а иногда не предлагало никакого понятия, потому что действия сей способности были ощутительны, но место, которое она должна занимать между прочими дарами человеческой природы, не было известно. Действия вкуса так сложны, что нельзя его отнести ни к высшим способностям, ни к одним чувствованиям. Даже в американских пустынях, где человеческая природа находится в самом грубом состоянии, дикие изобрели некоторые уборы, орудия; сочиняются военные и погребательные песни и имеют своих ораторов, говорящих в собраниях речи. Китайские женщины любят свои маленькие ноги, друз — острую голову, а малабарец — длинные уши. (л. 98) Таковая привязанность народов к некоторым вещам не есть ли доказательство врожденности вкуса?

Но хотя нет ни одного человека, лишенного сей способности, однакож в рассуждении оной находится между людьми великая разность. Жители диких стран руководятся одною токмо чувственностию, неспособны к умозрениям, верят одному впечатлению; мирные красоты не останавливают их взоров; на них действуют одни только грозные явления природы. С холодностию примечает ирокезец прекрасные долины, где природа наиболее старалась истощить свое искусство, но он с изумлением останавливается при шумном водопаде, и в припадке меланхолии чтит в нем божество ему неизвестное. Он не трогается, когда из груди соловья выливаются нежные тоны, но в исступлении смотрит на мрачную тучу, грозящую ему гибельным ударом.

Таковая холодность к тихим красотам природы есть следствие слабости умственных способностей и недостатка чувствительности. Но и между образованными находится великое различие. У одних приметны слабые следы вкуса, удивляющие их красоты лишены нежного образования. Там, где другие находят собор изящества и прелестей, они едва ли находят что-нибудь занимательное. Вообще замечают, что неравенство между людьми приметно наиболее относительно вкуса, нежели относительно разума и рассуждения. В сем наиболее усматри-

вается премудрость, с каковою природа устроила человека. Она разделила почти всем равно таланты, нужные в естественном состоянии, но, разделяя способности, (л. 98 об.) служащие для удовольствия, казалась бережливою: степень их совершенства подчинила образованию и собственной попечительности каждого. Хотя вкус сам по себе способен к образованию, но метода, по которой можно его усовершенствовать, весьма затруднительна. Так как вкус есть сложенная[1] способность, то воспитание детей должно быть сообразно со всеми его началами. Если все внимание обращено будет на образование умственных способностей, то разум слишком далеко распространит свое владычество, по необходимости сделается своенравным и тиранным для чувственности. Но если все старание будет клониться к усовершенствованию чувственной способности, то чувственность, будучи [направлена] к похищению чужого, присвоит права, ей не принадлежащие, и развратит душу; обольщенный разум унизится пред нею так, как прядущий Геркулес у ног Омфалы.

В сем отношении способ образования, предлагаемый г. Батё, кажется несовершенным. «Чтоб предупредить пороки вкуса, он советует сначала занимать детей тем только, что возбуждает приятное и тихое чувствование, всячески стараться удалять от них скучные и досадительные идеи». Но мы рождены не для одних только восторгов. Стремительные излияния радости часто сопровождаются глубокими воздыханиями. Надобно, чтоб мы знали улыбнуться, видя благополучие тех, кои близки нашему сердцу, и могли также чувствовать жестокость их злополучия.

Кроме сего, если будем заниматься одними прелестями и изяществом, то (л. 99) стесним границы вкуса. И может ли вытерпеть таким образом изнеженный юноша, если судьба перенесет его в царство ужасов, в жилище скуки и уныния? Следовательно, сколько можно, надлежит уравнить начало вкуса. Иначе, если одно будет сильнее другого, то ослабит действительность другого и, занимая нас совершенно своими удовольствиями, сделает холодными к удовольствиям прочих, хотя бы они были столько же или более важны. Можно сказать вообще, что вкус в воспитании всегда принимает одно какое-нибудь направление. Почему неудивительно, что одни и те же предметы представляются различным людям под различными видами. Один любит читать историю, другой ею скучает; иной с удовольствием занимается одною только поэзиею; иной отдает преимущество трагедиям, другой комедиям. Однакож таковое пристрастие к одному какому-либо роду красоты ни мало не подлежит критике, если оно не основано на осуждении прочих. Вкус нельзя рассматривать так, как разум. Предмет последнего одинаков; как скоро одно из многих противных предложений найдено будет истинным, то прочие по необходимости должны быть ложны. Но вкус простирается на многие предметы, кои хотя различны, однакож красота одного не ослабляет изящества другого. Один может быть пристрастен к высокому, не чувствуя холодности к прелестному. Равно как другой может быть привержен к прелестному, не унижая высокого. Итак вкус может допустить бесконечное (л. 99 об.) множество предметов, ни мало не теряя из своей доброты точности[1].

Впрочем различие во вкусах тогда только допустить можно, когда их предметы различны. Если одну и ту же вещь один почитает совершеннейшею в своем роде, другой недостаточною, то сие не будет различие, но прямая противоположность одного вкуса другому. В та-

[1] Так в подлиннике.

ком случае один необходимо должен быть ложной. По причине сего то различия вкусов самые лучшие произведения гения оставались без места. Слабые произведения ума иногда спорили о преимуществе с удачными опытами отличных дарований. Мильтонов Потерянный рай долго не находил принадлежавшей ему участи. Виргилиева Энеида в среднем веке почитаема была обыкновеным порывом стихотворческого таланта.

В таком случае, когда они между собою несогласны, что можно взять за правило, по которому бы узнать справедливую сторону? Мы видели, что красота находится в природе, в искусствах, но, собственно говоря, природа есть единственный ее источник; что же касается до искусств, то они собственной красоты не имеют, и что в них есть прекрасного, то они переняли у природы. Следовательно, в суждениях о красотах и искусствах та же природа, которой они подражают, должна быть правилом. Во всех случаях при оценке совершенного подражания искусств природе доверенность отдается более рассудку, который, сравнивая оригинал со списком, (л. 100) одобряет его или осуждает, смотря по тому, более или менее он подходит к природе. Но находится тысяча обстоятельств, наипаче если идет дело о красотах природы, где вышепоказанного правила нельзя приноровить. Итак, надлежит искать другого, которое простиралось бы, если не на все предметы вкуса, то, по крайней мере, на большую часть оных. Сказано выше, что вкус есть утонченная чувствительность, управляемая разумом, образованным до высочайшей степени. Следовательно, если бы можно было найти такого человека, коего бы чувствительность не упускала из виду и самые легкие черты изящества и умствования были тверды и неоспоримы, то такой человек относительно к красоте должен быть правилом для прочих. Если бы вкус других был отличен от его вкуса, то сие можно бы приписать одному только несовершенству их способностей. Но как нет ни одного, который бы, имея все совершенства, мог служить всеобщим образцом для всех прочих, то где мы найдем правило вкуса и преимущества, которое должно дать одному пред другим? Кажется, что нельзя найти другого правила, кроме вкуса природы. Под сим словом разумеется всеобщее мнение просвещенных людей. Что по согласию всех признается хорошим, то должно быть в самом деле таковым. Надобно придерживаться сего правила. Всеобщее мнение или чувствование должно решить все споры и сомнения. Все (л. 100 об.) возможные доводы никогда не докажут, что похождение старого рыцаря лучше Омировой Илиады, что статуя, обделанная каменщиком, лучше Медицейской Венеры. Если кто начнет защищать противное сему мнению, то вкус его должно почесть испорченным, потому что он противоречит всеобщему мнению. Итак, всеобщее согласие в чем-нибудь есть положительный закон, с которым частные должны соображаться.

Об отношении прекрасного к занимательному.

Всякое изящное должно быть занимательным. Занимательное вообще есть все то, что обращает на себя наше внимание. В таком смысле есть много занимательного, что не совсем прекрасно. Не токмо истинное, доброе, но даже не все в эстетическом отношении занимательное может быть прекрасным. Хотя впрочем всякое прекрасное должно быть занимательным; напротив незанимательное не может быть прекрасным. Есть предметы, кои требуют размышления, чтоб казаться занимательными; по мере как их занимательность развертывается, открывается и красота. Равным образом, есть такие, кои с первого взгляда кажутся

занимательными, а наконец являются самыми обыкновенными; в обоих случаях должно решить чувство эстетическое красоту или некрасоту оных, ибо как излишняя искусственность, утомляющая своею тонкостию, где один разум вещает, а чувство молчит, так и минутное занимательное скоро превращается в обыкновенное, не занимающее ни чувство, ни разум, не заслуживает названия прекрасного; словом, все искусственное (л. 101) и обыкновенное противны прекрасному.

Площадное противно занимательному и, следовательно, и прекрасному, ибо площадное есть все то, что не возбуждает эстетической занимательности. И потому прекрасное — площадное, или, все то же, незанимательное-прекрасное есть одно пустое слово. Разве грубой толпе непросвещенных может казаться прекрасное площадным, потому только, что не ослепительно, или другим потому, что не искусственно, а просто или естественно. Правильное эстетическое чувство решит во всех случаях, приноравливаясь к законам естественного и согласно с рассудком. По несчастию, есть площадная естественность, часто встречающаяся в искусстве, напр., в некоторых немецких и русских комедиях. Площадное продолжением своим производит скуку и потому сопряжено с скучным.

Занимательному в эстетическом смысле противно отвратительное, как неприятное чувство, разрушающее эстетическое свободное благорасположена с физической и нравственной стороны, или, простее, все то, что оскорбляет или чувство, или нравственность[1]. Ни то, ни другое, кажись оно совершеннейшим в своем роде, для испытательного рассудка не может быть прекрасным. При всем том самые просвещеннейшие народы, каковы греки и римляне, находили удовольствие как в физическом, так и нравственном отвратительном. Столько то вкус зависит от обстоятельств и случайных условий человеческого образования. В физическом и нравственном мире нет даже такого отвратительного, к коему бы человек при известных обстоятельствах не мог привыкнуть. Благообразованный афинянин не мерзил гноящимися ранами страждущего Филоктета на театре. Но потерпит ли новейшая публика, коль скоро она хочет присвоить себе истинно образованный вкус, чтобы сей самый Филоктет говорил только описательно на театре, языком скорби, изображая физическую свою боль (л. 101 об.) и чтобы поэт воспользовался описанием сей физической боли к усугублению нравственного умиления трагедии.

Теперь спрашивается: кто здесь прав — нынешняя или афинская публика? В стране, где каждый гражданин был воином, и воспоминания о поле сражения могли содействовать и к эстетическим его радостям, вкус должен иначе решить, нежели у нас, когда нарочитой части публики угрожает обморок при виде крови...

(л. 102) Коль скоро от грубости, или притупления физических и нравственных чувств физически и нравственно отвратительное перестает быть отвратительным, и между тем эстетическая потребность не успокаивается, то происходит эстетической цинизм, который разделяется на грубый и высоко-образованный; первый основал фарс, или площадное, вторый — остроумное бесчинство, но ни тот, ни другой не занимательны. Теперь спрашивается, как назвать бесчинные произведения истинного гения? Комическая поэзия Аристофана не есть ли истинная поэзия в самых ее бесстыднейших издевках? Так эти издевки не прекрасны? Нет, ибо нет бесчинного, которое по себе было бы изящно. Все то отвратительно, что не шутя (sérieusement) оскорбляет нравственное чувство, что не шутя срывает нежное покрывало,

[1] Так в подлиннике.

наброшенное нравственным чувством на наслаждение физического сладострастия. Всякое серьезное и действительное оскорбление нравственного чувства есть бесвкусие. Всеконечно, нужно предостерегаться от смешения изящного и доброго. Пусть доброе само по себе продолжает исключаться из эстетического размышления, но оскорбление нравственного чувства, которое тогда изгоняет из встревоженного сердца всякое эстетическое удовольствие [1].

Об отношении чувства изящного к воображению.

Доселе в нашем разборе изящного не говорено было ни об одной душевной силе в особенности, ибо эстетическая потребность не происходит из той, или другой душевной силы, оно первоначально проистекает из соединения всех душевных сил. Поелику же мы изящным называем все то, что удовлетворяет эстетической потребности по всеобщим законам естественного и согласно с разумом (л. 102 об.), то из психологического разложения сей способности явствует, что из всех душевных способностей воображение должно быть в деятельности, коль скоро мы ищем эстетического удовлетворения и оное находим. Сколько метафизические должности (functio) воображения принимаются в уважение при чувствовании изящного, того эстетика не исследывает. Также здесь не говорится о художественном воображении, как способности эстетического изобретения. Независимо от всякого изобретательного дара и при одном наслаждении изящным воображение должно быть занимаемо (exercée), потому что иначе невозможна приемлемость к изящному. Чувство прекрасного совсем иначе относится к воображению, нежели истинное или доброе. Есть воображение обще нам с животными, от которого самый червь получил участок [1], поелику чувствует и стремится, и в человеческой природе оказывается иногда не чувственное воображение, напр., воображение сластоеда, который по духу чует лакомые куски. Но какое расстояние до той воображательной силы, которая в соединении с рассудком является в человеке как нечто высочайшее и почти божественное. Область ее есть необ'ятная область возможности человеческих мыслей и человеческих побуждений. Тогда то оно называется в высшем и преимущественном смысле воображением или фантазией. В чудесном союзе с разумом воображение есть изобретательная способность, творческая сила, стремящаяся к бесконечному, божество, дающее жизнь идеалу, вторая душа человека. Тут она связует видимое с невидимым, прошедшее с вечным по законам, о коех нет ни слова написанного в книге удобопознаваемой природе [1]. Живописец мог бы представить фантазию на сей высоте в виде парящей богини, которая в солнечном сиянии проницает сквозь облака и в одной руке держит всемирный шар, в другой — два ключа, как знаки могущества отверзать небо и ад.

После сего психологического отступления, необходимого по связи эстетических (л. 103) наших исследований, нельзя сомневаться в участии, каковое принимает воображение даже в одном наслаждении предметом изящным. Нет нигде одного страдательного вкуса, ибо хотя эстетическое чувство изящного утверждается и определяется, но сие чувство престало бы быть эстетическим, коль скоро душа, принимающая впечатления, находилась бы в состоянии покоя, ибо токмо тогда возможно эстетическое благорасположение, когда человеческие силы приводятся в свободную деятельность, или в гармоническое развитие, или в идеальное парение, следовательно, не без воображения. Но

[1] Так в подлиннике.

часто воображение, предавшись быстрому своему полету, в минуту заблуждения, производит чудовище, фантазьму или мечту; в таком случае рассудок должен руководить воображение, но не подавляя оное своим руководством.

Есть воображение умственное, каковое имел Невтон, когда изобретал систему миру; есть нравственное, когда философ воображает добродетель во всем ее блеске, которою, если бы она была видима, всякой бы пленился, и пр.; чувство изящного требует другого воображения, в полном смысле свободного, которое не было бы подавляемо ни одним чувством нравственным, ни одним рассудком, ни одним чувством набожным. Чем богатее предмет красотою, тем более требуется содействующее изящным[1]. Тогда свободный дух от рассматривания такого предмета, приходя в самого себя, начинает жить в прекраснейшем мире, а не в воспоминании только об изящном предмете. Тогда воображение продолжает свою блаженную игру в тех же направлениях, которые получило чрез впечатление; но, не будучи уже связано впечатлением, оно свободно расширяется по всему, что льстит чувствам и приятно сердцу.

Об отношении изящного к правильному и неправильному.

Здравый вкус именно потому называется здравым, что следует непреложным законам естественного и согласного с рассудком. Закон, (л. 103 об.) логически изложенный, называется правилом, следовательно, правильность, кажется, есть необходимое условие изящного, да и часто она почитаема была самым изяществом. Нет сомнения, что разум и природа везде являют некоторую правильность или, как Вольф и Зульцер выражались, единообразие в разнообразии, полагая оное единственною красотою. Одна рука похожа на другую, одно око сходственно с другим и пр. Искусства ту же правильность переняли у природы. Французская критика почти всегда требовала правильного в изяществе какого-либо искусственного произведения. Французские сады и трагедии являют поразительную правильность. Французский вкус указывает или ссылается в сем случае на греческой и действительно греческая красота имеет более или менее характер правильности. Но поэтому французский вкус прав? Поэтому нет неправильной красоты, и один токмо невежественной вкус может находить удовольствие в неправильном. Поэтому воображению, которое неподвержено строгим законам и наиболее всего принимает и должно принимать участие в изящном, не остается никакого места в области прекрасного? Нет сомнения, что правильность была бы первоначальным условием изящества, если б она была одно и то же, что и сообразность с законом (Gesetzmässigkeit). Но правило, как уже выше сказано, есть только логическая форма закона. Что здравый вкус последует законам естественного и согласного с разумом в истинно человеческом бытии, то еще ни мало не доказывает, будто бы он сам законам последует токмо в таком случае, когда они представляются разуму в виде правил, или когда какой-либо предмет так на нас действует, что мы примечаем или чаем примечать правильность. Предмет кажется нам правильным, если мы ясно в нем примечаем совокупность форм соотношений, согласуемых между собою по началу единства. Тогда если рассудок и не ясно (л. 104) представляет себе самое правило, однако оно ему при надлежащем рассматривании предмета предшествует, напр., симметрические пропорции прекрасного

[1] Так в подлиннике.

здания не могут быть измеряемы глазом, так, чтобы рассудок не старался отыскать правило геометрических и арифметических содержаний (отношений), касательно коих решит глазомер. Но там, где один рассудок во всей силе действует, там исчезает изящное, а наступает теоретическое, следовательно, тогда понятие эстетической правильности не только не означало бы самого изящества, но даже и уничтожало б оное.

Но и самый греческий вкус не препятствует нам быть чувствительными к правильной красоте, в которой характер рассудка более или менее исчезает. Ибо если бы не было неопределенного удовлетворения эстетической потребности, то не было бы и определенного. Даже правильные произведения природы и искусства, как бы некоторым естественным волшебством сообразно с рассудком должны занимать воображение, которое всегда к определенному прибавляет нечто неопределенное и только тем становится деятельною в бесконечность; следовательно, самая правильная красота указывает на неправильную, которая чувствуется не в очевидной связи с правилом, и однакож по непреложным законам естественного и со[о]бразного с разумом в человеческом бытии. Самая правильнейшая поэзия требует того, что называется лирическим беспорядком, следовательно, вида неправильности [1].

Самая природа при всей своей правильности не представляется ли нам иногда в беспорядке прекрасном? Посмотрите на прекрасный ландшафт: там протягается ряд скал, один другого выше или ниже; один другого крутее или отложе; здесь рассеяны деревья то по два вместе, то по одному; вверху плавают облака выше и ниже, густее и тонее, белые и лазоревые; инде приметны пасущиеся агницы около прозрачного источника, катящего воды свои меж лугов, усеянных цветами. В первых живописцах италиянских Джието и Чимабде примечаемая излишняя привязанность к правильному обнаруживает (л. 104 об.) еще младенческое состояние искусства. Рафаэль сделал величайший шаг в живописи, свергнув с себя иго строгой правильности своих предшественников.

Самим грекам можно упрекать в эстетической односторонности за пренебрежение ландшафтной живописи и ландшафтного садоводства, с ним соединенного. Быв прилеплены к красоте человеческого образа, они так привыкли к эстетической правильности, что не отдавали должной справедливости красоте неправильной. Новейшие достижения эстетического образования, при обычаях совсем различных, скоро почувствовали потребность правильного, как в изящном искусстве, так и в наслаждении изящною природою. Правда, и их вкус прельщался красотою человеческого образа, но законы новейшего благонравия не позволяли видеть открытыми прочие части тела, кроме рук и лица. Воображение играло закрытым еще сладострастнее, но без всякой пользы для вкуса.

Все сие убеждает нас, что одна правильность не составляет еще красоты, надобно, чтоб она была в соединении с неправильностию, сказать другими словами, надобно, чтоб единообразие находилось в разнообразии. Одно единообразие наводит скуку, одно разнообразие утомляет. Ландшафты Клод де Лорен соединением и того и другого торжествуют, равно как оды Пиндара доныне неподражаемы, но так как ничего не бывает без крайностей, то и сии два превосходные качества, разделяясь и преступая меру, одна подала повод к романическому

[1] Так в подлиннике.

роскошеству, другая к педантизму. Так произошло роскошное смешение комического с важным в рыцарской италиянской епопее, так произошла испанская комедия.

Об отношении прекрасного к форме и выражению.

Совершенная красота должна соединять в себе прекрасную форму, т. е. изящное совокупление соотношений с выражением зани-(л. 105) мательных чувств и мыслей более или менее определенных. В обыкновенной жизни под прекрасною формою разумеют правильность и употребляют одну за другую, основывая на сем начале все прекрасное. Но может статься, что иная вещь очень правильно расположена, однакож ни чуть не приятна и даже отвратительна. Все математики и философы согласны под формою разуметь отношения, вместе взятые, какой вещи. Таким образом, в начертательных искусствах красота формы определяется красотою окружностей и видимых размерений. Красота музыкальной формы зависит от красоты аккордов и определяется по законам акустическим. Красота формы какого-либо стихотворения основывается на весьма многих соотношениях, и, между прочим, на мере стоп и рифмах. Вообще форма есть то, что составляет наружный об'ем.

Но с одним формальным понятием об изящном истинная эстетика не делает больших успехов. Прекрасная форма, не имеющая выражения, есть то же, что и тело без души. Человек, как мыслящее существо, в чувстве гармонического развития своих сил и в идеальном парении к совершенному везде ищет жизни подобно своей, и где оной не находит, старается сообщить свое чувство. Стихотворец разговаривает с лесами, как существами себе подобными. Живописец в самые ландшафты, в область совершенно безжизненную, старается вдохнуть жизнь, приводя человеческие лица. В самой природе нет ничего совершенно невыразительного, ибо природа иначе нам вещает в ясном, нежели пасмурном виде, иначе в столетнем дубе, нежели в тонкой тополи, иначе в огромном развалившемся замке, нежели в прекрасном загородном доме. Обуреваемый корабль наполняет нас совсем другими чувствами, нежели мирно пасущееся стадо. (л. 105 об.) Поэтому одно выразительное все заменяет, поэтому совсем не нужно, чтобы, напр., человеческое лицо было прекрасно расположено, но лишь бы имело выразительную физиономию; от стихотворения, исполненного чувств и мыслей, не требуется, чтобы оно было написано красиво? Поэтому какой-нибудь Энний или Лукан — единственные стихотворцы? По крайней мере, так некоторые думали, не вообразя, что они из одной крайности впали в другую. Форма и выражение должны, так сказать, подавать друг другу руку. Но опять под выражением не надобно разуметь одно трогательное, или потрясающее — обыкновенная ошибка немецкого вкуса, зараженного ложным натурализмом! Эстетическое выражение весьма различно от обыкновенного. Последнее бывает то слишком сильно, и оглушает наши чувства, то оскорбляет нравственность, то безобразит прекрасную форму. Посмотрите на группу Лаокоона. Какое мучительное состояние! Но при всем том соблюдена прекрасная форма и не обезображена ни одна прекрасная черта. Да и что есть эстетическое выражение? Свободный отпечаток мысли и чувствования. Для чего же тиранить наши чувствования, не оставляя нам свободного размышления? Для чего забывать, что я не одно чувственное, но и мыслящее существо? Пусть один варварской вкус находит удовольствие в том, когда хищный вран терзает сердце Прометея! Довольно если выражение занимательно-

но, хотя не трогает и не потрясает. Италиянцы весьма справедливо называют слог, в каком живописал Рафаэль, преимущественно выразительным (stile expressivo), ибо на картине Рафаэлевой едва ли найдется хотя одна черта без занимательного значения, хотя трогательное и потрясающее, как известно, не было самым любимым делом в искусстве сего неподражаемого артиста.

Рафаэль занят был величайшею мыслию, посредством изящного изложения человеческих обычаев в занимательных положениях (л. 106) открыть целое человеческой души, приводить взор в глубину сердца и обнаружить самую внутреннюю жизнь духа. Оттуда проистекает неисчерпаемой избыток (Fülle) выражения в Рафаэлевых картинах. У него то можно наилучшим образом научиться тому, что отличает эстетическое выражение от обыкновеного, ибо выражение всегда остается обыкновенным, коль скоро не занимательно для эстетического вкуса. Но здесь опять предлежит нам скользкий путь. В выражении может быть выражено одно чувство без мыслей, равно как одни холодные мысли без чувства. В обоих случаях выражение бывает неполное. Выражение быть может или слишком определенное, или неопределенное; в обеих случаях aurea mediocritas похвальна. Если произведение все высказало, не оставя мне ни малейшего труда отгадать, то оно лишило меня наиприятнейшей для моего воображения[1]; если же в противном случае заставляет слишком долго отгадывать, то или разрушает мое эстетическое чувство, или ограничивается одною формою, и тогда я, сказав с Фонтенелем: que me veux-tu? — отхожу прочь.

Показав необходимость соединения формы с выражением для произведения совершенной красоты, перейдем к образовательным искусствам и рассмотрим, что должно быть целию их искусств, и в чем состоит эстетическое их прельщение. Изящные искусства благороднейшим предметом своим имеют наставление, но они не всегда могут избирать себе целию нравственность; нередко даже способ их научения бывает неизвестен, непонятен, представляется под загадкою, или, по крайней мере, мало чувствителен для большаго числа зрителей. Есть также искусства, которые совсем неспособны давать уроки; такова архитектура. Какие назидательные правила, какое наставление могут внушить стены и колонны? Но есть и (л. 106 об.) другой предмет, который должен быть неразлучен с искусствами; он состоит в том, чтобы все искусственные произведения нравились. Без сего качества ни один художник не обратит на себя внимания. Художник может нравиться, не научая нас; но если не нравится, никогда не может научить. Средство нравиться, привлекая и пленяя ум, напечетлевая в них продолжительное воспоминание, состоит в том, чтоб иметь две важнейшие части искусства — выражение и красоту. Ибо то только способно возбудить в душе приятное впечатление, что представлено в прекрасном виде с подлинным выражением. Сии два качества, совокупные вместе, составляют прелесть искусства. Посему можно ли без удовольствия смотреть на Рафаэлеву картину, изображающую молчание св. девы? И сие ощущение происходит от того, что положение и все черты ее выражены с удивительною подлинностию, голова ее изображена с великою красотою, она в одно время дышет благородством и приятностию. Отчего святое семейство Рафаэля тем более дает чувствовать внутреннего удовольствия, чем более его рассматриваем, если не оттого, что здесь весьма счастливо выражена красота? Его Михаил — победитель злобного демона — изумляет

[1] Так в подлиннике.

зрителя; голова Михаила подлинно ангельская, она приятна и вместе страшна; все сие происходит от великого искусства в выражении.

Хотя правильное расположение красок, искусное разлитие света и тени составляют совершенство в живописи, но надлежащая во всем соразмерность и единство более возвышают красоту и достоинство изображаемого предмета. Выражение и единство составляют важную часть в ваянии. Под соразмерностию же обыкновенно разумеют правильное отношение частей между собою соответствующих; такая соразмерность более придает красоты творениям искусства. Хотя в изваянии Аполлона находят красоту (л. 107), которая зависит большею частию от известного степени[1] несоразмерности, напр., голова его представлена не прямо между плечами, и что нижняя половина сей статуи длиннее, нежели позволяет надлежащая соразмерность; но с другой стороны, в живописи такая вольность почитается недостатком. Картина, изображающая святую деву с спящим младенцем и прекрасную группу ангелов исполнена прелестей, но сии прелести были бы совершеннее и разительнее, если бы Пармезан дал ей шею, персты и другие части не столько длинные, если бы соблюл правильный размер в расположении каждого члена. Итак, поелику предмет искусственных произведений состоит в том, чтоб они нравились и с приятностию занимали зрителя, для сего художнику надобно иметь богатое и обширное воображение, избегать сухости, которая как в поэзии, так и в музыке и живописи доказывает недостаток. В изображении его должна быть великая или глубокая, выразительная или остроумная идея. Сие мы примечаем на Пуссеневой картине, представляющей двух юных аркадских любовников, которые, быв исполнены восторга, входят в зеленую рощу, где нечаянно находят гробницу с следующей надписью: Et in Arcadia ego,— и я жил в Аркадии.— Вот мысль, погружающая любовников в размышление, а зрителя — в приятную задумчивость. Утопающая мать, которая, собирая последние силы, держит младенца своего над водою, не допуская погрузиться ему, есть выразительная и трогательная мысль. Венера сечет резвого Купидона пучком роз — есть забавная и приятная мысль. Искусное изображение тени или света, разлитого по картине, может сделаться занимательным. Это была высокая мысль Корреджио, которую он удачно выразил в картине поклонения волхвов, называемой Корреджиевой Ночью, где он представил свет, истекающий из образа новорожденного Христа.

Все сии мысли много способствуют к произведению красоты (л. 107 об.) и к возбуждению удовольствия в зрителе. Сверх сего, надобно приметить, что художник должен быть более искусен в выборе сих мыслей, нежели писатель, ибо действия его искусства, будучи гораздо медленнее действий поэта, оставляют более времени для размышления, и поелику каждое искусство имеет свои недостатки, то не всякая мысль равно быть может счастливо выражена в разных искусствах. Поэзия способна изобразить Купидона, сидящего в чашечке розы, она живо выразит вылетающие из глаз молнии, но в живописи это будет странность. Виргилий естественно выражает сошествие в ад Энея; читая стихи его, идешь за Энеем, и, кажется, видишь ту мрачную рощу, в которую он вступает, ужасаешься повсеместной пустоты и повсюду царствующего глубокого молчания; видишь, с какою отважностью спускается в подземную пропасть, и слышишь, как он разговаривает с Кумскою Сивиллою и пр. Все сии изображения у стихотворца живы, разительны, прекрасны; читая Виргилия, чувствуешь

[1] Так в подлиннике.

удовольствие и приятные восторги тайного ужаса. Напротив того, живопись лишена сей способности выражения. Она может изобразить одну поверхность, на которой останавливается зрение. Каждое искусство имеет свои пределы, а посему какая-нибудь мысль, подлинно и счастливо выраженная одним искусством, не может быть уделом другого, напр., Купидон делает себе лук из булавы Геркулесовой — есть остроумная и прекрасная мысль; она с рукоплесканием принята будет у стихотворца, если он удачно выразит ее в стихах и опишет работу Амура легким и забавным слогом, между тем как ваяние должно быть более строгим в суждении и в выборе изображаемого предмета. Внимательной ваятель, без сомнения, останавливается на сей мысли; он размышляет: (л. 108) сделать лук из деревянной из величайшей булавы прилично только сильному работнику; это не Купидоново дело; древние поэты не налагали на него тяжких трудов, они представляли его в мнимой слабости. Мосх говорит: Амур имеет маленькие руки, однако, бросает стрелы свои даже до Ахерона и попадает в самое сердце бога мертвых. У него маленький колчан и маленькие стрелы, но он бросает их даже до неба. Мосх не употребил бы маленьких Амуровых ученок для трудной сей работы, притом же из сучковатого дерева булавы Геркулесовой Амуру, кажется, нельзя сделать ни стрелы, ни лука. Таковое внимание нередко предостерегает художников от странных и нелепых изображений, которые в области другого искусства с красотою и живым выражением употреблены быть могут. Но чтобы не произошла ссора между искусствами, то в замену сего недостатка проницательный гений художника открывает для себя другие источники красоты, из коих почерпает он новые средства для украшения своих творений, коих средств лишено другое искусство.

Живописец прибегает к приятному, нежному и занимательному положению, оно придает больший степень достоинства и прелести предмету, изображаемому художником, для того, чтобы он нравился, напр., положение, в котором представляют Адама и Еву посреди райских прелестей наслаждающихся дарами, коих творец их удостоил, способствует к выражению благополучия и напоминает нам невинное состояние, о котором одна мысль нас занимает приятнейшим образом. Сады Армидины, представляющие те прелести, которые она столько старалась в них разлить, и самая отдаленность картины, изображающая волшебницу сию с Ренодом, есть ли самое роскошное и романическое положение и не возбуждает ли тайного удовольствия? Хотя природа не подчинена человеку, но все подражания оной суть его творение и зависят от него.

Художник, желая тронуть сердце (л. 108 об.) и прельстить воображение зрителя, принимает различные стили, а всего больше стиль прекрасного, который состоит в том, чтоб фигурам давать легкие, умеренные, нежные и более скромные, нежели гордые движения. Посмотрим на Книдскую Венеру. Сие Праксителево произведение удивляет, восхищает и приводит в некоторый род исступления; Лукиян и Плиний говорят о некоем Карикле, который до такой степени обворожен был прелестями сей Венеры, что стоял перед нею на коленях, лобзал холодный мрамор и плакал в исступлении пред бесчувственною статуей. Вот до чего художник умел возвышать прекрасный стиль своего творения. После сего должно упомянуть, что ежели все искусственные произведения должны нравиться, возбуждая приятную идею, то художники обязаны представлять оные в прекрасном виде, но ни красоты, ни правильного выражения без и с т и н н о г о быть не может. Итак, истинное должно входить в состав искусства, без истинного оно

ничто; оно усовершает творение, под резцом и кистию образующееся. Сами художники признаются, что нет ничего прекрасного без истинного, одно истинное больше всего нравится, оно заставляет смотреть с некоторым удивлением и занимательностью. Взглянем на Лакоона и на Моисея Микель-Анжелева, тотчас к первому почувствуем сострадание, во втором удивимся правильности выражения и истинному в искусстве, которое вдыхает в нас чувство благоговения. О Рафаэле сказали бы, что прелесть у него была на конце перстов, которая по кисти сходила на холст, если бы в его картинах не находили истинного, сего качества, сопряженного с подлинностию и совершенным выражением. Сие истинное примет различные виды; оно бывает просто и очаровательно в садах, где открывается группа Ренода и Армиды; разливает прелесть в пафосе, высокую и почтенную красоту в том гроте, (л. 109) где от охоты утомленная Диана отдыхает с нимфами,— все сие представляет разительные черты, восхищающие зрителя. Наконец, образовательное искусство, подобно поэзии, имеет неисчерпаемые источники, коих художник, одаренный быстрым гением и творческою силою, может заимствовать прелести.

История, баснословие, образы жизни, идеалы, и даже самая природа служат к обогащению искусства. Хотя живописные места не говорят сердцу, но они зато очаровывают зрение. Истинные любители живописи с удивлением и удовольствием смотрели на Марсовы и Вулкановы огни, на флот Энея, на Геркулеса, представленного на водах. Впрочем такие фигуры, изображенные или на гладкой поверхности холста, или представленные в полном и об'емном образовании[1], не могли бы нравиться, если бы не было в них обворожительного качества красоты. Сия красота в искусствах не есть что-нибудь произвольное, потому что она состоит в том, дабы изображаемому предмету дать жизнь и приятность. Художник, желая достигнуть своей цели, чтоб произведение его занимало и нравилось, обязан наблюдать истинное выражение и красоту. Это суть необходимые принадлежности искусства; душа наша, примечая их в творении, чувствует удовольствие. В самом деле при воззрении на Албаниеву игру Амуров и на изваяние спящего Эрота, можно ли остаться нечувствительным? Все это нравится, ибо художники умели достигнуть своей цели, которая в том состоит, чтобы творению придать больший степень красоты, без чего все искусства мало обратят на себя внимание, и можно сказать, что художник с недостатками, без быстрого воображения, без обширных талантов и без правильного вкуса не будет нравиться, его произведение не возбудит в нас эстетического прельщения, но всякой об нем скажет, что operam et oleum perdidit, напрасно он трудился. (л. 109 об.).

Об отношении прекрасного к красивому.

То, что в форме не только хороший вкус не оскорбляет, но еще и нравится, составляет так называемое красивое, которое по этому в некоторых отношениях можно назвать исправным, но исправным занимательным, ибо холодная исправность, которая только что избегает недостатков не есть изящность. Сия то холодная исправность, как отрицательное условие красоты, примыкаясь плащенному[1], составляет обыкновенный предмет низкой критики, которая начинает отысканием погрешностей. Красивость знаменовала высочайший степень изящных искусств в Греции, красивость низвела их и во гроб[1]. Красивое

[1] Так в подлиннике.

никогда не должно смешивать с прекрасным. Одно красивое не составляет прекрасного, но последнее должно быть вместе с первым, чтобы составить совершенную красоту. Следовательно, принимать красивость (élégance), или приятную исправность эстетических форм, за красоту, значит весьма грубо погрешать. Сия погрешность сделалась любимою, особливо со времени владычества французского вкуса. Хотите ли иметь точное понятие о красивости? Возьмите из красоты одну эстетическую форму, в сей форме не только исправное, то есть положительно здравый вкус, не оскорбляющее, но положительно занимающее некоторыми приятными соотношениями есть красивость (élégance) [1]. Конечно, несправедливо отвергать совершенно изящность в произведениях среднего века, потому только, что им недостает красивости. Впрочем нерадение о красивости есть первый шаг к грубости и безвкусию в искусстве, ибо сколь ни далеко от одной исправности или отрицательного условия изящного до самого (л. 110) изящного, однакож стремящийся к совершенному должен стремиться и к исправному, но исправному занимательному. Так греческое искусство пленяет нас красивостию в высочайшей степени. Восстановление красивости в новейшие времена начинается в поэзии Петрарком, в живописи Рафаэлем; французский вкус ошибся, сочтя красивость за сущность греческой красоты. Но без сей ошибки, основанной на характере всей нации, французское общественное обхождение не достигло бы той тонкости, которой ныне вся Европа подражает. Впрочем нельзя отвергать, что в французской красивости таится семя грации, которая, без сомнения, гораздо более, нежели одна красивость.

Об отношении изящного к грации.

Красота делается грациею, когда нежнейшая прелесть приятнейшего эстетического выражения сливается с прелестию наиприятнейшей формы. Грацию можно только чувствовать, а не определить. Вся услуга умозрения состоит в том, что разве можно об'яснить сие чувствование. Существенное в грации может быть только чувствуемо, однакож феория должна сделать некоторый опыт и поискать смысла в понятии, означающем оное чувствование. Пусть назовет грацию как кто может — прелестию (Reitz), приятностию (Anmuth), миловидностию, любезностию и пр. для (изображения) избежания всяких споров, могущих произойти от неопределительности сих слов; здесь под грациею разумеется то, что Греция, так как [она —]отечество грации, называла χάρι. Греки отнюдь не смешивали грации с изящностию вообще. Даже нынешние италиянцы в эстетическом восторге иногда восклицают: che bellezza! а иногда: che grazza! Изящность, или красота делается грациею, когда прелесть выражения сливается с прелестию формы. Такова Венера Медицейская. Но уже едва нужно напоминать, что под грациею надобно разуметь нечто высшее, нежели одну только красивость (élégance).

(л. 110 об.) Не одна прелесть эстетического выражения составляет греческую χάρι, хотя бы сия прелесть была любезнейшею и приятнейшею в своем роде. Редко то бывает грациею, что выражают черты лица прекрасного младенца, поелику сим чертам, сколько бы они любезны и выразительны ни были, обыкновенно недостает нежной рассудительности, для младенца еще чуждой. А менее еще находится грация в обыкновенной живописи и обыкновенных движениях. Надобно, чтобы в грации дышало чувство, обнаруживающее некоторый ум. Но посмотрите на младенца христа, сидящего в лоне своей матери

[1] Так в подлиннике.

на картине Корреджия. Там детские взоры, мины и движения обнаруживают нечто высочайшее — сына божия; в светлых, несколько важных грациях, видна размышляющая душа. Правою рукою, совершенно как дитя, обнимает он покоющуюся руку своей матери, но левую, как бы нарочно, поднял и указательный перст несколько согнутый лежит на нежных губках, имеющих некогда проповедывать небесное слово. Голова в положении размышлений несколько опущена. В таком же, можно сказать, более женском размышлении погруженная прекрасная матерь опустила низ глаза свои. Играющие ножки младенца согласуют с целым. Вот пример того, что называется, или должно называться, истинною грациею.

Но приятная форма, с которою должно сливаться эстетическое выражение, дабы произвести истинную грацию, не всегда есть форма начертаний или форма для глаз. Всякое согласие эстетических соотношений может более, или менее заключать в себе грацию. Таким образом, есть грация для музыки, равно как и для живописи, есть грация пиитическая, (л. 111) ощутительная только для внутреннего чувства. Нравственная грация действует иначе, нежели чувственная, однакож они обе встречаются в эстетических своих началах. Но грация невыразительная совсем не существует. Где исчезает выражение, там грация не имеет места.

Греческая грация отличается наипаче каким то особенным слиянием чувственного с нравственным. С введением христ[ианской] веры нравственная грация получила перевес в творческой фантазии набожных предметов (и наипаче у итальянских живописцев), у греков грация общественной жизни и наипаче праздничной веселости, кажется, существовала прежде грации искусственной. По крайней мере, трех богинь, обожаемых под именем Харит, воображали сначала богинями общежития. По сей то причине самые боги, по песнопению Пиндара не могли пировать без грации. У древних были три грации: Аглая от Αγλαία — красота, блеск, Фалия от θάλλα — зеленеть, цвести, Эфросина (от Εὐφροσὺνη — веселость, душевное удовольствие). Они изображались нагими, держали друг друга за руки; их представляли танцующими для того, чтобы выразить, что движение есть свойство, входящее в состав прелести. Красота, молодость или свежесть, веселость, движения, все вместе не составляют ли прелести? Хотите ли в том увериться? Прочитайте 11-ое письмо Вертера. Период греческого искусства, называемый Винкельманом временем прекрасного слова, понадлежащему ему надобно бы назвать временем слога граций. В сем слоге греческие художники наипаче старались выразить понятия о Венере и Амурах. (л. 111 об.). Чрез то чувственная грация взяла верх в греческих искусствах над нравственною. Однакож и там нравственная грация всегда благородила чувственную, как то видно в статуе Венеры Медицейской.

Вообще грация ладит не только с важностию и сановитостию (Würde), но и с отважнейшею игривостию и роскошнейшими шутками. Платон даже в поучительном виде умел соединить грацию с чувственным и божественным в своей Метафизике. Да и своевольный Аристофан справедливо называется нахальным любимцем граций. Творения Ксенофонта и песни Анакреона исполнены граций. Из остатков пластического греческого искусства группа Ниобы есть образец елегической грации. Из романических стихотворцев Петраркова грация любви заслуживает первое место. Но многие из новейших стихотворцев, непрямо[1] прославившихся как любимцы граций, неожиданно изум-

[1] Так в подлиннике.

ляют нас иногда высочайшей грациею в некоторых чертах. Давно уже замечено, что идиллии Геснера и Броннера прелестны; главное достоинство Карамзина не есть ли прелесть? Сколько в одах Державин величествен, столько исполнен грации в некоторых анакреонтических стихотворениях. И у Хераскова попадаются места, исполненные истинной грации; между прочим сие место, взятое из Россияды, докажет оное:

«Пригорки движутся, кустарники смеются,
Источники, в траве вияся, говорят;
Друг на друга цветы с умильностию зрят;
Зефиры резвые кусточки их целуют.
. . . . . .
(л. 112) Зеленые лужки в тени древес цветут,
И, кажется, любовь одры готовит тут,
Наяды у ручьев являются седящи,
Волшебны зеркала в руках своих держащи,
В которы Грации с усмешками глядят;
Амуры, обнявшись, на мягкой травке спят,
Пещеры скромные, приветливые тени,
Гуляющих к себе манили на колени.

Сочинения Богдановича, наипаче его «Душенька», исполнена граций.

Об отношении изящного к идеалу.

Идеал происходит от идеи, но только в новейшем значении сего слова. По Канту идеи означают такие представления, посредством коих конечное или ограниченное встречается с бесконечным или неограниченным. Во многих эстетиках идеи называются понятиями земного, соединенного с превыше земным, которому здесь долу не отвечает ничего.

Итак, что есть идеал? Самая высочайшая красота, где божественное является в человеческом эстетически, т. е. удовлетворяя эстетические потребности в самой высочайшей степени. Таковой идеал как предмет не существует ни в природе, ни в искусствах. К таковому идеалу приближается более или менее и природа, и искусство. Но самый высочайший идеал как образец не может представить ни природа, ни искусство, и потому все существующее идеальное есть только относительное. Следовательно, кто не основывается на школьных метафизических понятиях и самую [1] не производит из воображения, тому не придет в голову смешивать прекрасное с идеальным и наоборот, равно как и противупоставлять друг другу. Вообще одно только идеальное ставит человека превыше всего. На нем то основывается отличитель-
(л. 112 об.)ный характер человеческий. Весьма грубо ошибаются те, кои идеал почитают только принадлежащим к искусству и совершенно отказывают природе в идеале. Посмотрите на прекрасное человеческое лицо, коего каждое [1] одушевленная черта, каждый взгляд выражает чувство и мысль. Разве это не идеал? Вы скажете, что здесь одна душа действует, сообщая чертам свою волшебную силу, но в одном очертании лица, следовательно, в тех частях, где душа ничего переменить не в состоянии, может находиться столько идеала, что никакое воображение ничего не может прибавить, чтоб произвесть статую какого-нибудь греческого бога [1]. Если сего не довольно, загляните внутрь самих себя и прочтите впечатление, оставленное в душе вашей какою-нибудь прекрасною швейцарскою естественною картиною; не равнове-

[1] Так в подлиннике.

сит ли оно с впечатлением какой-нибудь Рафаэлевой Мадонны? Да что бы осталось в природе высокого, если б отказать оной в идеале. Ибо высокое есть также в другом виде идеал.

Равным образом ошибаются те, которые приняв естественной идеал, противуполагают оной искусственному. Последней, конечно, различается от первого, но они ни мало не противны друг другу. Воображение возвышается над искусственным, следуя однакож законам природы и рассудка, в противном случае, оставляя область естественного, оно теряется в мечтательном или фантастическом. Чудесное есть также в некотором смысле мечтательное. Без сомнения, вся природа для человека чудо, но при всем том чудесное не надобно сливать с природным, а следовательно, (л. 113) и с идеальным, ибо чудесное разрывает узы природы. Истинное идеальное в самой области сверх'естественного носит на себе печать естественного. Каким сие образом происходит неиз'яснено; воображение, конечно, следует известным правилам, но сии правила остаются непроницаемыми в строении тела и души. Разве только в некоторых случаях сия непроницаемая завеса позволяет взглянуть в таинства природы, как то: в стихотворном изображении идеальных характеров и в пластическом искусстве. Воображение художника очищает предмет свой от всего общего нам с животными, не обезображивая и не нарушая однакож печати естественного. Таким образом является чистой человеческой и лучший божеской образ; в человеческом подобно Аполлону из-под резца какого-либо Фидиаса[1]. Таким образом произошли греческие статуи богов. Все прочие нации около того времени имели ложное понятие об идеальном, сливая оное с чудесным. Отсюда родились чудовищные произведения, разорвавшие узы природы и рассудка. В среднем веке старались олицетворить нечто отвлеченное и сие олицетворение составляло идеал. Таким образом Амадис (творение Бернарда Тасса, отца Тассова, во 100 песнях и более 7 000 стансов) будто б есть идеал совершенного рыцаря.

Из новейших народов италиянцы наиболее приближаются к греческому идеалу в пластическом искусстве и в живописи. Христианская и идолопоклонническая веры сколько ни различны между собою, одинаково способствовали к идеалу; и та, и другая представляют каждая в своем роде идеальные произведения, проистекающие из одного хотя различного начала веры... Младенец (л. 113 об.) Христос, ангелы, мадонны сколько ни различны от Аполлонов, Минерв, Диан и пр., но согласны между собою в том, что человеческое возвысила[1] до божеского или божеское низвела[1] в круг человеческого на картинах какого-нибудь Рафаэля, или статуях какого-нибудь Фидиаса.

Французы имеют свой идеал, искусственный и потому ложный. Придворный тон, мода суть у них законы, заменяющие законы природы; одним словом, не общее, но особенное. Они также,— по крайней мере, прежде — придерживались идеала среднего века, олицетворяя отвлеченные понятия, как то: в Генриаде, или во французскую революцию олицетворена была свобода.

NB. Не худо приметить, что не все искусства — идеальствующие, но одни в собственном смысле — подражательные. Музыка и архитектура, сколько одну ни производят от пения соловьев, а другую — от дерев, не суть подражательные искусства, ниже идеальствующие.

[1] Так в подлиннике.

Если представить себе естественное и идеальное, как две крайности, ниже которых ни опуститься, ни выше подняться, то сии две крайности, или два предела заключают в себе бесчисленные виды изящного, которое то к естественному, то к идеальному более или менее приближается.

О разделении изящного.

Из всех бесчисленных видов или изменений изящного наиболее принимаются врассуждении следующие: чистая изящность или красота форм, красота высокая и комическая. Нет сомнения, что изящное не может быть систематически разделено. Свободное эстетическое чувство не следует никакой системе. Конечно, почему[1] нам что-нибудь более или (л. 114) менее, так или иначе, прекрасным кажется, подвержено непременным законам, но сии законы скрываются под завесою человеческого строения тела. При сем том главное различие видов изящного, на которых эстетическое чувство преимущественно останавливается, не совсем непроницаемы; из физической и нравственной природы человека, по крайней мере, несколько можно об'яснить, почему чистая красота форм имеет столь обширное поле. Из начала естественного и идеального при всем их различии можно вывесть только обширную область высокого, эстетиками обыкновенно противуполагаемого изящному. Наконец, нельзя не приметить начала комической красоты, которая основывается на создании физического с умственным.

ГЛАВА I.

О чистой красоте форм.

Так как красота формы чувствуется то зрением, то слухом, то осязанием, которое обыкновенно заменяется глазом, или, лучше, во всех оных случаях эстетическим чувством посредством различных органов, то и выходят различные формы, из которых главнейшие: оптическая, пластическая и акустическая. Самая внутренняя красота мыслей и характеров подлежит законам эстетической формы. Чистая красота какой-нибудь формы основывается на начале эстетического единства или единообразия в эстетическом разнообразии. Баумгартен полагает, что вообще красота есть не что иное, как единообразие во разнообразии. Начало ложное, для подтверждения которого он и ограничился одною голою формою, приводя примеры большею частью из архитектуры, (л. 114 об.) ибо не везде мог приноровить оное, и потому начало одностороннее; одно нагое единообразие в разнообразии не составляет совершенной красоты. Конечно, рассудок от всякой формы того требует. Но сего не довольно, чтобы сделаться эстетическими, как единообразие, так и разнообразие должны быть чувствуемы. Одно чувственное благорасположение или удовольствие не есть чувство эстетическое, которое вообще есть нечто выше чувственного.

Красота оптической формы.— Ни одно чувство не может сравниться с зрением во всей обширности своей области и потому красота оптических форм преимущественно называется в обыкновенной жизни красотою. Под оптическою формою не надобно разуметь одного очертания или соразмерности, но вообще отношения.

Колорит.— Красота цветов теряется во мраке строения человеческого тела. Из'яснить, почему какой-либо цвет без всякой примеси более или менее нравится. Правда, от произвола зависят и таковую прият-

[1] Так в подлиннике.

ность называть красотою — истинная красота цветов состоит в колорите, или стройном соотношении красок друг ко другу. У величайших колористов, каков Тициан, краски сливаются неприметно и при всем разнообразии примечается только один главный цвет; и потому то все пестрое противно здравому вкусу. При всем том надобно различать истинный колорит от прекрасного. Истинный колорит, не будучи прекрасным, есть вместе и ложный.

Светомрак.— Светомрак (clair-obscur) не надобно сливать с колоритом; как последний есть смешение цветов, так первой — тени с цветом, или света с тенью. Красота све(л. 115)томрака зависит от согласного смешения тени и света, так, чтоб не было поразительного перехода, но или тень в различных изменениях сливалась бы со светом и производила бы, когда надобно, один свет, или наоборот. Таковый светомрак может быть даже идеальным, так то у Корреджия. Вообще в ломбардской школе он находится в связи с значением картины и потому там бывает значущ. Нидерландцы хотят одним своим светомраком, который при всей своей красоте не имеет выразительности, очаровать.

Очерчения.— Очерчения основываются на геометрическом размышлении, которое однакож не должно обнаруживаться; в противном случае действительное измерение низлагает эстетическое чувство. Одни геометрические очертания, которые каждый более или менее может делать, ни мало не прекрасны. Какие же именно прекрасны? Довольно ли одной Гогартовой извивающейся линии? Все покушения подвести очерчения под одно начало остаются тщетными. Конечно, вообще можно сказать, что те очерчения наиболее прекрасны, кои наиболее занимают воображение. Но сие начало слишком общее; разве те, где правильные линии смешиваются с неправильными? По крайней мере, известно, что прямые линии никогда не могут нравиться. Почему более овал, нежели сферическая линия, которой греки всегда избегали? Разве потому, что в них [глаз] всегда ищет какой-нибудь фигуры? Все сии исследования и догадки суть слабые опыты умозрения.

Кто желает познать красоту очерчений, тот пусть обратится к древним вазам, которые долгое время почитались напрасно этрусскими. Вкус новейших наций в области прекрасных (л. 115 об.) очерчений образовался по оным греческим вазам.

Достопримечательно, что самые прекраснейшие очерчения находятся в строении человеческого тела, когда оно во всем своем цвете, особливо в женском поле, который потому называется прекрасным. Наиболее оказываются отношения разнообразия к единству в соразмерностях. Эстетическая красота соразмерностей зависит от стройности, следуя одинаким законам с органическою природою. Но здесь опять умозрение ни мало не помогает. Летучая мышь и паук имеют в своем роде такую же стройность в соразмерностях, какую и прекрасный юноша. От чего же происходит отвратительность в соразмерностях тела оных животных?

Пластическая красота во всех своих отношениях следует оптическим законам.

Красота акустической формы, чувствуя слухом, требует согласия, так как красота соразмерностей требует стройности. Разногласия тоже для слуха, что ощущение соразмерностей для глаз. Одинаковые звуки столь же мало прекрасны, как и одинаковые соразмерности. Красота мыслей и характеров зависит в некотором смысле от красоты формы. Никакая мысль не может быть прекрасною, если не возбуждает множество других, кои все посредством оной относятся друг к другу. От прекрасной мысли не требуется, чтоб она была истинною, но только

занимательною. Она не должна быть с великим трудом логически выведена, но должна показаться вытекшею, как Минерва из головы Юпитера. Прекрасная мысль то одевается в картину (л. 116) приятную, то является в виде противуположности. Иногда в прекрасных мыслях, как в чистой воде, светится прекрасный характер, который в новейшем знаменовании слова, различаясь от великого, означает такое согласие сил, стремящихся к какому-либо нравственному единству. Если такой характер, что часто бывает, сообщается чертам лица, тогда он кажется прекрасным без всяких прекрасных очертаний и соразмерностей чрез одни взоры. Впрочем эстетический характер отличен от истинного, или доброго; греческие художники в статуях своих богов или героев выражали эстетическую красоту характера веселым спокойствием.

ГЛАВА II.

О высоком.

В произведениях вкуса все то называется высоким, что возбуждает понятие бесконечного, что представляется нам как нечто весьма великое и сильное, что превосходит наше ожидание, удивляет нас и приводит в изумление. Для величия, требуемого в высоком, не нужно, чтоб предмет был велик математически или физически. Нередко одна мысль, одно слово производит действия высокого, возбуждая в нас понятие бесконечного. Высокое, подобно быстрой и яркой молнии, продолжающейся одно мгновение, рождается в минуту самого сильного восторга и бывает в душе весьма короткое время. Лонгин, из'ясняя сущность его, говорит, что высокое в сочинениях есть самое возможное возвышение и превосходство слова, подобно громовому удару; вдруг поражающее и дающее всему такую власть и силу, которая приводит всех вне себя. Подвести под правила (л. 116 об.) высокое, раздробить и определить оное некоторые считают заблуждением и говорят, что высокое есть дар не искусства, но природы. В самом деле, как определить то, что не иначе производится, как токмо восторгом, не иначе чувствуется, как с исступлением и рождает ощущения, превышающие, кажется, человеческую природу? Чувствования, возбуждаемые высоким, превышают всякое выражение, и душа наша, как бы некоторым образом страждет, не находя достаточных слов для изображения оного. Таким образом определить высокое было и всегда будет одною задачею. Хотя Лагарп и приводит в своем Лицее несколько определений высокого, но он же находит их недостаточными.

Различие высокого от изящного.

Высокое, как вид идеального, различается от изящного вообще, хотя и не противуположно оному. Впрочем очень трудно оттенить словами впечатление высокого от впечатления, производимого прекрасным или изящным, хотя разность между ними весьма в душе нашей ощутительна. Изящное пленяет, даже восхищает избранными красотами ум, сердце и воображение; высокое поражает их величественным парением. Первое, постепенно вкрадываясь в душу нашу, не чувствительно делается ее повелителем, второе такое сильное делает впечатление, которому невозможно противиться. Первое, исполняя приятными чувствованиями, приводит нас в забвение обыкновенного состояния, второе, поставляя нас как бы выше самих себя, производит в душе нашей сильное движение и нередко исторгает слезы удивления, чувствительности. В первом все избрано и прекрасно, во втором все чрезвычайно и нео(л. 117)быкновенно. Впрочем мы легко можем дать отчет

в чувствованиях, произведенных изящным и прекрасным, но в произведенных высоким сделать того не в силах. Когда мы слышим прекрасную сцену, прекрасной отрывок поэзии или прозы, или когда смотрим на прекрасную картину, нас спросят, для чего все сие приносит нам удовольствие, то всякой по своим сведениям может сказать тому причину и более, либо менее будет хвалить в таких произведениях сложность и подробность мыслей, слог, согласие, украшения, словом, все то, что искусство научает хорошо познавать, а вкус хорошо ценить. Но когда славный заговорщик Бюсси ле Клерк является в парламент, последуемый своими телохранителями, повелевает судиям или произнести приговор, уничтожающих права дома Бурбонского, или следовать за ним в Бастилию, никто ему на сие не ответствует, но все встают и следуют за ним; или, когда великий Сципион, осужденный трибунами, является в собрание народа и вместо всякого защищения говорит: «Римляне! 20 лет тому, как я в этот день победил Аннибала и покорил Карфаген. Пойдем в Капитолию принести благодарение богам», когда при сих словах поднимается всеобщий крик и весь народ за Сципионом последует, тогда, если бы кто спросил: для чего народ находит слова сии так прекрасными, то кто бы захотел отвечать на странный сей вопрос, да и что такое можно было бы тогда ответствовать, кроме того, что мы приведены вне себя, что Сципион имеет высокие чувствования и что высокому свойственно всех покорять себе. Попытайся придумать, что Сципион мог бы (л. 117 об.) сказать другое вместо сказанного им; замени каким-нибудь изречением молчание судий пред мятежником Бюсси, твое выражение все будет ниже.

Все сие показывает нам, что изящность в природе и в искусстве нравится нам, возбуждая в сердце приятные ощущения, меж тем как высокое производит в нас разительные впечатления и непреодолимою властью увлекает душу нашу. Между прекрасным и высоким разница такова, как между пленительным сельским видом и грозною нависшею скалою. Итак, чувство высокого служит нам способом выдти из чувственного мира, в коем красота охотно желала бы удержать нас пленными. Не мало-по-малу, но вдруг и с неким потрясением исторгает оно самосущий дух из сетей, сплетенных ему утонченною чувствительностью, так, что бывает часто достаточно одного действия высокого к тому, чтобы расторгнуть сии цепи и возвратить обольщенному духу опять все его напряжение и дать ему восчувствовать свое достоинство. Красота под именем богини Калипсы очаровала сына Улиссова и могуществом прелестей своих долгое время удерживала его на острове пленным. Долго мечтал он бессмертному в ней божеству воздавать почтение, обожая токмо роскошь, но высокое впечатление мгновенно обымает его в виде Ментора. Он воспоминает благороднейшее предопределение свое и становится свободен.

Различие высокого от идеального.

Самой идеал не есть одно и то же с высоким, хотя последнее и находится в области первого. Высокое в (л. 118) чужой области имеет собственную и заключает другие виды идеального. Венера Медицийская почитается образцом идеальной грации, но ни чуть не высокое произведение. Многие идеальные виды едва совместны с высоким, как то Амуры в греческом слоге[1]. Должно быть чему-либо великому в идеале, или иметь нарочитое пространство, чтобы назваться высоким. Но сие величие и пространство должны хотя отчасти вмещаться в нашем понятии, ибо величина удивляет нас тогда только, когда мы

[1] Так в подлиннике.

можем измерить ее посредством сравнения с другими. Чего вовсе не понимаем, то нас ни мало не трогает. Когда Гомер, и по его следам Гораций, говорят о Юпитере, что он манием очес приводит все в движение (cuncta supercilio moventis), то непостижимое воли божией управление становится для читателя несколько понятно посредством чувственного образа, и читатель удивляется чудесному могуществу Юпитера. Кто, говоря нам о вечности, скажет, что она есть бесконечное продолжение времени, тот мало нас тронет, ибо мы при сих словах ничего себе представить не можем, но когда Галлер вещает в стихах своих, что мысль, быстротою полета превосходящая движение времени, звука ветров, и даже лучей солнечных, изнемогает пред вечностью и не находит ее пределов,— то мы некоторым образом получаем понятие о сем непостижимом пространстве, ибо познаем, что оно превышает все нами воображаемое.

(л. 118 об.) Условие высокого есть простота. Предметы высокие не производят иначе своего действия, как поколику они простые. Все искусственное и запутанное не идет к высокому. Важные готические здания много теряют мелочью своих украшений. Множество малых островов, рассеянных в океане и останавливающих собою взор наш, чувствительно уменьшают величество явления. Множество облаков, рассеянных по небу, уменьшают величие чистого небесного горизонта. Бесконечное, к которому относится высокое, удивительно как просто и потому то чем более понятия приближаются к бесконечному, тем более исчезает всякое разнообразие. Греки, более нежели кто-либо знавшие природу высокого, требовали простоты в трагедиях.

Виды высокого.— Рассматривая виды высокого, заметить должно, что предметы, возбуждающие в нас удивление, действуют или на воображение или на нравственность, ибо мы, удивляемся таким вещам, о которых не можем иметь ясного понятия, или которые не вмещаются в нашей способности чувствований. Все понятия и представления, посредством внешних чувств получаемые, составляющиеся в воображении и производимые разумом, могут возбуждать в нас удивление. Невозможно без удивления взирать на величие природы среди гор Альпийских, и кто в состоянии подобные предметы изобразить или описать прилично, тот достигает только чувственной высокости. Но еще далее простирается высокость воображения, которое творит для нас (л. 119) другой мир чувственной. Мильтон и Клопшток в своих изображениях неба и ада достигали высокого. Какое чудесное богатство воображения в их описаниях и разум имеет также свои высокие предметы, таким образом философы дают нам высокие понятия о строении мира. Мы называем также высокими истины и наблюдения, когда некоторые немногие открытия озаряют ясным светом обширное пространство в области философии. Мы удивляемся предметам вообразительной силы [1] по причине множества их и разнообразия вещей, которые вдруг нам представляются, которых мы обнять не в состоянии или за которыми следовать не можем, также удивляемся от внезапности, когда предметы явлением своим предваряют наше ожидание, или когда находим истину в очевидном противуречии между нами. Далее, когда великое становится малым и, наоборот, малое великим, когда из беспорядка и замешательства возникает порядок, тогда рождается высокая мысль в тех, кои постигают, что из видимого беспорядка в физическом и нравственном мирах составляется прекраснейший порядок в целом. К высокому приближается и, следовательно, мысль того же стихотворца, когда он в (л. 119 об.) поэме

[1] Так в подлиннике.

своей о происхождении зла, описавши восхитительными красками натуру внезапно восклицает: «И вот мир, которым недовольны мудрецы наши». Сюда принадлежит также восклицание Цицероново: «Какое печальное позорище! Спаситель отечества принужден из него удалиться, а изменники живут в нем спокойно!»

Так Гораций говорит о непреклонности гордого духа Катонова: «Et cuncta terrarum subacta praeter atrocem animum Catonis!» Какая величественная картина представляется в сих стихах Дмитриева, обращенных к богу: «Ты дхнешь и движешь океаны; речешь и вспять они текут». Таков первый вид высокого, господствующего над нашим воображением.

Другой вид его возбуждает в нас удивление, действуя на чувствительность сердца. Когда мы чувствования, страсти, внутренние силы и внешние действия других людей сравниваем с нашими собственными, тогда необходимо возбуждается в нас удивление, как скоро видим, что в сих отношениях мы по слабости своей не можем с ними сравниться. или когда не можем сделать того же без чрезвычайных усилий. Отсюда происходит высокое в расположениях сердца, в характерах, в действиях и даже в неодушевленных предметах, приводящих в движение нашу чувствительность, сие то высокое называется нравственным.

Чувствования чести, правоты, любви к отечеству могут быть весьма сильны и, следовательно, возбуждать в нас удивление; тогда мы называем их высокими. Таким образом удивляемся истинно высокому в благородном чувстве великодушия, прощающего тяжкие оскорбления, пример тому видим в Августе, когда он говорит Цинне, посягнувшему на жизнь его: «Soyons amis, Cinna, c'est moi qui t'y convie!» Достойно также удивления мужество первосвященника Иоада, когда при опаснейших обстоятельствах, которыми ему угрожают, он отвечает спокойно (л. 120): «Je crains Dieu, cher Abner, et n'ai point d'autre crainte». Равным образом принадлежит к высокому твердость Милона который, по словам Цицерона, почитает только то место заточением, где не может он быть добродетельным. Таковы примеры высокого в чувствованиях и характерах, коими люди, необычайными доблестями души отличающиеся, преимущественно изобилует греческая и римская история[1].

Сия высокость имеет место не только в добром, но и в злом и даже в самом богоотступничестве; но в последнем случае мы, удивляясь, чувствуем страх и отвращение. К сему роду высокого принадлежит речь Сатаны к аду после его падения: «Приветствую вас, ужасы, вас приветствую, о, преисподняя и ад глубочайший. Примите в свои недра нового обитателя, который носит в себе дух ни от места, ни от времени не изменяющийся. Он живет единственно в своем духе и может в нем превратить небо в ад, и ад в небо. Здесь, по крайней мере, мы будем свободны. Всемогущий ничего не сотворил здесь, в чем стал бы он нам завидовать. Он не изгонит нас отсюда». Подобным примером служить может речь Аякса в Илиаде, готового сразиться с самим Юпитером.

Всякая душевная способность, действующая с необычайной силою, заключает в себе нечто достойное удивления. Крепость духа, никаким противностям не покоряющегося, отважности мужество, не удерживаемое никакими препятствиями, имеют в себе нечто великое, хотя бы оная чрезвычайная сила души устремлена была и не к доброй цели.

[1] Так в подлиннике.

Иногда в великом характере зло бывает случайным, а добро — существенным его свойством.

Как, с одной стороны, твердость духа, никакими противностями не колеблемого, пребывающего спокойным при всех опасностях, имеет в себе (л. 120 об.) нечто высокое, так, с другой, сильно волнующие страсти могут произвести изумляющие действия. При спокойном величии души, твердой и непоколебимой, мы удивляемся крепости ее, сопротивляющейся жестоким ударам; при сильных порывах некоторых страстей необыкновенная, превосходящая всякое чаяние деятельность непреодолимою властью своею принуждает нас удивляться. Оное спокойное величие подобно горе, неподвижно утвержденной, возносящей вершину свою выше облак; напротив того, величие действующее может быть сравниваемо с быстрым потоком, увлекающим с собою все, на пути ему встречающееся. Таков ярый гнев Ахиллеса, даже грозными волнами Ксанта не удерживаемого, таково удивительное мщение Кориолана в Томсоновой трагедии. «Нет нужды, кто из нас будет начальником. Дай мне самое низшее звание в войске, уведает вся Италия, и всем будущим векам об'явит слава, что я здесь находился, что Кориолан был в полках народа великого при разрушении господствующего Рима». Подобным образом Димитрий Самозванец говорит, предавая сам себя в отчаянии смерти:

«Ступай во ад душа и буди вечно пленна.
О, если бы со мной погибла вся вселенна».

И слова сии служат примером высокого порочных чувствований. Все сие нам доказывает, что эстетическое чувство для высокого нравственного не требует чистой нравственности, ибо эстетическое величие не состоит в самом нравственном, но в том, что нас изумляет в нравственной природе. Необыкновенная сила в характере заставляет нас удивляться самому злодею; мы уважаем самые его страсти, ибо они возбуждают в нас изумление, но при всем том надобно, чтоб герой умел владеть самим собою. Ахилл жертвует своим гневом дружбе, Ахилл из чудовища делается агнцем, когда видит у ног своих Приама. (л. 121) Самый Мильтонов Сатана есть образец высокого в своем роде. Он является достойным титла обладателя ада. Тот же самый Сатана у Клопштока есть карикатура[1]. Но какой Мильтонов Сатана сравнится с Клопштоковым Мессиею, или Валленштейн с Орлеанскою девицею. Столько чистая высокая нравственность превышает на самых весах эстетические чувства великую ненравственность.

Страсти, как страсти, не имеют в себе ничего великого ни нравственно ни эстетически. Надобно, чтоб с нами соединился энтузиазм, тогда героя, предавшегося погибельной страсти, не только извиняешь, но даже сострадаешь, ибо он ослеплен энтузиазмом; есть страсти, которые самой наш рассудок увлекают за собою, как то: любовь, честолюбие и пр., которые французами преимущественно называются великими. Борьба таких страстей с судьбою имеет нечто изумительное и производит трагически трогательное. И сим, вопреки Дидероту и Лессингу, отличаются собственно называемые трагедии от мещанских, которые никогда не могут произвести высокого. Даже превозмогающие страсти, действующие над людьми, душевною крепостью одаренными, показывают нечто высокое. Кто без содрагания взирать может на страдания Иова, проклинающего день своего рождения, или на ужасную муку умирающего Геркулеса, или на жестокую боль, терпимую Филоктетом,

[1] В тексте далее идет в скобках: «(??) (в рассуждении Христа risum teneatis, amici)».

или на мучительные терзания Аббадоны? Даже сильная любовь, от какой, напр., страдала Сафо, удобна возбудить удивление.

Различие высокого от поразительного.— Так как истинное высокое есть то, что исполняет изумления благородные души, по законам естественного закона, согласного с разумом, то для сих то благородных душ одно поразительное не есть высокое. Поразительность, или трогательность состоит в таком расположении духа, в котором владычествуют страсти, возбужденные нравственными представлениями. (л. 121 об.) Внезапное потрясение только тогда может возбудить и усилить чувство высокого, если за ударами, или, как говорят, внезапным переворотом последует тихое изумление, в коем рассудок приходит опять в самого себя. Коротко сказать, если поразительное прикрыто трогательным или, что называют, патетическим. Таково знаменитое Лессингово выражение: «doch» знаменитое «понеже» [1]. Таково Корнельево «qu'il mourut!» Здесь не одно поразительное потрясение, но такой удар геройской решимости, которому разум продолжает изумляться. Но такое поразительное, как пистолетные выстрелы на театре, сколько они ни пугают, особливо женский пол, который иногда из одной моды падает в обморок, не имеет ничего общего с высоким, коль скоро заглушает совсем внимательный рассудок. К чувству высокого примыкается также чувство страшного. Страх возбуждается тем, что грозит вдруг уничтожить наши силы и чему мы никак противиться не в состоянии. И потому страх причиняется всяким внезапным и противу обыкновеного течения вещей встречающимся явлением, особливо если сие ознаменовано вместе разрушением для человеческих сил, следовательно, хотя страшное можно употреблять для усиления чувства высокого, но оно от самого высокого весьма различно. Коль скоро страшное производит внезапный испуг, в котором совершенно исчезает эстетическое размышление, в таком случае оно не имеет никакого свойства высокого. Но совсем другое значит эстетическая боязнь, рождающаяся от чувства бесконечного, вдыхающая ужас, занимающий нас, изумляющий нашу душу и заставляющий нас войти в самих себя. Сия боязнь возбуждается, напр., при слухе рева волка, во время бури, при виде величавых громад, угрожающих падением, при виде колоссальных (л. 122) развалин, изумляющих нас иногда не столько своим величием, сколько тем, что [они] заставляют вообразить ужасную силу, причинившую им разрушение и погружают в задумчивость, напоминая о нашей ничтожности... Муза г. Ломоносова изобилует высокими местами, заимствуемыми изо сего источника. Так изображает оно в одном месте удивительную и вместе страшную картину, бунтующей природы:

«Нам в оном ужасе казалось,
Что море в ярости своей
С пределами земли сражалось;
Земля стенала от зыбей;
Что вихри в вихри ударялись,
И тучи с тучами сражались,
И устремлялся гром на гром;
И что надуты вод громады
Текли покрыть пространны грады,
Сравнять хребты гор с влажным дном».

[1] В начале записей А. М. Горчакова в той же тетради (л. 51 и след.) находятся краткие сведения о славянской грамматике и приводится такое об'яснение: «Славянский язык самый древний и обширнейший едва ли не один со скифским. Отрасли его — российский, польский, булгарский, кроатский, далматский. Российский язык ближайшая ветвь славянского; отнимите от корня, — она засохнет».

Вот у него же не менее ужасная буря:

«От стран, родящих град и снеги,
С Атлантской бури высоты
Стремится чрез бугристы брегн,
Являя страшные следы.
С дубами камни похищает
И горы двинув раздирает,
Волна встречается волнами,
Песок валит со дна с китами,
Там в пене стонет новый свет».

И, наконец, ужасное подобно страшному, коль скоро подавляет эстетическое чувство и приводит в замешательство и бесчувствие, тотчас переходит в ужасное отвратительное. Таковы были некоторые трагедии, во время французской революции представленные. То же самое ужасное тогда принимает на себя черты высокого и касается области оного, когда искусство умеет перенести в оную область отвратительную наготу под покровом трогательного трагического или епического, подобно пище, приготовленной для обманутого Фиеста из мяса детей его, на адской пирушке Уголина. Описание ада по справедливости называется ужасно высокое Мильтоново[1].

Разделение высокого.— Высокое бывает или внутреннее или наружное. Первое есть нравственое, последнее разделяется на математическое, основывающееся на мере и числе. Математические познания ни мало не препятствует, даже служат чувству высокого, однакож тогда, когда математическая занимательность уступает эстетической. Астроном тем больше может быть об'ят чувством высокого, созерцая небо, чем известно ему ужасное расстояние одной планеты от другой и потом[1] вся громада света теряется в бесконечности. Правда, если один рассудок берет верх над чувством, в таком случае он подавляет чувство высокого астрономическими выкладками, и потому может случиться, что (л. 123) астроном гораздо хладнокровнее смотрит на небо, нежели другой кто-либо чуждый математических сведений, но одаренный эстетическим чувством. Египетские обелиски и пирамиды изумляют нас однако ж не тогда, когда математически по частям разбираются, но действуют всею своей массою. Обширному пустому пространству, кажется, надлежало бы более быть высоким, нежели сим громадам; при всем том необозримая равнина немного в себе имеет великого, хотя, повидимому, простирается в бесконечность, ибо глаз ищет точки отдохновения, равно как и мрачная ночь, ибо взор чувствует только отсутствие света. Египетские пирамиды по уверению французских путешественников, тем более кажутся высокими, что окружены необозримо степью, где взор на них только останавливается. Необозримая пустота имеет в себе что то страшное. Воображение, чувствуя себя не в состоянии об'ять оное, теряется в ничтожестве. Таковы долины Клопштоковы в первой песни Мессиады. Небо, усеянное звездами, независимо от всех астрономических наблюдений, тем более становится высоким, что взор за видимыми звездами кажет новые. Вообще везде, где только высокое действует геометрически, эстетическое чувство требует противуположности между высоким и бесконечным. При сем том, возвращаясь к прежнему, посторонние, или пришлые размышления не всегда разрушают действия высокого, даже усиливают оное, ежели, напр., вечность или бесконечное время присоединяется к части бесконечного пространства, где стоит какой-нибудь колосс. Если в раз-

[1] Так в подлиннике.

валинах соединяется великое с прекрасным, то возбуждается изумление, соединенное с сожалением, что жестокие разрушители не пощадили самую красоту. Таковы развалины Пальмиры.

Арифметически высокое.— Высокое, основывающееся на числе, имеет место, когда последнее так велико, что воображение теряется в оном, как в бесконечном. Вообще числа не должны быть ограниченными, но казаться бесчисленными, чтоб произвесть высокое. Однакож такое высокое не должно во зло употреблять, повторяя часто одно и то же, хотя бесчисленное число, как то миллионы, оно становится определенным (л. 123 об.) от частого повторения. Клопштоковы мириады, будучи слишком часто повторяемы в его Мессиаде, теряют свою цену. Какой-нибудь легион у римлян был то же, что у нас бригада, но какое различие в чувстве при первом и при втором слове.

О высоком динамическом.— Высокое динамическое, производимое физическими силами, есть так же, как и прочие, относительное, ибо что значит целая солнечная система для всесильного существа, как не одна пылинка? создать другую или уничтожить для него все одно и то же; но нам кажется в физическом мире нечто высоким потому, что превышает наши силы. Борьба муравьев не имеет в себе ничего высокого, но заставь льва бороться со слоном, и тогда представится великое зрелище. Одушеви какой-нибудь Монблан, он будет смотреть на самое прение стихий, как мы смотрим на муравьиную борьбу. Сие суждение физических сил столько нам врождено, что такой великой стихотворец, как Гомер, почитал героя своей поэмы несовершенным, если он в то же самое время не одарен великими физическими силами. Самый Юпитер должен был иметь непомерную силу, чтоб сделаться совершенным, как то видно из 8 книги, где он говорит с гигантом. Если первый из греческих богов представлен не иначе, как только сильнейшим, то само по себе разумеется, что достоинство его героев измерялось большею или меньшею физическою силою, но Гомеров век находился еще в младенческом образовании и вероисповедание было чувственное.

Самое величайшее в сем роде, возбуждающее понятие бесконечного, надобно искать за пределами органической природы, там, где сила, кажется проистекет из превечного начала всех сил, и потому водопады Ниагары и Рейна имеют что то неописанно великое для эстетического чувства. К сему роду явлений преимущественно принадлежит бурное море. Колоссальные развалины изумляют нас иногда не столько своею величиною, сколько тем, что заставляют вообразить ужасную силу, причинившую им разрушение (л. 124) и погружают в задумчивость, напоминая о нашей ничтожности.

Высокое торжественное.— Высокое в некоторых случаях наклоняется к торжественному, которое составляет переход к собственно, так называемому, изящному. Вообще торжественное принадлежит к этикету. Оно должно возбуждать нас к важности, в противном случае, если смешивается с комическим, как то случается при некоторых католических обрядах, сия торжественность исчезает и производит смех. Высокое, к коему принадлежит и торжественное, не может стоять на ряду с комическим, разве только в некоторых случаях. Греки, конечно, могли терпеть в самых трагедиях комическое, ибо их вера, которой они обязаны началом трагического искусства, ни мало не высокая, даже смешная. Но что может быть нелепее тех торжественных набожных явлений, когда испанцы мешают даже шуточное.

Высокое великолепное.— Великолепное также кажется принадлежит к области высокого, возбуждая в нас понятие богатства. Такова Фидиева статуя из слоновой кости. Архитектура иногда великолепием

возбуждает в нас некоторое чувство высокого, но великолепие часто превращается в щегольство. Нередко великолепие зависит от идеального украшения, как то Коринфский столб, и тогда оно имеет настоящую прелесть, основывающуюся на непременных законах прекрасного.

Таковы суть различные виды высокого в зримой и незримой природе, не только стихотворство и красноречие, но живопись и другие искусства имеют выражение высокого в своей власти. Рафаэль отличился в всех родах оного. Свидетельства древних писателей и самые памятники древних художеств удостоверяют нас, что ваятели тех веков с удивительным искусством умели выражать высокость души и характера. На истукане Юпитера умели они напечатлевать божественное величие, на изваянии Минервы — божественную премудрость и т. д. Нельзя сказать, чтобы и зодчество не имело своей высокости, нетрудно из'яснить, (л. 124 об.) каким образом здания удобны сделать сильное впечатление могущества и величия и, следовательно, возбудить чувство благоговения и даже ужаса. Музыка также не лишена способов управлять чувством высокого; в ее власти находится изображение страстей и спокойного души величия.

Чтоб хорошо писать, надобно прежде хорошо мыслить, говорит Гораций, сие правило можно применить к упомянутым видам высокого. Кто желает сего достигнуть, тому надобно сперва иметь природную крепость духа и благородства сердца. Без сих преимуществ трудно самому изобразить высокие понятия и чувствования и столько же трудно от других ими воспользоваться. Первое и лучшее средство, говорит Лонгин, достигнуть до высокого состоит в природной способности производить высокие понятия; второе — в способности к чувствованиям сильным и благородным. От природы лишенной даров сих не получит их ни чрез какие усилия. Напротив того, врожденная способность может быть усовершенствована обстоятельствами времени и прилежным изучением. Никто да не воображает себе, будто Гомер или Демосфен, Фидий или Рафаэль, творениями своими заслуживавшие удивление потомства, единствено от натуры получили дар высокого. Нет сомнения, что природа кладет семена высокого в разум и сердце. Но созрение их производится внешними причинами. Кому угодно иметь на то доказательства, пусть сравнит Гомерово описание Олимпа и Тартара с Мильтоновым небом и адом. Можно ли оспаривать у Гомера высокость воображения? Однакож он должен уступить английскому поэту. И для величайшего таланта потребна пища извне, если надобно, чтобы он произрастил плод высокого. Рассудим, сколь многие отличнейшие умы в XII и XIII столетиях углублялись в сокровенности (л. 125) схоластичной философии, и при всем том, сколь мало открыли они великих истин. Таковы были обстоятельства времени, что великие люди могли заниматься только мелочами диалектики. Подобным образом из'ясняет Лонгин, почему в его времени высокость несовместна была с красноречием. Главною тему причиною, говорит он, есть несчастное корыстолюбие, овладевшее всею жизнью нашею и всеми силами нашей деятельности, ибо ненасытная жадность блаженства, прибавляет Лонгин, от которой мы все изнемогаем, жадность вместе с негою и сладострастием подавляют все наши благородные способности.

Итак, художник не все еще имеет, если от природы получил он расположение к высокому. Время, в котором живет он, предметы, которыми он занимается, народный характер его современников и другие случайные, но действующие на ум его обстоятельства, должны быть подпорою природной его способности. Славный Corneille, первый учредитель трагической сцены во Франции, имел, конечно, лучшее распо-

ложение к высокому, однакож не часто ли бывает он надут там, где бы мог быть высоким? А это приписывать должно не чему-либо другому, как оставшимся еще в его время романическим понятиям о рыцарской храбрости и отчасти странному обращению с женским полом. Что может быть отвратительнее тех слов, которые вложены им в уста Язону:

«Jason ne fit jamais de communes maîtresses,
Il est né seulement pour charmer des princesses,
Et aurait l'amour s'il avait sous les lois
Changé de moindres coeurs que des filles de chois».

(Médée, Ac. I, sc. I)

И это написано человеком, который в том же самом явлении на представляемые Медее возражения, что она ненавидима своим отечеством и что покинута вероломным своим супругом и на вопрос: Dans un si grand malheur que vous reste-t-il? — заставляет героиню свою произнесть ответ им истинно высокий: Moi, moi, vous dis-je, et c'est assez. Но когда тот же поэт заставляет Дона Родрига на следующий вопрос отца его: Rodrigue, a tu du coeur? произнести ответ досадительной и нелепой: (л. 125 об.) Tout autre que mon père, то из сих слов видно, что их приписывать должно не столько поэту, как предрассудкам его времени.

Имея природное расположение к высоким мыслям, невсегда можно предохранить себя от заразы обычаев своего века. Выспренний ум Мильтона, увлеченный силою тогдашнего схоластического мудрования, не унижал ли себя употреблением слов, неприличных неизреченному величеству бога Саваофа? И не справедливо ли замечает Цицерон, что Гомеровы басни[1] имеют все слабости человеческие. Итак, расположение к высоким мыслям должно быть подкрепляемо внешними обстоятельствами. Надобно, чтобы величайший ум, высокие истины предлагающий, был руководим здравою философиею, как Поппе и Галлер; к тому потребно также богатое и пламенное воображение, потребны сведения обо всем, что ни есть прекрасного и великого в натуре. Вития с умом и духом Демосфена или Цицерона в отечестве сибаритов пленял бы слушателей не иным чем, как токмо остроумными безделками, отнюдь не высокими мыслями. Невежество и суеверие, возобладавшее характером народным, препятствуют уму познавать высокие истины, а нравственные или политические лжеумствования, соделавшись господствующими, подавляют высокие чувства.

Теперь должно еще заметить, что предмет может быть высоким или по собственному внутреннему величию, или же что он получает характер высокости от того способа, каким бывает представлен. В первом случае высокому принадлежит название существенного, во втором — случайного. Есть вещи, которым по необходимости мы удивляемся, как скоро узнали о них или их чувствуем. Кто может представить в уме своем громаду всемирного здания, не ощутив в то же время высокого чувства в душе своей? Так и каждое выражение души возвышенной производит восторг в сердце человека, умеющего чувствовать оного цену. Так и каждое ужасное происшествие поражает нас, когда мы видим его или (л. 126) слышим повествование. Но понятие, которое часто мы имели, ничего особенного не чувствовав в своем сердце, при некоторых обстоятельствах может представиться нам в ярком свете и произвести в нас сильное впечатление. Примером тому служит пред-

[1] Так в подлиннике; вероятно, следует читать «боги».

ставление вечности и неизмеримого величия божия; сии предметы, хотя сами по себе величественны, однако весьма трудно для воображения представить их себе с некоторою ясностью. В этом случае талант поэта оказал немалую помощь. Подобным образом всем известна самая простая, обыкновенная истина, что великие и сильные мира сего смертны суть как прочие люди, однакож сия истина близко подходит к высокому, будучи выражена Горацием, который сказал: Pallida mors aequo pulsat pede pauperum tabernas, regumque turres. Подобно сему и Державин говорит:

«И бледна смерть на всех глядит.
Глядит на всех и на царей,
Кому в державу тесны миры,
Глядит на пышных богачей,
Что в злате и сребре кумиры,
Глядит на прелесть и красы,
Глядит на разум возвышенный,
Глядит на силы дерзновенны,
И точит лезвие косы».

Всякому известно, что смерть разрушает различие чинов и званий, но сия простая мысль в одной арабской повести облечена характером удивительного и высокого: славный калиф Гарун аль-Рашид нашел однажды пустынника, повидимому, с великим вниманием расматривающего череп главы человеческой.— «Что ты делаешь»,— спросил калиф.— «Стараюсь узнать, отвечает пустынник, чей был этот череп — нищего или монарха». Вот истина самая обыкновенная, искусно облеченная в одежду величественную. Так и прочие мысли, будучи само по себе высокими, посредством выражения могут быть еще поставлены выше. Мысль об истином философе, размышлениями своими просвещающем (л. 126 об.) род человеческий, сама по себе величественна, однакож Клейст умел придать ей еще большее достоинство, сказавши, что ночной светильник мудреца освещает всю вселенную. Здесь соединена существенная высокость с случайною. Последнюю Лонгин приписывает искусству и подробно рассматривает ее как принадлежность поэзии и красноречия. Упомянув, что сия высокость может заключаться в грамматических и риторических фигурах, в тропах и других приличных выражениях, наконец, даже в тоне голоса и течении слова, он об'ясняет правила множеством удачно избранных примеров. Желающим достигнуть высокого выражения, советуем часто и внимательно читать Лонгиново сочинение о высоком.

Примечание: Когда художник приобучит свою врожденную способность удачно и быстро возноситься до высокого, то надобно, чтоб при некоторых обстоятельствах, особенные причины служили к тому побуждением, ибо великие мысли и чувствования рождаются только от важных случаев; невозможно иметь высоких мыслей о вещах мелких или удивлять великими подвигами в маловажных занятиях. Сверх [сего], надобно выражать мысли свои соразмерно важности предметов, ибо и высокий предмет от неприличного выражения теряет свою цену и важность в глазах зрителя или читателя. Все выисканное и затейливое не совместно с высоким. Как в мире нравственном люди благородно благомыслящие идут всегда прямою дорогою, а мелкие души избирают лукавые средства для своих действий, так и в художествах хитрая затейливость противна истинному величию

Предмет, по существу своему великий, без всяких излишних прикрас удобен сделать сильное впечатление. И он изображается самыми простыми знаками.

Рассуждение о великих характерах.

(л. 127) Принесши дань умопорождениям искусств в обширной области высокого и рассмотрев в тишине внутреннего ощущения и глубокого внимания величественные произведения природы, с удовольствием и нечувствительно обращаются взоры наши на крайние добродетели и качества нашей души, те качества, обладая коими многие герои произвели отличные и приводящие в изумление свет деяния. Исследование причин сих великих деяний и определение отличных характеров должно быть занимательнейшим и вместе полезнейшим предметом. Что есть великий характер? Из каких составных начал оный слагается? Какие производит он действия в мире нравственном. Какие обстоятельства содействуют к его развитию? Вот вопросы, кои надлежит об'яснить и разрешить на их начала.

Гений есть совершенство ума, а великий характер есть совершенство воли. Совершенство человека, в полном смысле взятого, состоит в соединении великого гения с великим характером.

Нет возможности возвысить гений до совершенного равенства с характером, ибо гений есть дар природы; напротив, можно возвысить характер до известного превосходства гения, ибо характер состоит в воле и в сем отношении наше величие зависит только от нас.

Отличие доброго характера от нравственного не менее ощутительно, как и разность между прекрасным и великим характером. Добрый характер есть тот, коего склонности, страсти и действия по одному только предназначению природы не имеют в себе ничего зловредного; напротив, характер нравственный предполагает то, что все чувствования, понятия и действия какого-либо человека имеют твердое и определенное направление к порядку и правильности; посему первый имеет достоинство отрицательное, а второй положительное; с первым люди рождаются, а второй образуется; первый есть (л. 127 об.) следствие обстоятельств, а второй есть плод упражнения. Но добрый характер есть тот, коего отличительные черты составляет бескорыстие. Он чужд страстей обыкновенных и не терпит личных уважений; естественная разность доводит его всегда почти до самозабвения; одна красота действий трогает его; одни благодеяния составляют жизнь его; он состоит в пленяющей гармонии чувствий с идеалом благородства. Но и сей характер может быть слабым и не иметь энергии, нужной к произведению прекрасных действий.

Великий характер есть нечто всесовершенное и весьма редкое. В нем соединяется прекрасное с высоким. Сила воли, хотя бы она была адамантовой крепости, никогда сама по себе не составит великого характера. Энергия в каком-либо человеке еще [не] может удостоверить нас ни в его цели, ни в его средствах. Характер возвышеный, величественный и благородный также еще не составляет великого характера, ибо в нем может недоставать силы и твердости, но без возвышенности души не может быть великий характер, ибо одна сия возвышенность определяет важность цели и отвергает низкость средств.

Таким образом великий характер заключает в себе два составные начала, силу воли и владычество понятий над нуждами и пользами. Раскроем сии два начала.— Дайте мне, говорит Архимед, точку и я подниму весь свет.— Человек с характером находит сию неподвижную точку в самом себе; эта неподвижная точка есть его воля. Для произ-

ведения величайших дел в нравственном мире, для того, чтобы хотеть с силою, с целию и с надеждой на верный успех, довольно только захотеть. (л. 128) В мире находятся только две силы: природа и воля, или что то же—необходимость и свобода. С первого взгляда, могло бы показаться, что природа должна подавать свободу, но при всей ее грозности и деятельности человек не должен бояться ни того, чтобы стать в параллель с оною, ни того, чтобы вступить в бой с нею, ибо если воля и не может всегда подчинять и изменять природу, то и природа, с своей стороны, не может восторжествовать над волею, потому что воля может ей противиться, держать ее в известных пределах, а если иногда и покорится, то и в сей зависимости владычество над собою будет неотдельною ее принадлежностию. Посему воля есть первейшая из сил, а сила первая из принадлежностей характера, следовательно, в ком нет сей драгоценной принадлежности, тот, по выражению французов сколь смелому, столь же истинному, совершенно не имеет характера. Но одна сила воли не составляет великого характера; главное дело состоит в направлении воли. Так как нужды и польза служат большею частию предметом или целию для воли, то, к сожалению, большая часть людей унижают характер свой, не хотя вознестись выше нужд и личных выгод. Их воля служит удовлетворением первых и причиною для вторых, их свобода есть только средство, сближающее с ними полезные и приятные предметы. Таким образом, духовное и возвышенное в человеке подчиняется грубому и низкому. Так Аполлон, пася стада Адметовы, поступками и обращением совсем уничтожил божественные дары, в удел ему данные.

Обыкновенные люди забывают, что образ их жизни, или характер должен быть собственным их произведением. Они, ограничиваясь механическою работою, делаются лишь простыми ремесленниками. Отпечаток характера у большей части людей походит на ту обрисовку фигур, которую ветер чертит на песке, или действие элементов печатлеет на материи. Как первые, так и вторые, не будучи произведением деятельного разумения, суть только следствия слепых причин. Здесь получает начало свое крайняя слабость характеров и низость оных. Здесь и (л. 128 об.) сею то печальною истиною поясняется мрачная картина, представленная нам несколько раз историею мира. Сквозь мрачную перспективу сей картины прежде всего представляются взору нашему те буйные люди, кои, дыша неистовством и адскими злодеяниями, истребляют целые народы; за ними в тесных мерцаниях видны в беспорядке разбросанные презрительные орудия их властолюбия, несчастные жертвы или холодные зрители их страстей.

Меж тем какую разительную противуположность усматриваем в людях, обладающих истинно великим характером. Героизм их есть совершенное бескорыстие, так кто может презирать все, приводящее в трепет толпы народа, кто, сделавшись холодным ко всему, до его личности относящемуся, умел посвятить всего себя какому-либо одному великому предмету, тот есть истинный герой, каков бы ни был предмет его деятельности. Истино великие люди, умственно определясь от всех частных выгод и посвятив себя бескорыстию, дышат единственно понятиями или предметами, идеальному миру принадлежащими, и уважают оные по чувству внутреннего их достоинства. Таковые понятия суть: бог или религия, истина или познание, красота или искусство, благородство или добродетель, благо общее и отечество. Во всех сих идеях скрывается нечто достопочтимое, небесное и духовное, ибо все они невидимы, бесконечны, чисты и чужды всякого своекорыстия. Совершенно обнять одно из сих великих понятий, обнять не только всею силою, но и со всем жаром чувствования, превратить оное в идею, господствую-

щую над целою жизнею, сделать оное душею души своей, или как все оные соединяются в стремлении к бесконечному, перелетать с легкостию от одного понятия к другому, следовать за ними с постоянством и твердостию,— вот в чем состоит идеал великого характера.

Душа, врожденною силою или силою непрерывного упражнения (л. 129) возвысившаяся над собою и, следовательно, над чувственною областию, смотрит на все предметы в должном от них расстоянии, становится вне круга физических и политических превратностей, созерцает токмо самое себя и находит атмосферу, сообразную существу своему.

Великий характер может иметь страсти, из них некоторые ему приличны, и как бы существенно ему только и принадлежат. Но и сим самым страстям он сообщает несколько собственных черт. Его честолюбие, любовь к славе и благородная гордость всегда носят на себе печать особенности,— знак существенного его отличия и неподражаемости. Его честолюбие никогда не перерождается в жадность, любовь к славе — в детское тщеславие, благородная гордость — в высокомерие. Существуя только для великих и вечных благ человечества, совершенно теряя из виду свое ничтожное я, со всею свободою погрузясь в бессмертные понятия, единственно в них полагает он свое честолюбие, свою славу и свое величие. Вот отличительные черты великого характера.

Один токмо великий характер делает человека существенно великим. Гений еще не составляет его величия, потому что есть дар природы, а человек не может сделаться великим в том, что получает он от природы; он делается таковым не иначе, как посредством тех качеств, которые сам дает себе, и потому его величие должно быть собственным его произведением. Совершенство воли гораздо выше совершенства ума, ибо оно есть порождение сей самой воли.

Судя по счастливому и могущественному влиянию великих характеров на мир нравственный, с точностию можно определить, в каких веках и нациях они существовали. Отважные, но не исполинские предприятия; продолжительные и многотрудные упражнения, коих плодами предоставлено пользоваться потомству; немного понятий, но понятия великие, сильные и все увлекающие; немного рассуждений, но необ'ятное множество действий, в управлении у[1] государств твердое намерение увековечить имя свое в потомстве, свое во нравах прямодушие и свобода, словом, во всем благородная простота, вот отличительные черты сих счастливых веков...

О комическом.

Комическое есть такой остроумный образ представления, в котором предмет кажется смешным. Итак, комическое есть вместе плод остроумия, а не одно изменение смешного, как некоторые думают. Последнее не надобно смешивать с первым. Всякое комическое должно казаться смешным, но не всякое (л. 132) смешное есть вместе и комическое. Комическое стихотворение не есть смешное стихотворение, но представляет предмет смешным. И потому первое составляет форму, а последнее самой предмет. Первое может быть прекрасно, но последнее никогда; тем восхищаемся, а сему смеемся. Если мы в какой комедии смеемся от избытка сердца, то верно не комику, а предмету который он представил в смешном виде. При всем том, чтоб иметь понятие о комическом, надобно наперед об'яснить смешное, которое собственно принадлежит к психологии. Некоторые выводили смешное из физической причины смеха. Но мы можем находить смешное, не смеяся, и опять смеяться, усмехаться, или улыбаться — совсем различно. Дитя смеется, любовь,

[1] Так в подлиннике.

усмехается. Все древние и новейшие согласны в том, что смешное есть изменение нелепого (неприличного), поэтому мы находим удовольствие смеяться нелепому. Недостойно человека, как мыслящего существа, которое нелепым, как нелепым, не может заниматься! Вот задача, которая различных философов заставляла выдумывать различные теории! Но все покушения из'яснить смешное из нравственных причин остались тщетными.

Вольф в своей психологии выводит удовольствие, находимое нами в смешном, из злорадства, основываясь на том начале, что противно природе находить удовольствие в нелепом. Но таким образом Вольф смешивает смех с насмешкою. В примерах, конечно, он не мог иметь недостатка. Но есть невинный смех, где о насмешке совсем и не думается. Дитя смеется, не желая никому зла. Мы сами смеемся при случае самых маловажных происшествий. Да и чтоб значило смеяться, по его мнению? Величайший стыд для всякого благородно мыслящего человека? —

Платнер хотел поправить теорию Вольфа, утверждая будто бы смеются из гордости и радуются, что сами не так смешны, как другие. (л. 132 об.) Но Платнер также рассматривал предмет с одной стороны, и потому его умозрение также одностороннее. Прочие эстетики из баумгартеневой школы напрасно старались согласить оба умозрения, но все еще оставалось обширное поле, которого они не могли напомнить [1].

Зульцер производит смех от стечения разнородных представлений, рассказывая притом анекдот, как одна влюбленная девушка оплакивала разлуку с своим любовником, который в [ту] самую минуту [вошел в] комнату, а она, еще с слезами в глазах, засмеялась. Здесь совсем другая психологическая причина. Притом же надобно по этому всегда быть наперед печальному, чтоб после смеяться. Опыт доказывает совсем противное. Наконец, Кант явился с новым умозрением. Основываясь на parturiunt montes, nascetur ridiculus mus, утверждает, будто бы смешное бывает тогда, когда наше ожидание обманывается; но таким образом он сливает комическое с смешным. Может случиться, что предмет чрез сие делается смешным, да и то не всегда; поэтому, зная наперед, что нам сулят золотые горы, мы должны были бы смеяться. При всем том Кантово умозрение заслуживает преимущество потому, что он первый производит удовольствие, которое мы находим в смешном, из физического чувствования, потрясения нерв или некоторого приятного щекотания, превращающегося в смех.

В самом деле смешное есть изменение нелепого, которое однакож здесь принимается не в прямом смысле, но за все то, что нам кажется противуречущим, или неприличным. Нелепое должно на нас внезапно (л. 133) подействовать, и сие внезапное действие, потрясая нервы наши чувственным образом, производит щекотание, обнаруживающееся в холодных людях сухим смехом, а в веселых — хохотом. Вообще темперамент и расположение духа много притом содействуют. Те, в коих умственное превозмогается физическим, наиболее расположены находить смешное в нелепом, как то: дети, девицы и сангвиники, которые часто жалуются на боль, причиняемую смехом, и однакож все продолжают смеяться. Итак, в смешном физическое удовольствие соединено с умственным неудовольствием. Как мыслящие существа, мы не одобряем [2] нелепого, но физическое превозмогает, и самые важные люди смеются. Каким образом такая смесь в природе происходит? Это знать не наше

[1] Так в подлиннике, где последнее слово отмечено над строкой знаком сноски, но сноски не сделано.

[2] В подлиннике «не удобряем».

дело, но дело физиологов. С нашей стороны довольно заметить, что смех есть один из благодетельных даров природы. В противном случае мы не могли бы перенесть всех глупостей.

Смешное находится в связи с истинным. Во многих случаях смешное есть зерцало истинного, ибо истинное узнается некоторым согласием. Начало противоречия есть логическое правило и потому смешное, так как нечто нелепое, обнаруживается нарушением оного начала (Shaftsbery), основываясь на сем начале, принимает только разумное смешное, т. е. которое всеми благоразумными людьми признается за таковое; но к несчастию, наши понятия о приличном и неприличном слишком неверны. Одна вера осмеивает другую. Комическое остроумие может представить смешным предмет, не имеющий в себе ничего смешного. Какие трогательные явления, заставляющие проливать слезы, не осмеяны! Какое священное осталось неприкосновенным! Образ эпической поэмы заставляет смеяться все нации в Энеиде наизнанку. Высокое Моисеево сотворение мира в пародии Поппе представлено в самом смешном виде. Для нас все равно: смешна ли вещь кажется сама по себе, или представлена таковою,— чувствование одинаково. Но остроумие может оказать величайшую услугу человечеству, представляя смешные пагубные обыкновения, как то делал Montesquieu, испанской инквизицией, так что остроумие можно назвать обоюдоострым мечем.

Об отношении комического к остроумию.—Рихтер давно доказал, что остроумие есть способность примечать не одни сходства, но и несходства вещей, вообще способность причуд, о которых иногда сами не ведаем, как они родились и потому принадлежат к смешному. Остроумие бывает веселое и важное. Первое, иногда преступая границы благоразумия, ведет к непозволительным шуткам; второе — к трогательным декламациям. Первое смешит, а последнее колет. Веселое остроумие располагает к комедии, важное — к сатире. Ювенал также одарен остроумием, как и Гораций. Но первый язвит, а последний заставляет от избытка сердца смеяться собственной нашей глупости, им осмеиваемой. Бюргер и Шиллер были остроумные стихотворцы, но различного остроумия. Есть обыкновенное остроумие, которое не принадлежит (л. 134) к эстетике; истинное остроумие должно быть изящным. Комическое, как плод остроумия, наиболее отличается тем от смешного, что имеет связь с изящным, но будучи всегда привязано к законам смешного, далеко отстоит от изящного, как, напр., занимательное. Многие комические бредни прозаического остроумия не имеют даже ни малейшей связи с изящным. Для того старались облагородить комедию греки, приближаясь к трагедии, испанцы — к лирической поэзии. Изящным комическое называется тогда, когда последнее соединено с первым и в таком случае не есть одно произведение остроумия. Те только комедии заслуживают стоять на ряду с изящными произведениями, где находится комическое в соединении с изящным. Таков Аристофан, таков Мольер. Сия же самая причина облагораживания побудила писать комедии стихами. Ныне совсем хотят исключить стихотворение из комедии, желая представить предмет естественнее, но положения и характеры должны всегда иметь нечто. Стихотворение — обыкновенная естественность—не имеет эстетического достоинства (комические).

Различные роды комического.— Комические причуды бывают или только шутки или имеют нравственную цель. Если они перерождаются в полную шутку, в таком случае делаются насмешкою, которая бывает и важною и веселою; но во всяком случае старается унизить предмет и тем различается от шутки. Насмешку опять надобно различать от сатиры, которую одна насмешка не составляет, но она должна иметь поэтическое достоинство, ибо одни насмешки, если неистощимы, наконец,

утомляют. В сатире мы требуем высшей занимательности; она не бывает, (л. 134 об.) подобно пасквилю, устремлена на лице, но если хочет сделаться благородною, должна быть общею и разве только в таком случае касаться лица, когда сие представляет какую-нибудь всеобщую глупость.

Как шутка отличается от сатиры, так сатира от комедии, которая может быть веселою, имеющею одну цель — развеселить. Шутки бывают шутовские (burlesque), когда, напр., не слишком тонкую компанию развеселяют грубыми шутками. Burlesque есть слово итальянское, которое французы переводят посредством le bas comique, противуполагая le haut comique. Неблагородное есть нравственное слово; в таком случае многие бы отменные произведения остроумия надобно бы назвать неблагородно комическими, потому что им недостает нравственности: как то комедии Аристофана, и, наоборот, многие произведения, исполненные нравственности, но не имеющие эстетической цели, надлежало б наименовать благородно комическими. В Германии совсем было упала комедия, когда начали от нее требовать совершенной нравственности. Многие немецкие писатели хотели совсем изгнать арлекина с театра. Везер писал защищение, равным образом Лессинг столько же остроумно, как и справедливо. И опровергатели, и защитники с некоторой стороны правы; только надобно различать итальянского арлекина от обыкновенного. Итальянский арлекин, каков у Гоца, служит возвышением комического, означая повес, хвастунов и педантов.

Причудное бывает, когда комическое смешивается с трогательным. Некоторые почитают оное натуральным, так шутил Сократ со смертию, когда при последней ми (л. 135) нуте жизни разговаривал с своими учениками.

О простосердечном.

Простосердечное бывает тогда, когда комическое является в виде детской невинности. Оно состоит собственно в том, когда кто или действиями, или телодвижениями, или, наконец, словами своими говорит гораздо более, нежели сколько сам хочет и думает сказать. Следовательно, простосердечное есть оттенка естественного, естественное состоит в простом изложении своих мыслей или чувствований без всякой заботливости о выборе слов, или оборота речений. Посему простота составляет существенную принадлежность простосердечия, она есть основание сей любезной эстетической добродетели. Выражение тонкое, живое, сильное или витиеватое простосердечия вовсе чуждо, а посему великолепное и нарядное в выражении прямо противоположно простосердечному. Но недовольно для простосердечного одной только простоты. Надобно, чтобы под сею простою наружностью скрывалась изящная мысль, важная истина, благороднее чувствование, или какая-либо чистая страсть; при выражении только простом мы остаемся без всякого заметного чувства; если же прекрасная мысль наполняет благородную душу в самом даже нескладном... [1].

---

[1] Здесь оканчиваются дошедшие до нас записи.

Молодость Пушкина

Неизданная статья В. БРЮСОВА[1]

1.

— Пушкина надо сослать в Сибирь или в Соловецкий монастырь: он наводнил весь Петербург возмутительными стихами.

Так говорил Александр I летом 1820 г.

Между тем, всего три года назад Пушкин еще был скромным лицеистом, правда, возбуждавшим некоторые сомнения у школьного начальства своими «безбожными» суждениями, но в общем — «подававшим надежды юношей». Он писал, по заказу школьного начальства, и приветственную оду принцу Оранскому, приехавшему в Россию, чтобы жениться на русской великой княжне, и стихи «на возвращение государя» в 1815 г. и продолжение гимна Жуковского, который лицеисты пели при проходе царя мимо лицея, получая за эти патриотические сочинения «высочайшие» подарки и т. п. Кроме того, Пушкин вышел из старо-дворянской семьи, в которой крепки были устои монархических воззрений, и был воспитан в «благонамеренных» убеждениях... Достаточным оказалось двух-трех лет свободной жизни, чтобы восприимчивый ум Пушкина не только понял всю ложь тех взглядов, которые ему внушали с детства, но даже, чтобы юный поэт стал передовым борцом за идею освобождения родины от гнета царизма и кумиром всей передовой молодежи.

Зачатки новых убеждений Пушкин бесспорно воспринял еще лицеистом. В обществе гусар, которых посещал Пушкин школьником в Царском Селе, он встретил Каверина и Чаадаева, людей с передовыми взглядами, вывезшими из своего пребывания за границей живое и сознательное сочувствие свободным формам жизни. Может быть, «гусары» и не делали последних выводов из своих наблюдений, но они несомненно понимали всю чудовищность крепостного права и всю гибельность русского неограниченного самовластия. Несомненно также, что среди всех передовых военных того времени (10-е годы XIX века) были широко распространены надежды (отголосок идей, развиваемых в тайных обществах), что в близком будущем в России должен произойти политический переворот, и что в нем важнейшую роль сыграет армия. Между прочим этими надеждами всего правдоподобнее об'ясняется настойчивое желание юноши Пушкина вступить, по выходе из лицея, на военную службу. Как известно, это стремление Пушкина не осуществилось, но в самостоятельную жизнь он вошел уже с прочными задатками «либеральных» взглядов.

---

[1] Статья В. Л. Брюсова «Молодость Пушкина» написана им в последние годы его жизни (вероятно, в 1924 г.).

Статья не окончена и не была напечатана.

Статья представляет собой наиболее полный и законченный вариант трех черновиков аналогичного содержания.

Материал хранится в архиве В. Я. Брюсова и подготовлен к печати И. М. Брюсовой.

Пушкин развился очень рано. В последнем классе лицея он был уже почти сложившимся молодым человеком и страстно рвался скорее освободиться от школьной неволи. Он мечтал о жизни в обществе, о литературных кругах и, по своей склонности увлекаться, воображал, что «свет» сулит ему разнообразнейшие удовольствия. Пушкин думал, что встретит в обществе много красивых и умных женщин, остроумных мужчин, стариков — тонких ценителей изящного, о каких читал в романах, а, как круг писателей, юному поэту, конечно, рисовался идеальный «Арзамас», неистощимо веселый, во всем талантливый,— такой, каким это общество было в начале своей деятельности. Конечно, Пушкину пришлось быстро разочароваться.

Окончив курс лицея летом 1817 г., Пушкин поступил чиновником «X класса» по ведомству иностранных дел, но, разумеется, отбывал свою службу лишь постольку, поскольку то было совершенно необходимо. Напротив, со всем своим пылом устремился он к тем наслаждениям свободной жизни, которые грезились ему в школе. Чуть ли не раньше всего постарался он явиться в «Арзамас», членом которого уже давно номинально считался. Повидимому, нарочно для приема Пушкина было еще летом созвано заседание общества. Отчетов об чтом собрании не сохранилось, но можно с уверенностью сказать, что Пушкин увидел на нем совсем не то, что ожидал. То была пора, когда «Арзамас» определенно «умирал». Когда-то молодые дерзкие новаторы, члены «Арзамаса» в 1817 году уже были «солидными», частью даже пожилыми людьми. К. Н. Батюшков уже страдал зачатками душевного недуга, приведшего его к мрачной ипохондрии; П. А. Вяземский был уже семьянином, едва ли не больше занятым своими хозяйственными делами, чем литературой; В. А. Жуковский уже становился царедворцем, воспитателем наследника; только дядя Пушкина, В. Л. оставался неизменным, тем же взрослым ребенком, которого никто не принимал всерьез и над которым все искали случая посмеяться... Таковы были главари «Арзамаса», куда Пушкин шел как в святилище...

В «Арзамасе» был обычай, что ново-вступающий член произносил приветственную речь обществу, большею частью в стихах. Пушкин тоже написал такую речь:

Венец желаниям, и так я вижу вас,
О други чистых муз, о дивный Арзамас...

Характерно, что это стихотворение не сохранилось. Очень вероятно, что Пушкин сам истребил его, почувствовав все несоответствие своих пылких приветствий с грустной действительностью... Между прочим то собрание «Арзамаса», на котором состоялся прием Пушкина, оказалось предпоследним в жизни общества. Осенью того же 1817 года члены «Арзамаса» собрались еще раз и больше своих собраний не возобновляли. Общество умерло естественной смертью. И с Вяземским, и с Жуковским Пушкин остался в дружеских отношениях, но в его позднейших письмах к ним звучат уже совершенно другие ноты, нежели прежде: Пушкин обращается к ним уже не только, как равный к равным, но даже скорее как старший, особенно к Вяземскому.

Еще более жестоким было разочарование Пушкина в «свете». Оно наступило несколько позже, потому что летом петербургское общество было в раз'езде (и сам Пушкин по окончании лицея уезжал в отпуск в Михайловское). Но с осени 1817 г. Пушкин сделался было усерднейшим посетителем городских «салонов», «большого света». Что он вынес оттуда, ярко показывает послание А. М. Горчакову 1819 г.; в этих стихах Пушкин характеризует петербургское общество, как

... вялое бездушное собранье,
Где ум хранит невольное молчанье,
Где холодом сердца поражены...
Где глупостью единой все равны... и т. д.

Чувствуется самое озлобленное разочарование в беспощадных сарказмах (едких насмешках) Пушкина, когда он клеймит «Лаис благочестивых», «изношенных и сонных красавиц», «украшенных глупцов», «святых невежд», «почетных подлецов», всех этих «тиранов модных зал» (где, скажем в скобках, тот же кн. А. Н. Горчаков чувствовал себя в своей стихии, «как рыба в воде»). В послании к Всеволожскому не менее зло описывается московское общество, где поэт видит

важное безделье,
Жеманство в тонких кружевах
И глупость в золотых очках,
И тучной знатности похмелье,
И скуку с картами в руках...

Наконец, в послании княгине Е. И. Голицыной Пушкин с не меньшей горечью признается, что в России напрасно искать «гражданина с душою благородной», «женщину не с мертвой красотой» и «разговор непринужденный, пленительный, веселый, просвещенный».

«С кем можно быть не хладным, не пустым?» — спрашивал Пушкин в этих стихах и, конечно, только как мадригальную любезность заканчивал их уверением: «я вчера Голицыну увидел и примирен с отечеством моим».—Таковы были впечатления Пушкина от «света».

Неудивительно после этого, что Пушкин искал развлечений в ином кругу. Из «модных зал» он убегал в общество «веселых шалунов». Кутежи и «проказы» (как говорили тогда) стали наполнять большую часть свободного времени Пушкина. Еще на школьной скамье он охотно «воспевал» вино и «прелестниц», теперь он на самом деле осуществил этот идеал «рассеянной» жизни и, как всегда, по пылкости своего характера, дошел в этом до крайности. Переписка П. А. Вяземского с А. И. Тургеневым [1] за годы 1817—1820 переполнена горькими жалобами на беспутное поведение «Сверчка» (арзамасское прозвище Пушкина). То он влюблен в кассиршу зверинца и дни и ночи проводит близ нее, не показываясь в «свете», то настолько потонул в кутежах, что не имеет минуты, чтобы присесть за стихи, то, наконец, доводит себя своими проказами до тяжелой болезни. Действительно, организм Пушкина не выдерживал постоянных кутежей, и юный поэт дважды был очень серьезно болен — в феврале 1818 и в феврале 1819 г. Но ни жалобы и упреки старших друзей, ни тяжелые болезни не могли остановить Пушкина: он попрежнему предпочитал «младых счастливую семью» — «чаду» большого света... Между прочем, с этой поры и сложился в обществе взгляд на Пушкина, как на неисправимого «повесу» (тоже тогдашнее выражение)...

Однако, если несколько глубже вникнуть в «повесничество» Пушкина, за веселыми кутежами «шалунов», может быть, откроется и нечто иное. Правда, Пушкин всегда любил «веселые проказы» и ради них самих; даже в позднейшие годы жизни, и перед женитьбой и после нее, он не часто отказывался от кутежей с приятелями (мы еще будем иметь случай говорить об этом). Но «общество забытых шалунов», которое Пушкин противопоставляет «модным залам», не было просто собранием кутил. Быстро в кругу петербургской молодежи Пушкин на-

[1] Переписка эта собрана в «Остафьевском архиве», 4 т.

шел именно тех людей, которые отвечали его вкусам, не оскорбляли его чувств изящного. Правда, вино занимало видное место на их собраниях, но сам Пушкин не случайно характеризует этот круг своих новых друзей знаменательным стихом:

Забытых шалунов
Свобода, Вакх и Музы угощают...[1]

Рядом с вином (Вакх) здесь поставлены — искусство (музы) и свобода, т. е. беседы на тему о свободе... А так как в стихах Пушкина каждое слово поставлено не случайно, а сознательно, то мы можем верить, что, действительно, не один Вакх привлекал Пушкина к его новым друзьям.

С 1818 г. в стихах Пушкина встречается ряд новых имен. Тесный кружок лицеистов I выпуска быстро рассеялся. Многие уехали из Петербурга или к себе на родину, или служить в другие города; из оставшихся в столице большинство вращалось в иных кругах, нежели Пушкин (напр., М. Яковлев) или не желало следовать за Пушкиным ни в «свет», ни в круг его «проказ» (И. Пущин). Незаметным образом Пушкин удалился от своих школьных товарищей, с которыми так сжился за 6 лет лицея. Но зато за годы 1818—1819 мы видим ряд посланий: Н. В. Всеволожскому, П. Б. Мансурову, Ф. Ф. Юрьеву, В. В. Энгельгардту, М. А. Щербинину... Почти все они были людьми одного круга и, мало того, принадлежали к одному обществу. Общество это имело свое название и свой неписаный устав: то была «Зеленая лампа», сыгравшая немалую роль в жизни Пушкина.

Что же представляла из себя эта «Зеленая лампа» — «лампада наша», как называл ее Пушкин?

2.

Первые биографы Пушкина, П. В. Анненков и П. И. Бартенев, изобразили «Зеленую лампу» как общество, исключительно посвященное веселому времяпрепровождению за бутылками вина и в кругу женщин легкого поведения. Некоторые выражения в письмах Пушкина позволяли поверить этому, и такой взгляд на «Зеленую лампу» надолго установился в русской литературе. То была одна из клевет на нашего великого поэта, рассеянная, подобно ряду других, лишь в самое последнее время. Только новейшие исследования[2] доказали, что «Зеленая лампа» была в значительной мере иная.

Впрочем, уже внимательное изучение стихов Пушкина могло бы заставить усомниться в том, что характеристика Анненкова и Бартенева охватывает все стороны «Лампы».

В послании В. В. Энгельгардту он характеризуется, как

... счастливый беззаконник,
Ленивый Пинда гражданин,
Свободы, Вакха верный сын,
Венеры набожный поклонник...

т. е. человек свободомыслящий («беззаконник»), любящий искусство («Пинда гражданин»), приверженец либеральных воззрений («свободы сын»), смотрящий вольно на религию («набожный» поклонник Венеры).

---

[1] См. упомянутое выше послание А. М. Горчакову.

[2] Мы имеем в виду преимущественно работу П. Е. Щеголева «Зеленая лампада», в сборнике «Пушкин». СПБ 1912, по которой и изложено дальнейшее.

В конце послания Пушкин мечтает:

С тобою пить мы будем снова,
Открытым сердцем говоря
Насчет глупца, вельможи злого,
Насчет холопа записного,
Насчет небесного царя
А иногда насчет земного.

Стихи, явно намекающие на «вольнолюбивые» беседы. Точно так же в послании к М. А. Щербинину есть строки, которые могли быть обращены только к человеку свободных взглядов:

Как верный сын пафосской веры,
Проводит набожную ночь
С младой монашенкой Цитеры...

В послании к Н. В. Всеволожскому Пушкин отмежевывает его

От мертвой области рабов,
Капральства, прихотей и моды...

и высказывает уверенность, что сам Всеволожский,—

... волю всей душой любя,
Оставит круг большого света...

В послании Ф. Ф. Юрьеву есть восклицание:

Здорово, рыцари лихие
Любви, свободы и вина!

Все эти, пусть мелкие, беглые, черты рисуют новых друзей Пушкина далеко не только «поклонниками Вакха и Венеры»: выражения посланий слишком вольны для того и слишком часто в них повторяются слова «свобода», «воля».

То же можно отметить в общих характеристиках, какие делал Пушкин своим пресловутым «пирам», т. е. всей «Зеленой лампе». В стихотворении «Веселый пир» прямо говорится, что поэту любы те «пиры», где

... свобода, мой кумир,
За столом законодатель...

В несколько раз уже упомянутом послании А. М. Горчакову, где сказано, что «забытых шалунов» вместе с Вакхом, угощают «музы» и «свобода», описывается и вся «счастливая семья младых повес»,

Где ум кипит, где в мыслях воленя,
Где спорю вслух, где чувствую сильнее
И где мы все прекрасного друзья...

Наконец, в стихотв. уже 1822 г., вспоминая «Зеленую лампу», Пушкин восклицает:

Вот он, приют гостеприимный,
Приют любви и вольных муз...

И, конечно, Пушкин, не мог назвать «приютом вольных муз» место, где все сводилось к пьянству и разврату, как изображали дело Анненков и Бартенев.

Теперь опубликованы донесения, сделанные в 1827 г. для Николая I, о всех тайных и полутайных обществах 20-х годов, в том числе и о «Зеленой лампе». Из этих донесений мы узнаем прежде всего ряд имен участников «Лампы». Кроме перечисленных выше, тех, к кому сохранились послания Пушкина 1818—1819 г., Всеволожского, Юрьева, Щербинина, Мансурова, Энгельгардта, мы находим в списках — П. П. Каверина, А. П. Якубовича, кн. С. П. Трубецкого, бар. А. А. Дельвига, А. Д. Улыбышева, А. Г. Родзянко, И. Е. Тадовского, Ф. Н. Глинку, Д. Н. Баркова, А. А. Токарева, Н. Н. Гнедича и др. Некоторые из них хорошо известны в биографии Пушкина: таков Дельвиг, его школьный товарищ, Каверин, гусар, забросивший в душу юного поэта первые семена свободомыслия, Родзянко, которого Пушкин называл «украинский мудрец», Глинка, получивший от Пушкина еще более почетное название — «Аристид», Гнедич, переводчик «Илиады»: с этими именами мы тоже связываем много другого, кроме «кутежей». Другие участники «Лампы» еще определеннее по своему духовному облику; таковы: Якубович и Трубецкой — будущие декабристы, Токарев — член тайного общества, Улыбышев, убежденный противник крепостного права и в то же время известный знаток музыки, автор сочинений о композиторах (биография Моцарта). Менее мы знаем о Жадовском, в 1819 г. капитане Гренадерского полка Д. Н. Баркове и др. Но все же можно с уверенностью сказать, что в «Зеленой лампе» Пушкин встречал общество людей и просвещенных и передовых взглядов.

Но можно сказать и больше того. Выяснено, что ряд участников «Лампы» состояли в то же время членами тайных обществ, подготовлявших революцию 14 декабря 1825 г. Так, членами «Союза благоденствия» были кн. С. П. Трубецкой, Ф. Н. Глинка и А. А. Токарев. Попали они в «Зеленую лампу» отнюдь не случайно. Один из параграфов устава «Союза благоденствия» прямо ставил его членам в обязанность «заводить вольные общества», которые должны были служить местом пропаганды либеральных идей. В записках декабриста М. А. Фонвизина прямо рассказывается, что члены «Союза» основали с этой целью одно общество среди военных и два литературных,— в Москве и в Петербурге, последнее под названием «Зеленая лампа». Наконец, приблизительно то же сказано в доносе, поданном Александру I Бенкендорфом в 1821 г.: что члены «Союза» подготовляли своих единомышленников, открывая разные, будто бы литературные или просто приятельские общества, называя их «для прикрытия разными именами», причем в скобках было добавлено: «Зеленая лампа» и пр. На основании всего изложенного можно с уверенностью утверждать, что «Зеленая лампа» давала Пушкину далеко не одни удовольствия веселых попоек. В этом обществе молодой поэт нашел друзей, которые могли, за бокалами вина, руководить его дальнейшим политическим воспитанием.

Как бы предвидя круг «Лампы», Пушкин еще в 1817 г. писал П. П. Каверину:

> ... дружно можно жить
> С Киферой, с Портиком, и с книгой, и с бокалом,
> Что ум высокий можно скрыть
> Безумной шалости под легким покрывалом.

3.

Пушкин обладал гениальным умом, умевшим по ничтожному намеку угадывать самую сущность предмета. Примеров тому достаточно

в творчестве великого поэта; еще мальчиком-лицеистом он умел, например, из уроков истории, из случайного чтения чутьем уяснить себе сущность и сатиры Ювенала, и эллинского дифирамба Вакху; позднее Пушкин показал, что равно может выразить дух самых различных народов и эпох,—ислама, Испании, Италии, средневековья, XVIII в., античной древности и т. д., причем, конечно, поэт не имел возможности подробно изучать жизнь и историю всех этих народов и времен, но чутьем, интуицией, у г а д ы в а л прошлое по тому немногому (сравнительно), что узнавал об нем из чтения. То же гениальное чутье помогло Пушкину и в деле его политического воспитания. Поэтому достаточно было беглых намеков в беседах с его новыми друзьями; его мысль быстро начала работать; окружающая действительность (тяжелые годы реакции во вторую половину царствования Александра I) давала для того немало пищи; и очень быстро Пушкин дошел до выводов, которые, может быть, не осмеливались делать и его политические учителя.

Уже в лицейских стихах последнего года (1817) мы встречаем у Пушкина намеки на его новые взгляды.

Он в Риме был бы Брут...

пишет он о П. Чаадаеве (т. е. революционер), а в послании к В. Л. Пушкину выговаривает на свою долю—

Уединенье и с в о б о д у.

Тотчас по окончании лицея, во время своего пребывания летом 1817 г. в Михайловском, поэт называет себя:

Поклонник дружеской с в о б о д ы,
Веселья, граций и ума.

Около того же времени написаны стихи «Е. С. Огаревой, которой митрополит прислал плодов из своего сада»; в них о митрополите говорится в таких выражениях, которые явно показывают, как свободно уже относился юный поэт к церковности и к религии,—основам, ревностно оберегаемым сторонниками (позднейшей) формулы: «самодержавие, православие и народность»:

Митрополит, хвастун бесстыдный...
И он, твой встретя взор волшебный
Забудет о своем кресте...

То же мы видим в шутливом послании А. И. Тургеневу, одно время директору департамента духовных дел, ревностному члену и секретарю «Библейского общества»; правителю «Женского патриотического общества» и т. п., которого поэт называет—

... любовник страстный
И Саломирской и креста,

причем делает к последнему стиху примечание: «Креста, сиречь не Анненского и не Владимирского, а животворящего». Далее в том же послании читаем:

То ночью прыгаешь с прекрасной,
То проповедуешь Христа...

А в начале следующего, 1818, года, в послании к Н. И. Кривцову, уезжавшему служить в Англию, Пушкин, даря ему поэму Вольтера

«Девственница», назвал эту, достаточно «вольную» книгу «святой Библией харит», а самому Кривцову желал, чтобы его хранили на чужбине —

Христос и верный Купидон.

Подобные стихи показывают, что, пожалуй, не без причины лицейское начальство приказало Пушкину для выпускного экзамена написать самообличительные стихи о пагубе «безверия».

Развитие политических убеждений Пушкина шло, может быть, несколько медленнее, но в нем можно проследить ряд неизменно повышающихся ступеней: от скромных стремлений к конституции до самых крайних революционных выводов. Впрочем, уже в 1818 г. было написано знаменательное послание Чаадаеву, вероятно, отражающее беседы с ним на политические темы:

Под гнетом власти роковой
Нетерпеливою душой
Отчизны внемлем призыванья;
Мы ждем с томленьем упованья
Минуты вольности святой...
Россия вспрянет ото сна,
И на обломках самовластья
Напишут наши имена.

Но такие стихи в поэзии Пушкина 1818 г.— еще исключение. Только минутно Пушкин мечтал обратить «самовластье в обломки», обычно же ему представлялось, что есть иной путь к свободе России — установление в ней «закона», т. е. конституции. Эти более скромные пожелания Пушкина запечатлены им в ряде стихотворений 1817—1818 гг.

Наиболее значительны два из них: ода «Вольность» и «Деревня».

«Вольность», как теперь установлено, написана в 1817 г., т. е. вскоре по выходе из лицея. В этой оде Пушкин готов «разбить» свою «изнеженную лиру» и об'являет себя революционным поэтом.

Хочу воспеть я вольность миру
На троне поразить порок!...
Тираны мира, трепещите,
А вы мужайтесь и внемлите,
Восстаньте, падшие рабы!

Но содержание оды не отвечает смелому началу. Поэт попутно резко осуждает и казнь Людовика XVI и убийство Павла I (хотя и называет его «увенчанный злодей»), восклицая о последнем событии: «О стыд, о ужас наших дней». Правда, здесь же следуют жестокие укоры Наполеону за то, что он поспешил «самовластной порфирой» сковать галлов (французов), добывших было себе свободу казнью короля. Однако окончательный вывод всех этих рассуждений о «вольности» очень скромен. Поэт обращается к царям:

Стоите выше вы народа,
Но вечный выше вас закон...

и заключает оду такой строфой:

И днесь учитеся, цари:
Ни наказанья, ни награды,
Ни кров темниц, ни алтари

Не верные для вас ограды.
Склонитесь первые главой
Под сень надежную закона,
И станут вечной стражей трона
Народов вольность и покой.

В общем «Вольность» — произведение явно незрелое. Мысль юного поэта двоится: с одной стороны он видит в монархии, тем более в самовластии,— «злодейство», «проклятие», «ужас мира», «срам природы», «упрек богу на земле»; с другой — выражает надежду, что все это можно поправить, стоит только царям склониться под сень закона. Конституционные мечтанья либералов, вроде Каверина, вплетаются в темное сознание, что иного пути к настоящей свободе, кроме насильственного переворота, нет и быть не может тем более в самодержавной России.

В том же духе написана «Деревня», уже в 1819 г.

Увижу ли, друзья, народ не угнетенной
И рабство, падшее по манию царя?—

задает вопрос поэт, из чего следует, что он еще не видит конца царизму. Царь должен остаться, и от него только требуют, чтобы он стал государем в духе «просвещенного абсолютизма» XVIII века:

И над отечеством свободы просвещенной
Взойдет ли, наконец, прекрасная заря?

Но зато картины крепостного права и его ужасов написаны в стихотворении сильно, правдиво и ярко:

Склонясь на чуждый плуг, покорствуя бичам,
Здесь рабство тощее влачится по браздам
Неумолимого владельца.
Здесь тягостный ярем до гроба все влекут...
и т. д.

Может быть, сдержанность стихов об'ясняется тем, что Пушкин назначал их для широкого распространения, или даже первоначально надеялся напечатать все стихотворение (часть его вошла в изд. 1826 г.). Есть известие, что «Деревня» дошла до царя, и Александр I даже приказал «благодарить Пушкина за хорошие чувства, внушаемые его стихами».

Насколько это известие справедливо,— судить трудно. Вероятно, в 1819 г. Александр I уже был осведомлен через услужливых доносчиков о Пушкине, как авторе целого ряда «вольных» стихотворений; когда были написаны политические стихотворения Пушкина 1818—1819 гг., нам неизвестно, но, несомненно, многие эпиграммы стоят между «Волностью» и «Деревней». Так, вероятно, к 1818 г. относятся эпиграммы на кн. А. Н. Голицына, тогда министра народного просвещения («Вот холопская душа», писал Пушкин), на Стурдзу, ярого ретрограда, на Карамзина, который —

Доказывает нам без всякого пристрастья
Необходимость самовластья
И прелести кнута,—

Наконец, на архимандрита Фотия, бывшего вдохновителем реакции своего времени:

Полуфанатик, полуплут... и т. д.

Но, может быть, наиболее жестокие стихи и были написаны Пушкиным после «Деревни». По крайней мере, его эпиграммы той поры явно разделяются на две категории: в одних, повидимому, более ранних, поэт еще только насмехается; его оружие — насмешка. Таковы только что названные эпиграммы на Голицына, Стурдзу, Карамзина и Фотия. В этих эпиграммах, которые, вероятно, относятся уже к 1819 г., шутка уступает место горькому сарказму: поэт уже не смеется, а старается поразить, ударить[1]. Таковы, напр., эпиграммы на Аракчеева, тогда всесильного военного министра, которому Александр I выражал свое полное доверие:

Всей России притеснитель...
А царю он — друг и брат...
Холоп венчанного солдата...

Таковы же и стихи, направленные уже прямо против личности царя: «Ты и я» и «Noël», особенно последнее, где в традиционной форме «Ноэля» (святочной песенки) рассказывается, как царь обещает

... людям все права людей
По царской милости своей
Отдам из доброй воли...

А потом оказывается, что на такие обещания можно смотреть только как на «сказки».

Ряд этих эпиграмм далеко опережает, по своим мыслям, и «Вольность» и «Деревню». Можно ли возлагать надежды на «сень надежную закона», можно ли мечтать, что «по манию царя» взойдет над отечеством заря свободы, когда поэт ясно видит, какими людьми окружен трон, кому в руки отданы судьбы России? По определениям эпиграмм Пушкина это — «холоп» (Аракчеев) или «холопские души» (кн. Голицын), защитники кнута (Карамзин), «полуплуты» (Фотий), люди, годные только в дом сумасшедших (В. И. Соц из «Ноэля»), или беззаконники (И. С. Горголя — оттуда же) и т. д., а во главе их — «венчанный солдат», «с грозным деспотизма взором» (эпиграмма на Аракчеева и «Ты и я»). Не надо было быть Пушкиным, чтобы сделать отсюда естественный вывод, что от такого правительства ждать нечего,— его должно уничтожить во что бы то ни стало; но уничтожить его можно только силой... Этот вывод и был сделан поэтом, но прямое его выражение мы находим только в стихах следующих лет.

---

[1] Так в подлиннике. По ходу мыслей автора можно думать, что здесь есть пропуск.

Произведения Пушкина и царская цензура

(По архивным материалам)

Среди причин, мешавших трудящимся при старом строе овладеть пушкинским наследством, немалую роль сыграли и специальные мероприятия царского правительства, направленные к тому, чтобы воспрепятствовать проникновению произведений Пушкина в народные массы. Цензура относилась к «народным» изданиям с удвоенной строгостью. Известный циркуляр Главного управления по делам печати 8 мая 1895 г. указывал, что «в народные массы весьма нередко проникают издания, которые, не представляя собой достаточных данных к тому, чтобы признать их подлежащими запрещению на основании общецензурных правил, тем не менее в массе малоразвитых читателей далеко не могут представлять здоровой духовной пищи, правильно воспитывающей ум и нравственность народа». Признав таким образом недостаточность «общецензурных правил» по отношению к народным изданиям, Главное управление по делам печати предложило на будущее время при рассмотрении народных книг и брошюр, как издаваемых впервые, так и представляемых для разрешения к новому изданию, «отнюдь не допускать к печати таких произведений, которые по содержанию своему не могут быть признаны безусловно безвредными для народного чтения».

Однако меры особой строгости, применяемые общей цензурой, казались правительству недостаточными, и для народных изданий была создана дополнительная цензура, получившая название «педагогической». Органом этой «педагогической» цензуры был особый отдел ученого комитета министерства народного просвещения[1]. Созданный в 1869 г., в связи с ростом революционной пропаганды и появлением ряда народных изданий антиправительственного характера, этот особый отдел должен был рассматривать все издаваемые для народа книги с точки зрения «педагогической» цензуры. Официально задачей этой цензуры считалось определение педагогической пригодности или доступности изданий читателям с известным образовательным цензом. Менее официальной, но вполне ясной установкой этой цензуры были борьба с антиправительственной печатью и распространение изданий, укрепляющих в народе религиозные и монархические чувства[2].

В особый отдел ученого комитета попадали книги, уже прошедшие цензуру и, следовательно, признанные безвредными. Вторичный просмотр их «педагоги-

---

[1] Ученый комитет министерства народного просвещения в качестве особого совета экспертов при министре занимался рассмотрением учебных руководств и программ преподавания, а также изданий, которые предназначались для распространения в учебных заведениях.

[2] Очень откровенно и выразительно об этих задачах особого отдела высказывается А. И. Георгиевский, бывший в течение ряда лет руководителем ученого комитета: По его словам, особый отдел должен был охранять народ от «тех немалочисленных изданий, которые имеют целью или могут расшатать умы и внести в них смуту в религиозном, политическом, социальном и нравственном отношении» (А. И. Георгиевский, «К истории ученого комитета мин. нар. просв.» СПБ 1902 г., стр. 144. Не менее яркие характеристики имеются и в ряде других мест этой книги, например стр. 155, 156, 157).

ческими» цензорами был обставлен большими строгостями. В общей цензуре разрешение книги предоставлялось усмотрению отдельного цензора; решение же члена особого отдела рассматривалось в общем заседании, а заключение всего отдела шло еще на утверждение главы ведомства (обычно товарища министра).

Эту особо строгую «педагогическую» цензуру проходили издания сочинений А. С. Пушкина, предназначенные для низших учебных заведений и бесплатных народных читален. Из материалов особого отдела ученого комитета мы узнаем, в каком искаженном и фальсифицированном виде доходили произведения Пушкина до народа.

В результате «усердия» «педагогической» цензуры к юбилею А. С. Пушкина 1899 г. создалось такое положение, которое казалось ненормальным даже скромным либералам. В середине этого года Курская губернская земская управа возбудила перед ученым комитетом ходатайство о разрешении к употреблению в ученических библиотеках народных школ и для публичных народных чтений сочинений А. С. Пушкина во всех изданиях, дозволенных общей цензурой. Мотивировалось это ходатайство тем фактом, что «до настоящего времени далеко не все художественные произведения А. С. Пушкина в полном объеме имеют доступ в ученические библиотеки народных училищ и в народные аудитории, так что и взрослое население, и учащаяся молодежь деревни в значительной степени лишены возможности познакомиться с нашим крупнейшим художником». Лица, «менее же состоятельные и неграмотные, для которых и устраиваются народные чтения в аудиториях, а также дети-школьники, особенно нуждающиеся в воспитывающем воздействии поэтических творений Пушкина, почти не в состоянии ознакомиться с последними».

Особый отдел отказался рассматривать вопрос по существу и ограничился тем, что послал Курской губернской земской управе список изданий сочинений А. С. Пушкина, разрешенных для низших школ и народных чтений [1]. При этом было разъяснено, что значительное количество главных произведений Пушкина целиком, или с сокращениями, или в отрывках допущены, как для ученических библиотек низших учебных заведений, так и для публичных народных чтений и что особый отдел в 1897 г. признал остальные сочинения Пушкина, как по малопонятности содержания некоторых из них для простолюдинов и школьников, так и по множеству отдельных мест, неудобных к обращению среди малоразвитого круга читателей, не соответствующими ученическим библиотекам низших учебных заведений и народным читальням [2].

В чем усматривалось это «несоответствие» произведений Пушкина и как оно аргументировалось,— можно видеть из публикуемых нами документов.

Большой интерес представляют те требования, которые предъявляла «педагогическая» цензура к биографии Пушкина. Она считала «неуместным» и «неудобным» помещать в ней сведения, дискредитирующие социальные и политические порядки пушкинского времени, рисующие в неблагоприятном свете правительство и господствующий класс. По мнению особого отдела ученого комитета (докладчик Слепцов), в биографии Пушкина неуместно «безо всякой нужды воскрешать память о самых ужасных сценах крепостного времени. Крепостное

---

[1] Сведения об изданиях сочинений А. С. Пушкина для народа, допущенных ученым комитетом беспрепятственно, см. в «Журнале министерства народного просвещения», где ежемесячно публиковались списки книг, допущенных и рекомендованных как основным отделом ученого комитета, так и особым его отделом. Кроме того, эти сведения можно найти в специальных каталогах, издававшихся министерством народного просвещения, например, «Каталог книг для бесплатных народных читален, СПБ. 1896 г.»; «Каталог книг и периодических изданий для бесплатных народных читален, СПБ. 1900»; «Список книг, заслуживающих внимания при пополнении бесплатных народных читален и библиотек», СПБ. 1907, и подобный же «Список» за 1905—1914 гг., изданный в 1915 г.

[2] Журналы за 1900 г., стр. 242—250. О рассмотрении сочинений Пушкина в 1897 г. см. печатаемые ниже документы.

право, как известно, породило между простонародьем нашим и образованнейшей частью русского общества великую и прискорбную рознь, которая много мешала, да и еще теперь мешает, правильному развитию России. Желательно, чтобы эта рознь улеглась, чтобы тяжелые впечатления прошлого забылись в массах. Во всяком случае после 1861 года растравлять старые язвы совсем неуместно. Тем менее уместно заражать наследственной ненавистью юные поколения, не только выросшие, но даже народившиеся в совершенно новых условиях».

Сведения о политической реакции в царствование Александра I не нужны, так как юношеству необходимы «положительные знания о протекших временах». Говорить о том, что Пушкин обдумывал планы бегства за границу, о том, что он сочувствовал выступлению декабристов — значит изображать его личность «самыми черными красками». Неуместно и несвоевременно (в 1899, юбилейном году) говорить «о суровом отношении правительства к поэту, которого оно за довольно невинные шалости готово сослать в Сибирь, заключить в Соловецкий монастырь». Следует исключить сведения о травле Пушкина «влиятельными» лицами и подлых слухах о жене его.

Не менее интересны отзывы о произведениях Пушкина. В «Кавказском пленнике» отмечены «не совсем удобные мысли» о свободе. Слова Алеко о том, что в городах «торгуют волею своей, главы пред идолами клонят и просят денег да цепей» — названы «односторонними». Из «Бориса Годунова» предложено выбросить ряд мест (о притворных слезах при избрании Бориса, беседа Григория с чернецом, «разные неудобные изречения монахов»). «Дубровский» характеризуется, как повесть, «преисполненная описаниями суровых нравов и заключающая в себе неудобные мысли»; «История Пугачевского бунта»,— как преисполненная «ужасными повествованиями». Не менее выразительно заключение по поводу «Сказки о попе и работнике его Балде»: «не следует... пускать в народ подобного рода сказки и тем усиливать не совсем благоприятное отношение народа к духовенству»,— так отозвался о ней член особого отдела Филонов.

Письма А. С. Пушкина не были допущены к обращению в народе «по ненадлежащему отношению поэта к религии, по суровым отзывам о цензуре и по резким отзывам по разным предметам» (см. ниже выписки из этих отзывов). Таким образом, все, что в произведениях Пушкина могло быть истолковано, как критическое изображение политических и социальных явлений русской жизни, или даже то, что хотя бы могло натолкнуть на критическое отношение к ним, было для народа запретным плодом.

Не ограничиваясь этим, особый отдел преграждал доступ в народ и таким произведениям, которые, с его точки зрения, могли дурно повлиять на нравственность «малоразвитого круга читателей». В числе произведений Пушкина, запрещенных из-за «эротичности» содержания, мы не без удивления видим не только «Руслана и Людмилу» и «Графа Нулина», но и «Бахчисарайский фонтан», «Анджело», «Каменный гость». Эротический элемент строгая «педагогическая» цензура усмотрела даже в «Русалке». Эротическим объявлено место в «Пиковой даме», где рассказывается о том, как спрятавшийся Герман присутствует при раздевании старой графини. Сказка «Золотой петушок» подверглась запрещению исключительно из-за того, что в ней фигурирует скопец, представленный в виде мудреца. «Евгений Онегин» также едва не подвергся запрещению «из-за эротичности многих мест», ряда «неудобных» мыслей и непонятности содержания. Однако, несмотря на такую характеристику этого произведения (докладчиком Филоновым), особый отдел не решился поднять на него руку.

Особый отдел запретил драму «Моцарт и Сальери», найдя, что тема ее — «отравление художника из зависти талантливым человеком» — неудобна для народа. Неудобным был признан и «Выстрел», так как рассказы о дуэлях и стрельбе не пригодны «для простого человека, ищущего в книге чего-нибудь полезного или наставительного». Еще более резкий отзыв дан о «Песнях западных славян»: «подальше бы от народа издания, такими дурными мыслями исполнен-

ные»,— заключил свою характеристику Филонов, причем в качестве примера особенно дурных мыслей приведены строки: «Против солнышка луна не пригреет, против милой жена не утешит». Эти песни признаны неподходящими для народа и потому, что в них изображается «много ужасного и потрясающего». По этой же причине был запрещен «Гробовщик»: «повесть производит тяжелое впечатление своими описаниями ужасов и пьянства». Едва не подверглась запрещению «Метель» из-за того, что в ней план нарушения родительской воли назван «счастливой мыслью».

Как открыто признавали и сами цензоры из особого отдела ученого комитета, Пушкин мог быть допущен в народ лишь постольку, поскольку его произведения способствовали пробуждению и укоренению в нем «добрых чувств». Определение того, что подходило под категорию этих «добрых чувств», с точки зрения интересов правившего класса, и составляло основную задачу «педагогической» цензуры.

Публикуемые документы хранятся в Ленинградском архиве внутренней политики, культуры и быта, в фонде ученого комитета министерства народного просвещения.

Л. Полянская

Отзыв члена особого отдела ученого комитета министерства народного просвещения А. Г. Филонова об изданной Ф. Ф. Павленковым «Иллюстрированной Пушкинской библиотеке», 2 издание. Книжки 1—40, 24 октября 1897 г.[1].

Издавать Пушкина для народа, очень трудная задача. Пушкин в своих сочинениях является высокообразованным писателем. На сочинениях нашего великого поэта лежит явная печать глубоких и многосторонних его сведений по истории как нашей, так и иностранной литературы,— везде разлиты его знания по теории всех родов прозы и поэзии, а также по истории вообще; сверх того, видно, что он и разные благородные искусства знал, знания его этнографические обширны, а особенно он был знаком с нашим родным бытом. Поэтому необходимо значительное число примечаний, дабы понять произведения Пушкина; особенно это необходимо, когда мы хотим издать Пушкина для народа.

Подкрепим эти общие замечания разбором издания г. Павленкова, называющегося «Иллюстрированная Пушкинская библиотека».

№ 1. «Руслан и Людмила», поэма А. С. Пушкина, Ц. 10 к. СПБ. (года не означено).

В этой поэме много эротического, на стр. 61—3 описывается баня, где хана моют девы молодые, на стр. 67 описывается «жестокая страсть» и нежные затеи Киприды, на стр. 76—77 опять представляется картина сладострастия.

Картинка к этой поэме приложена (стр. 96), едва ли достойная хвалы: на ней представлен труп женщины.

Местами высказываются недобрые мысли. На стр. 69 читаем:

«Она чувствительна, скромна,
Любви супружеской верна.
Немножко ветрена... так что же?
Еще милее тем она».

Эта поэма не пригодна для народа.

№ 2. «Кавказский пленник». Ц. 3 коп. 2-е изд. СПБ. (года не означено).

И в этой поэме есть эротические места, но не столь соблазнительные, как в первой.

[1] Ученый комитет министерства народного просвещения, журналы особого отдела за 1897 г., стр. 1897–1933.

Есть и здесь мысли не совсем удобные, напр., о свободе (стр. 8).

Эту книжку можно бы допустить. Тут хороши описания Кавказа.

№ 3. «Братья-разбойники». Ц. 2 коп. 2-е изд. СПБ. (год не означен).

Содержание поэмы может смутить читателя, особенно простого человека. Картинки (на стр. 6) и текст (на стр. 7), к ней относящийся, тяжело действуют на читателя. Сам Пушкин хотел сжечь этот рассказ. Мы не понимаем, для чего его отдельно перепечатывают. Допустить нельзя.

№ 4. «Бахчисарайский фонтан». Ц. 3 коп. 2-е изд. СПБ. (год не означен).

И по эротическим местам (а их здесь много: стр. 6, 13), и по картинке, изображающей полуобнаженную женщину (стр. 13), и по отсутствию необходимых объяснений (стр. 7 «шербет»)

Допустить нельзя.

№ 5. «Цыганы». Ц. 3 коп. 2-е изд. СПБ. (год не означен).

Здесь высказываются мысли односторонние. На стр. 8 Алеко говорит:

В городах
Торгуют волею своей,
Главы пред идолами клонят
И просят денег и цепей.

На стр. 18—20 представлена картина убийства, и текст, сюда относящийся (стр. 20), производит тягостное впечатление.

Допустить нельзя.

№ 6. «Полтава». Ц. 6 коп. 3-е изд. СПБ. (год не означен).

В этой превосходной поэме издатель не сделал объяснений к следующим словам: Левенгаупт (стр. 6), мелодрама (6), паладин (12). «в дни наши новый сильный враг» (13), Забела (41), Гамалей (41), громада войсковая (43), шумная рада (49), несчастные нарвские беглецы (50), Розен — Шлиппенбах (53), Брюс — Боур — Репнин, полудержавный властелин (55).

Картинка на стр. 62, представляющая безумную Марию, не соответствует тексту, что на стр. 62.

Несмотря на указанные недостатки, эту поэму можно допустить.

№ 7. «Галуб». Ц. 2 коп. 2-е изд. СПБ (год не означен).

Эту прекрасную по изображению кавказских народов поэму можно бы допустить.

№ 17. «Медный всадник». Ц. 3 коп. 2-е изд. СПБ. (год не означен).

И в этой знаменитой поэме, столь известной по описаниям в ней Петербурга, недостает объяснений для следующих слов: В. И. Берх (стр. 3), Карамзин (7), Тритон (9), покойный царь (10,— какой царь?), гр. Хвостов (17).

Картинка на стр. 23, изображающая бегущего Евгения, не соответствует тексту (на стр. 20); поза Евгения не хороша.

Можно бы допустить.

№ 35. «Все поэмы». Ц. 25 коп. 2-е изд. СПБ. (год не означен).

Эту книгу нельзя допустить по причинам, выше нами изъясненным под №№ 1, 4 и 5.

№ 8. «Сказка о царе Салтане». Ц. 4 коп. 2-е изд. СПБ. (года не означено).

Эту сказку можно допустить. Тон ее игривый, ничего нет предосудительного.

№ 9. «Сказка о попе и работнике его Балде». Ц. 2 коп. 2-е изд. СПБ. (год не означен).

Сказка эта карикатурным образом повествует о попе (на стр. 3 и 4, а также —10).

А поп, завидя Балду, вскакивает,
За попадью прячется,
Со страху корячится, и пр.

Не следует, по нашему мнению, пускать в народ подобного рода сказки и тем усиливать не совсем благоприятное отношение народа к духовенству [1].

10. «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях». Ц. 3 коп. 2 изд. СПБ (год не означен).

№ 11. «Сказка о золотом петушке». Ц. 2 коп. 2-е изд. СПБ (год не означен).

Полагаем, что эту сказку допустить нельзя.

№ 12. «Сказка о рыбаке и рыбке». Ц. 2 коп. 2-е изд. СПБ (год не означен).

В этой прекрасной сказке надлежало бы издателю некоторые объяснения, например, что называется столбовым дворянином (стр. 8).

Эту общеизвестную сказку можно одобрить.

№ 36. «Все сказки А. С. Пушкина». Ц. 10 коп. 2 изд. СПБ. (год не означен).

Нельзя допустить по причинам, изъясненным выше при № 9.

№ 25. «Выстрел». Повесть. Ц. 3 коп. 2-е изд. СПБ. (год не означен).

Картинка на стр. 14 изображает дуэль, на стр. 14, 24 и 25 подробно описывается дуэль, на стр. 21, 22 и др. опять-таки подробно описывается стрельба в карту (игральную), в бутылку, в муху. Все такие повествования, которые не пригодны для простого человека, ищущего в книге чего-нибудь полезного или наставительного.

Допустить нельзя.

№ 26. «Метель». Повесть. Ц. 3 коп. 2-е изд. СПБ. (год не означен).

Нехорошая мысль выражена на стр. 6. Здесь нарушение родительской воли называется «счастливою мыслию»...

На стр. 15 ошибочно напечатан текст.

Несмотря на все указанное, эту повесть можно допустить: в ней живо описана метель.

№ 27. «Гробовщик». Повесть. Ц. 2 коп. 2-е изд.

Картинка на стр. 12 представляет гробовщика среди мертвых голов, а скелет человека представлен с ботфортами.

В повести изображаются разные ужасы (на стр. 11—12).

Повесть производит тяжелое впечатление своими описаниями ужасов и пьянства.

---

[1] В том же 1897 г. особый отдел не пропустил «Все сказки А. С. Пушкина», издание Сытина, М. 1897 г., в связи с нахождением в сборнике «Сказки о попе и работнике его Балде», а также «Сказки о золотом петушке». При этом Филонов, дававший отзыв об этом издании, предлагал восстановить то название «Сказки о попе...», которое дал ей в 1840 г. В. А. Жуковский («Сказка о купце Остолопе...») (Журналы заседаний особого отдела за 1897 г., стр., 2141—2143).

По поводу той же сказки и в делах общей цензуры встречается не лишенный значения историко-литературный материал. Так, в 1902 г. СПБ. цензурный комитет запретил печатать перевод сказки на татарский язык, сделанный Енакиевым. Необходимость запрещения мотивировалась умышленной тенденциозностью, выразившейся как в выборе именно этой сказки для перевода, так и в замене имени героя сказки (купец Кузьма Остолоп в переводе именуется Мулла-бабай, т. е. превращается в попа). Цензура признала нежелательной и вредной тенденцией стремление «досужих татарских грамотеев» выбирать «для ознакомления своих единомышленников с русским народом и его литературой лишь то, что может доставить им лишний случай и материал злорадно посмеяться над русским человеком» (см. СПБ. цензурный комитет, 1902 г., д. № 188, а также статью Н. Ходза, «Пушкин под запретом» в газете «Литературный Ленинград» № 1 (146), от 1 января 1936 г.).

Нельзя допустить.

№ 28 «Станционный смотритель». Повесть. Ц. 3 коп. 2-е изд. СПБ. (год не означен).

В этой повести, замечательной по характеристике смотрителя, простого, но твердого духом человека, тоже некоторые слова не объяснены, например: диктатор (стр. 5), баллада Дмитриева (23, какая баллада? какого Дмитриева?). Несмотря на указанное, допустить можно.

И картинка здесь на стр. 25 — «Дуня на могиле отца» — поучительна. Дуня бежала от своего отца для тайного брака, а потом сама убедилась, что родитель ее достоин был полного с ее стороны повиновения и памяти.

№ 29. «Барышня-крестьянка». Повесть. Ц. 4 коп. 2-е изд. СПБ (год не означен).

Хорошая в повести есть мысль на стр. 20: примерами из английских журналов доказывается, что «все люди, жившие более ста лет, не употребляли водки и вставали на заре зимой и летом». Да и вся повесть по содержанию своему не заключает в себе ничего предосудительного.

Допустить можно бы.

№ 39. «Повести Белкина». Ц. 10 коп. 2-е изд. СПБ. 1890, стр. 100

Допустить нельзя, по причинам, указанным нами выше, при разборе №№ 25 «Выстрел» и 27 «Гробовщик».

№ 13. «Песни западных славян». Ц. 4 коп. 2-е изд. СПБ. (год не означен).

Много ужасного и потрясающего передано в этих песнях: Радивой удавил ночью своего отца (стр. 5), тут сдирают кожу с живого человека (6), змея в животе женщины шевелится (11), распарывают мертвое тело (13), описываются мучения голода (15), могила, полная крови (19), Георгий Черный убивает родного отца (25), Павлиха закалывает своего ребенка (28), брат привязывает сестру к хвосту борзых коней (29) и т. д.

На картинах изображены: обезглавленная женщина (стр. 14) и привязывание женщины к хвосту лошади (стр. 32).

Да и мысли выражаются кое-где неодобрительные, например, на стр. 34:

Против солнышка луна не пригреет.
Против милой жена не утешит (стр. 34).

Подальше бы от народа издания, такими дурными мыслями исполненные.

Допустить нельзя.

№ 14. «Евгений Онегин». Роман в стихах. Ц. 20 коп. 3-е изд. СПБ. (год не означен). Стр. 231.

Много эротических мест: указываем для примера, на одно: о ножках (стр. 18 и 19).

Картинки здесь иногда нескромного содержания, а иногда ужасного. Образец первых на стр. 59 (полуобнаженная женщина на постели — это Татьяна), на стр. 101 (опять полуобнаженная спящая женщина — опять Татьяна); образец вторых — на стр. 133 (убитый Ленский).

Мыслей много неудобных в этом романе, например, на стр. 24 и 174

«Кто жил и мыслил, тот не может
В душе не презирать людей» (стр. 24).

Блажен
Кто в пятьдесят (лет) освободился
От частных и других долгов (стр. 174).

Собственных имен и вообще маловразумительных для народа слов в романе множество...

Не поймет народ, не живший при крепостном праве, таких стихов, как след.:

Вела (помещица) расходы, брила лбы (стр. 47).

А таких стихов, повествующих об иной эпохе, в романе много, но объяснений нет.

Роман этот для народа нельзя одобрить.

№ 15. «Граф Нулин». Рассказ в стихах. Ц. 2 коп. 2-е изд. СПБ. (год не означен).

Эротические места есть (стр. 10 и др.). Все содержание рассказа нескромное.— Картинка представляет (стр. 12) женщину в спальне на постели и перед нею на коленях нахальный граф Нулин.

Нельзя допустить.

№ 16. «Домик в Коломне». Рассказ. Ц. 2 коп. 2-е изд.

Этот игривый рассказ можно бы допустить.

Хорошие мысли в этом рассказе высказываются на стр. 4:

«Тогда блажен, кто крепко словом правит
И держит мысль на привязи свою».

№ 18. «Анджело». Поэма. Ц. 3 коп. 2-е изд. СПБ. (год не означен).

В этой поэме много соблазнительного: См. стр. 12, 13.

«Что если б отдали тебе на разрешенье —
Оставить брата влечь ко плахе на убой,
Иль искупить его, пожертвовав собой
И плоть предав греху?»...
... «К тебе желаньем был преступным воспален,
И требовал, чтобы ты казнь брата искупила.
Своим падением»...

Допустить нельзя.

№ 30. «Пиковая дама». Повесть. Ц. 5 коп. 2-е изд.

Эротического не мало и в этой повести: «Графиня стала раздеваться» и т. д. (стр. 25), а герой, тайком пробравшийся в ее кабинет, глядел в щелку...

Нравы здесь описываются жестокие: жена дает мужу пощечину (стр. 5) за то, что он представил ей счеты, говорящие о неуменьи жить по средствам.

На картинке изображен герой повести (Герман), стреляющий в графиню в ее спальне (стр. 29).

Допустить нельзя.

№ 33. «Капитанская дочка». Роман. Ц. 20 коп. 2-е изд. СПБ. (год не означен).

Эту прекрасную повесть можно бы допустить, если бы не было здесь дурной картинки (стр. 52), изображающей дуэль двух офицеров, и другой картинки (163), представляющей выстрел (эта картина не соответствует тексту на стр. 163),— сверх того, если бы издатель выпустил строки (на стр. 5) о прачке Палашке и рассказ Максимыча о бане, где капрал Прохоров подрался с Устиньей за шайку горячей воды (33).

№ 34. «История Пугачевского бунта». Ц. 20 коп. СПБ. (год не означен).

Много ужасного рассказывается в этой «истории»: поругание жен и дочерей, удавленные и четвертованные страдальцы (стр. 41), колют здесь раненых и отсекают им головы (87), мучат голодом (89), приходит в смятение все живущее по Волге (119), вешают 300 человек (дворян) в Саранске (124), истребляют помещиков, и повсюду правление пресекается (131) и пр.

Рассказывается на других страницах, что оробели воинские начальники (33), изменяют государыне гражданские начальники (44), робеют перед мятежом офицеры (47), обманывают (49) своих начальников и приводят их к Пугачеву,— недостает у правительства пушек (стр. 55), сам главный вождь (Бибиков) находит положение дел «прескверным» (64, «что и описать не могу»), на стр. 65 говорится об ужасном положении дел, затем о неподвижности начальников (103), их неспособности (117), возмущении всех деревень (121), а на стр. 121 делается замечание, что «императрица не знала, кому предоставить спасение отечества»...

Такому ужасному содержанию «Истории» соответствуют и картинки, в ней находящиеся: суд Пугачева в Бердской слободе (стр. 38), расстреляние Харловой (любовница Пугачева) с ее 7-летним братом (41), казнь Чернышева (симбирский комендант, 45) и 36 офицеров (48), побоище в Казани (106), казнь Пугачева (140).

Мы должны присоединить, что в разбираемой «Истории» есть и светлые страницы. Отрадно дышат на читателя рассказы Пушкина о влиянии речи Бибикова, сказанной в Казани (стр. 63), о Михельсоне, главном усмирителе мятежа (84, 99), преосвященном Вениамине, архиерее казанском (109—110), подымавшем дух народа, стодесятилетнем генерал-майоре Кудрявцеве (115), продолжавшем свою молитву, несмотря на мятежников, угрожавших ему.

Но эти светлые страницы, как капля в море, скрываются среди ужасных повествований, которыми преисполнена «История Пугачевского бунта» [1].

Допустить нельзя.

№ 37. «Баллады и легенды». СПБ. (год не означен). Ц. 10 коп., стр. 81.

На стр. 20 помещено стихотворение «Русалка»; содержание этого произведения эротическое: монах увидал нагую русалку и бросился за нею в воду.

На стр. 34—67 напечатаны «Песни западных славян»: о них мы говорили выше при разборе № 13.

Другие произведения, в этой книжке предложенные, можно бы допустить, если бы они были отдельно изданы и заключили объяснения малопонятных народу слов, напр.: хазары, броня, Перун, щит, пращ, сеча, Игорь, вече, стяг, бердыши, Паз, Ольгерд, крыжак проклятый, Готфы, Буньян и пр. (стр. 3, 4, 5, 6, 7, 31, 32) «проклятых крыжаков» (74, 78).

Допустить нельзя.

[1] С большими осложнениями было связано прохождение «Истории Пугачевского бунта» в издании Ф. Ф. Павленкова через общую цензуру. Рассматривая ее в 1888 г., СПБ. цензурный комитет нашел необходимым запретить книгу к печати как с иллюстрациями, так и без них, по следующим соображениям: 1) «Похождения казака-преступника, хотя изложены с исторической точностью, не могут не подействовать на воображение простого человека, у которого создались разные идеальные образы борца против правительства». 2) «Осторожность при издании книг для народа, требуемая от цензуры, не дозволяет ей дать в руки простолюдина и самое издание Пушкина о казаке-возмутителе». 3) «Оно может быть читаемо в кабаках и во всех публичных местах и послужить предметом для разнообразных толков и суждений». Главное управление по делам печати утвердило решение комитета, как совершенно правильное, но в виду ходатайства Павленкова, напомнившего, что «История Пугачевского бунта» в свое время проходила строгую цензуру Николая I, нашло возможным изменить первоначальное решение, тем более, что Павленков обещал ограничить выпуск этого произведения 2 000 экз. (См. Главное управление по делам печати, III отд. 1888 г., д. № 22, лл. 14—17, а также статью т. Ходза «История Пугачевского бунта и цензура», «Литературный Ленинград» № 49 (194) от 23 октября 1936 г.)

№ 19. «Борис Годунов. Драма в стихах. Ц. 10 коп. 2-е изд. СПБ. (год не означен). Стр. 100.

Эту книжку можно бы допустить, если бы во 1) не препятствовала тому картинка между 80 и 83 стр., во 2) не были бы напечатаны бранные слова Маржерета на стр. 78—79 и в 3) и были бы объяснены для народа слова географические, исторические и другие, мало ему понятные, напр.: думные бояре (стр. 6), бармы Мономаха (8), верховный дьяк (9), красное крыльцо (9), хартия (13), приказы (14), воевал под башнями Казани (17), рать Литвы при Шуйском отражал (17), кромешники (18), схима (37), зане (20), Юрьев день (28 и 29), Сигизмунд (37), приказ холопий (39), св. Игнатий (50), город Ольгин (52), Волынь, Баторий (52), бунчуки (54), парнасские цветы (54), свейский государь (73), Архангельский собор (76), Кромы (88), разрядные книги (88).

Можно было бы без ущерба делу не печатать некоторых мест в сцене на стр. 11 (о притворных слезах и еде луку), на стр. 23 (беседа Григория с чернецом), на стр. 27, 28, 29 и 30 (разные неудобные изречения монахов).

№ 20. «Скупой рыцарь». Драматический очерк. Ц. 2 коп. 2-е изд. СПБ. (без означения года).

Можно допустить.

№ 21. «Моцарт и Сальери». Драматический очерк. Ц. 2 коп. 2-е изд. СПБ. (без означения года). Стр. 16.

Нам кажется, что по содержанию своему этот очерк неудобен для народа: отравление художника из зависти талантливым человеком.

№ 22. «Каменный гость». Драматический очерк. Ц. 3 коп. 2-е изд. СПБ. (без означения года). Стр. 31.

В предлагаемом очерке много эротического — эротическое слито с ужасным. Здесь Дон-Жуан убивает соперника своего (стр. 13) и ввиду убитого целует Лауру, на кладбище ввиду гроба и статуи командора объясняется в любви его вдове (стр. 16 и 19). Здесь есть две картинки (стр. 17 и 23): на одной представлены, между прочим, одни ноги командора, а на другой — туловище его без головы, тогда как по тексту (стр. 22) следовало и голову изобразить, ибо сказано, что статуя глядит и сердится, что статуя кивает головой.

Допустить нельзя.

№ 23. «Пир во время чумы». Драматический очерк. Ц. 2 коп. 2-е изд. СПБ. (без означения года). Стр. 11.

Этот очерк можно бы допустить. Содержанием его служит обличение безумного пира священником. Мысли, вложенные поэтом в уста священника,— мысли хорошие.

№ 24. «Русалка». Драматический очерк. Ц. 3 коп. 2-е изд. СПБ. (без означения года).

Нельзя допустить.— Здесь (стр. 16) мужчина сравнивается с петухом, а женщина — с наседкой; кроме того, (на стр. 24) представлена картинка с изображением обнаженной женщины: этот рисунок и не соответствует тексту: текст говорит, что русалочка выходит на берег (стр. 24), а на картинке — русалочка в воде стоит [1].

---

[1] Отрицательные отзывы о ряде рисунков, помещенных в «Иллюстрированной Пушкинской библиотеке», Филонов в 1898 г. повторил, давая заключение об изданном тем же Ф. Ф. Павленковым «Малом альбоме к сочинениям Пушкина», СПБ 1897 г. Этот альбом особым отделом ученого комитета был признан непригодным для обращения в народе, так как в нем находятся: 1) картины, изображающие дуэль А. С. Пушкина, а также дуэль Сильвио со своим соперником и Швабрина с Гриневым; 2) рисунки, изображающие «ужасные сцены»: смерть младшего брата из «Братьев-разбойников», «убийство Земфиры, размычку женщины конями»; сцены из «Гробовщика» и «Пиковой дамы». К третьей группе непригодных для народа картин были отнесены «различные лю-

№ 38. «Все драматические произведения А. С. Пушкина». (Семь пьес). Ц. 20 коп. 2-е изд. СПБ. (без означения года). Стр. 186.

По причинам, изъясненным при разборе № 19 «Борис Годунов», № 21 «Моцарт и Сальери», № 22 «Каменный гость» и 24 «Русалка», допустить нельзя.

№ 31. «Дубровский». Повесть А. С. Пушкина. Ц. 10 к. 2-е изд. СПБ. (без означения года). Стр. 111.

Нравы в этой повести описываются суровые. Троекуров (его высокопревосходительство) бьет повара, бранит гостей, ездит с охотою по чужим полям (стр. 8); здесь чужих людей проучивают прутьями (9), вводят собак в церковь божию (14), властей не ставят и в грош (19), власти на посылках у тузов-помещиков (19), приказные (судьи) пьянствуют во время следствия (36), их сжигают живыми во время сна (39 и 41), сажают гостей в телегу, запряженную медведями (47), оставляют гостя в комнате наедине с привязанным медведем (47), мужиков обдирают дочиста (53), исправников сожигают (54), исправники из-за денег допускают разбои (54), кучера, по приказу господ, привязывают приказчика к козлам коляски (57), дочерей запирают под замок, пока согласятся выйти замуж за нелюбимого человека (94), запрещают слугам слушаться своих господ (95), приподымают человека за волосы на поларшина от земли (97), угрожают со всего дома шкуру спустить (т. е. всех в доме розгами высечь, стр. 100) и пр.

На одной странице (2) описываются сластолюбивые покушения семидесятилетнего старика; на другой (88) брак сравнивается с плахою и могилою.

Повесть, преисполненная описаниями суровых нравов и заключающая в себе неудобные мысли, едва ли может быть допущена для чтения народу [1].

№ 32. «Арап Петра Великого». Повесть А. С. Пушкина. Ц. 6 к. Изд. 2-е. СПБ. (без означения года). Стр. 56.

Эта завлекательная по своим рассказам о Петре Великом повесть могла бы допущена быть, если бы издатель исключил некоторые не совсем удобные места на стр. 9, 11, 24 и 47.

бовные картины»: обнаженные женщины из «Бахчисарайского фонтана», Татьяна в спальне, граф Нулин в спальне Натальи Павловны; надпись к рисунку—«люби меня, и жив он будет» (Анджело»), а также—«я вас приму, но вечером, позднее»... («Каменный гость»). Журнал особого отдела за 1898 г., лл. 2359—2361).

[1] Подобную же характеристику Филонов дал «Дубровскому» в 1890 г., в своем отзыве о «Сочинениях А. С. Пушкина. Издание для народно-учебной библиотеки. Вып. 2. Редакция, предисловие и примечания Н. Бунакова. СПБ. 1889». Помещенные в этом издании отрывки из «Дубровского» он предложил исключить, так как в них изображаются «темные стороны старинной помещичьей жизни и разные злоупотребления в судах». Неподходящими для народного чтения он нашел также стихотворения «Уединение», «Деревня», начиная со слов «не видя слез, не внемля стона, на пагубу людей избранное судьбой...» Наличие в сборнике этих двух произведений (первого — в отрывках) послужило причиной недопущения его в народные школы и библиотеки. (Ученый комитет, журналы заседаний особого отдела за 1890 г., лл. 588—591).

Помещение стихотворения «Деревня» полностью и позднее служило препятствием к допущению Собрания сочинений А. С. Пушкина в школу и для народного чтения. Так, в 1899 г. особым отделом ученого комитета было отклонено ходатайство К. Тихомирова об одобрении для подведомственных министерству народного просвещения учебных заведений «Избранных сочинений А. С. Пушкина, с биографией и портретом. Школьные издание К. Тихомирова. Москва». Особый отдел признал, что «выбор пушкинских пьес сделан так, что в низшую школу книга эта пути иметь не может». Кроме полного текста стихотворения «Деревня», были отмечены, как неуместные, «сцены вольной любви и измены из «Цыган», «Русалки», «Полтавы». (Журналы заседаний особого отдела за 1899 г., лл. 833—834).

На стр. 9—11 описываются роды графини и обман ею своего мужа, а равно и то, как подменили при сем ребенка-негра обыкновенным дитятею; на стр. 24 высказывается легкомысленный взгляд на женскую печаль, а на стр. 47 — на женскую любовь.

Нам кажется, что из этой повести, столь прекрасной по описаниям первых времен Петербурга, вообще следовало бы исключить повествование о легкомысленном поведении арапа Ибрагима в Париже.

№ 40. «Письма А. С. Пушкина». С портретом автора и 25 портретами лиц, к которым он писал. (Из коллекции П. А. Ефремова) Ц. 25 коп. СПБ. (без означения года.) Стр. 471.

В этой книжке напечатаны письма Пушкина с 1816 г. по 1837 г. включительно. Письма писаны разным лицам и при разных случаях жизни поэта. Батюшков К. Н. сказал о письмах Ломоносова, что они — драгоценный памятник нашей словесности; то же можно сказать и о письмах Пушкина. Письма великого нашего поэта дают ясное понятие об его высокообразованном уме, разнообразных его знаниях по литературе, его критическом даровании, его благородном характере и тех житейских испытаниях, которые посланы ему проведением.

Но, к великому нашему сожалению, издатель предлагаемого сборника писем Пушкина не сделал никакого выбора между ними. А следовало сделать такой выбор, имея в виду, что письма издаются им не для всех, а для народа.

Сам Пушкин (стр. 78, 84 и 94) выражает совершенно справедливый взгляд на письма. Он был очень недоволен обнародованием его писем, имеющих частный характер, характер дружеской откровенной беседы, беседы не для печати. Издатель не обратил внимания на это место писем Пушкина и напечатал все его письма, без малейшего выбора и тем сам преградил доступ своему сборнику в школу народную, в читальню народную и вообще для народного чтения.

Предлагаемый сборник писем Пушкина не может быть допущен в народное обращение по следующим причинам: 1) по ненадлежащему отношению поэта к религии, 2) по суровым отзывам о цензуре, 3) по резким отзывам о разных предметах.

1. О религии.— На стр. 15 великопостная молитва (св. Ефрема Сирина), применяемая к самым будничным явлениям жизни (путешествию Кюхельбекера).— На стр. 17 языческая религия смешивается с христианскою: «Молю Феба и казанскую богоматерь, чтобы возвратился я к вам».— На стр. 22 «евхаристиею» называется тосты шампанского за здоровье «тех и той»; на стр. 24 люблю вина, танцовщицу «и все, елико друга моего»; на 25 «его преосвященству» (Александру Ивановичу Тургеневу, состоящему при обер-прокуроре св. синода); на стр. 31 второе издание поэмы «Руслан и Людмила» называется «вторым пришествием»; на стр. 51 «тебе (Бестужеву), кажется, более нравится Бл..щение» (здесь говорится о богохульном произведении); на стр. 59 по поводу нескромного стиха «под стражею скопцов гарема» пишет, что он «желал бы оставить русскому языку некоторую библейскую откровенность»; на стр. 61 «получу (стихи Языкова, Баратынского), заколю агнца, восхвалю господа и украшу цветами свой шалаш, хоть Бируков (цензор) находит это слишком сладострастным»; на стр. 66 «Так, если верить Моисею,

Погиб несчастливый Содом» —

в этом же месте содомский грех назван «вежливым грехом»; на стр. 67 «я пью, как Лот содомский, и жалею, что не имею с собой ни одной дочки»; на стр. 75: «Читая (?) библию, святой дух иногда мне по сердцу, но предпочитаю Гете и Шекспира»; далее говорит, что он в

Одессе берет уроки (у англичанина) чистого афеизма; на стр. 76 «повторяю тебе (кн. Вяземскому) перед евангелием и св. причастием, что Дмитриев не имеет более весу, чем Херасков»; на стр. 138—139 «мой аневризм носил я десять лет и с божиею помощью могут проносить еще года три». Такие выражения можно читать на стр. 55, 72, 82, 103, 111, 129 и пр. и пр.

2. Цензура.— На стр. 32 называет цензуру своею приятельницею, «голубушкою», приписывает ей «целомудренность»; на стр. 33 признает цензуру «ужасно бестолковой», «очень глупой»; на стр. 41 «признаюсь, что я думал увидеть знаки роковых ее когтей в других местах»; стр. 55 «зарезала меня цензура»; стр. 58 «я выбросил то, что цензура выбросила бы и без меня,... не уступай этой суке... отгрызайся за каждый стих»; на стр. 81 «с переменой министерства ожидаю и перемены цензуры... Бируков и Красовский (цензора) не в терпеж были глупы»; на стр. 129 «богатая мысль напечатать Наполеона, да цензура — д...»; на стр. 134

«Или зачем подлец-попович
Его Красовский пропустил».

Подобные же резкие отзывы можно читать на стр. 58, 61 и др.

3. Резкие отзывы о разных предметах.— На стр. 23 одного французского офицера называет подлецом; издание «Сын отечества» именует «сукиным сыном» (стр. 39); собирается написать графиню Воронцову в 8-ми позах Аретина (стр. 62,— Аретин — поэт 15—16 вв. известен скандальезными стихотворениями); на стр. 70 «меня тошнит с досады — на что ни погляжу, все такая гадость, такая подлость, такая глупость»; на стр. 81 «можем плюнуть на сволочь нашей литературы»; Греция мне огадила (стр. 83), «пакостный народ» — греки; на стр. 98—99 называет (по поводу семейных дрязг) свое существование «глупым» и резко отзывается о псковском губернаторе; стр. 104 показывает отчаяние Пушкина: «я повешусь у двух сосен» (оне около Михайловской усадьбы); стр. 111 «унизиться перед правительством была бы глупость. Довольно ему одного Граббе (стр. 111 — Граббе был выслан из Петербурга); на стр. 136 «вот чего п... Воронцов не понимает»; на стр. 119 Софью, выведенную в комедии Грибоедова, называет «не то б..., не то московскою кузиною».

Такие же резкие суждения можно читать и в других местах книги, напр., стр. 3, 44, 51—52, 135, 139 и т. д.

Есть даже места совсем цинические, напр., на стр. 130. На стр. 115 Пушкин говорит, что «похабные эпиграммы Руссо стократ выше его од и гимнов»...

К разбираемой книжке приложено 25 портретов лиц, между ними есть изображения двух государственных преступников — Кюхельбекера и Рылеева... Нужно ли народу знать об этих людях?..

Возвращаясь к первым страницам нашего доклада, мы не можем не повторить, что издать Пушкина для народа — великая задача. Разбираемое издание, предпринятое г. Павленковым, далеко не удовлетворительно.

Отзыв сообщить издателю. **А. Филонов**

Заключение особого отдела ученого комитета:

По выслушании и обсуждении доклада члена Филонова и рассмотрении означенных выше книжек «Иллюстрированной Пушкинской библиотеки», особый отдел ученого комитета вполне согласился с мнением докладчика и полагал:

1) возможным допустить в ученические библиотеки низших училищ и в бесплатные народные библиотеки и читальни книжки под №№ 2 (Кавказский пленник), 6 (Полтава), 7 (Галуб), 8 (Сказка о царе Салтане), 10 (Сказка о мертвой царевне), 12 (Сказка о рыбаке и рыбке), 14 (Евгений Онегин), 16 (Домик в Коломне), 17 (Медный всадник), 20 (Скупой рыцарь), 23 (Пир во время чумы), 26 (Метель), 28 (Станционный смотритель), 29 (Барышня-крестьянка) и 33 (Капитанская дочка), но с тем однако условием, чтобы при следующем их издании были устранены из них издателем те неудобные для чтения в школе и в народных читальнях места в тексте, а также и иллюстрации, которые указаны в докладе, а равно были бы снабжены пояснениями и, где нужно, переводом на русский язык слова и выражения, непонятные школьнику и простолюдину, так же как и изречения и диалоги, напечатанные на языках иностранных;

2) книжки под №№ 19 (Борис Годунов) и 32 (Арап Петра Великого) особый отдел не находит возможным допустить в названные библиотеки иначе, как по предварительном исправлении их согласно замечаниям рецензента;

3) остальные 23 выпуска «Иллюстрированной Пушкинской библиотеки», как-то: Руслан и Людмила (№ 1), Братья-разбойники (№ 3), Бахчисарайский фонтан (№ 4), Цыганы (№ 5), Сказка о попе и работнике его Балде (№ 9), Сказка о золотом петушке (№ 11), Песни западных славян (№ 13), Граф Нулин (№ 15), Анджело (№ 18), Моцарт и Сальери (№ 21), Каменный гость (№ 22), Русалка (№ 24), Выстрел (№ 25), Гробовщик (№ 27), Пиковая дама (№ 30), Дубровский (№ 31), История Пугачевского бунта (№ 34) и все сборники (№№ 35—40) особый отдел находил непригодными для ученических библиотек низших училищ и народных читален как в виду малопонятности содержания некоторых из них для простолюдина и школьника, так и по множеству отдельных в них встречающихся мест, неудобных по приведенным в докладе соображениям к обращению среди малоразвитого круга читателей.

Определено: представить все вышеизложенное на благоусмотрение его превосходительства г. товарища министра народного просвещения. Копию с отзыва сообщить издателю.

Резолюция товарища министра народного просвещения Н. М. Аничкова: «Согласен. 30 ноября 1897 г.» [1].

---

[1] Первоначально рассмотрение «Иллюстрированной Пушкинской библиотеки» было поручено особым отделом ученого комитета Д. В. Аверкиеву, известному беллетристу и драматургу. Он предложил оставить это издание «без внимания», как «вызванное скорее спекулятивными, чем серьезными побуждениями». К тому же, по его мнению, не ощущалось и особой нужды в допущении для школ и библиотек нового издания сочинений А. С. Пушкина, так как его сочинения имелись в «приспособленных для учебных заведений изданиях, именно г. Поливанова для средне-учебных заведений и г. Шемякина для низших училищ».

Однако особый отдел ученого комитета отверг оба приведенные Д. В. Аверкиевым довода. Первый был признан малоубедительным, так как стремление к известной материальной выгоде можно считать естественным для каждого издателя. Второе соображение — о неприспособленности издания Павленкова для школы — требовало, по мнению особого отдела, обоснования, хотя бы для того, чтобы издатель мог учесть и использовать сделанные замечания для следующего издания. В связи с этим, рассмотрение «Иллюстрированной Пушкинской библиотеки» и было поручено А. Г. Филонову.

Рассмотрение доклада члена комитета А. А. Слепцова о брошюре: «А. С. Пушкин». Биографический очерк, составленный А. И. Цомакион. Одесса. 1899.— 24 мая 1899 г.[1].

Слушали (статья III): мнение члена А. А. Слепцова[2] о брошюре: «Александр Сергеевич Пушкин. Биографический очерк», составленный заведывающей Одесским городским педагогическим музеем А. И. Цомакион, под редакцией профессора Московского университета А. И. Кирпичникова. Издан Одесским Славянским благотворительным обществом совместно с Одесским городским общественным управлением. Одесса. 1899. Стр. IV + 74. Ц. 10 коп. (По поводу отношения г. попечителя Одесского учебного округа за № 8033).

Одесская городская управа, препроводив к г. попечителю Одесского учебного округа вышеозаглавленную брошюру, просит разрешения попечителя на бесплатную раздачу этого очерка учащимся в учебных заведениях города Одессы, а именно: 1) окончившим в мае текущего года городские народные училища, 2) воспитанникам старших классов городских училищ, 3) воспитанницам старших классов городских женских гимназий, 4) воспитанникам и воспитанницам городского ремесленного училища и городского девичьего училища, 5) оканчивающим курс в еврейских общеобразовательных и профессиональных училищах.

Предварительно удовлетворения такого ходатайства попечитель счел нужным представить означенный очерк на одобрение ученого комитета.

Г. председателю ученого комитета угодно было передать брошюру г-жи Цомакион на мое рассмотрение.

Ознакомившись с нею, не могу не выразить удивления, как эта книжка, составленная с явною торопливостью и совершенно бестактно, пройдя через руки почтенного профессора, Славянского благотворительного общества, городской управы, могла предназначаться для раздачи ученикам городских и народных школ в день Пушкинского юбилея, да еще как бы с поощрения министерства народного просвещения.

Такое поощрение вряд ли желательно уже ввиду первой главы брошюры, посвященной предкам и родителям Пушкина. Глава эта представляет ряд тяжелых картин русской жизни XVIII века и безо всякой нужды воскрешает память о самых ужасных сценах крепостного времени. Крепостное время, как известно, породило между простонародьем нашим и образованнейшею частью русского общества великую и прискорбную рознь, которая много мешала, да еще и теперь мешает, правильному развитию России. Желательно, чтобы эта рознь улеглась, чтобы тяжелые впечатления прошлого забылись в массах. Во всяком случае после 1861 года растравлять старые язвы совсем неуместно. Тем менее уместно заражать наследственною ненавистью юные поколения, не только выросшие, но даже народившиеся уже в совершенно новых условиях.

Между тем произведения Пушкина признаются г-жею Цомакион как бы уже известными читателю; выделить из них черты более заме-

[1] Ученый комитет министерства народного просвещения, журналы основного отдела за 1899 г., стр. 811—815.

[2] Член особого отдела ученого комитета Слепцов (1835—1906), вначале был близок к Н. П. Огареву и принимал участие вместе с ним в составлении землевольческих прокламаций. О нем см. «Деятели революционного движения». Био-библиографический словарь, т. I, ч. 2, стр. 377, М., 1928 г.; М. Слепцова, Штурманы грядущей бури. Сборн. «Звенья», т. II (1934) стр. 386—463.

чательные она не умеет и, вместо ознакомления с просветительными идеями Пушкина, тратит время на совершенно ненужные и преувеличенные рассказы о его кутежах, бретерстве (стр. 28, 43), о суровом отношении правительства к поэту, которого оно за довольно невинные шалости готово сослать в Сибирь, заключить в Соловецкий монастырь (стр. 39), о неприязненных отношениях между Пушкиным и его родителями (гл. I, стр. 52, 50)...

Все это и неуместно, и несвоевременно.

Суждения автора, повторяем, кроме того, торопливы и мало основательны. Он сам себе противоречит на каждом шагу. Сравните, например, что говорит на страницах 15 и 16 о воспитании в лицее. На одной странице читаем: «Надзор был недостаточно бдителен», ...«молодые преподаватели слишком увлекались деликатным отношением к ученикам, делали им совершенно неуместные поблажки»... «все это не могло не принести им вреда»... А на следующей странице оказывается, что «прекрасное влияние, которое имели на лицеистов молодые воспитатели», было очень сильно, укоренило в них дух порядочности до того, что, оставаясь два года «без настоящей главы» (без директора), лицеисты оказались «полными чувства самоуважения... не допускали себя до поступков, унижающих их в собственных глазах, дорожили доверием своих наставников, не желали огорчать их, досуги свои употребляли с пользой». Где же правда?

Или посмотрите стр. 41—43.

«Люди, которым поручен был надзор за Пушкиным (в Екатеринославе и Бессарабии), приписывали все его ошибки роду занятий и, ради его исправления, старались отвлечь его от поэзии — этой отрады его жизни»... А далее описывается сердечное отношение Инзова к поэту, житье Пушкина у Раевских; оказывается, что Инзов именно уважал дарование поэта, не отвлекал его чиновничьей работой, дал ему возможность набраться самых разнообразных впечатлений среди природы Кавказа, Крыма, поощрял его занятия, которые — отмечает г-жа Цомакион — «настолько были серьезнее петербургских и настолько, очевидно, полезнее, что Пушкину казалось, будто он только теперь узнал настоящий труд».

Пушкин, как известно, в Михайловском еще заботился исправить недостатки своего «проклятого» воспитания. Он чувствовал: 1) что знания его слабы и 2) что он воспитанием своим был оторван от русского народа... и старался, с одной стороны, пополнить свое образование, с другой — ближе вникнуть в духовный мир русских людей».

Между тем, по книжке г-жи Цомакион (ср. стр. 53), приходится вывести заключение, что Пушкин еще в лицее вполне освоился и с мыслителями XVIII века, и с духом русского народа. Страницы 32—33 посвящены «просветительной литературе XVIII века», возникшей при короле Людовике XIV, будто бы приучившей Пушкина «с юношеских лет ко всему в жизни относиться серьезно и сознательно, глубоко вдумываться во все окружающее», будто бы раз'яснившей ему «тяжелое положение столь любимого им русского народа».

И этот русский народ, по мнению г-жи Цомакион, был хорошо знаком Пушкину еще в лицее... Она приводит этому довольно странные доказательства:

«В высшей степени поразительно»,— пишет она,— что одно из произведений 15-летнего лицеиста, романс «Под вечер осенью ненастной» сделался почти народной песней. Начиная с 20-х годов романс этот перепечатывался на лубочных листах. Это показывает, насколько хорошо понимали друг друга Пушкин и русский народ» (стр. 20).

Точно так же брошюра признает поэму «Руслан и Людмила» взятою «из простонародных вымыслов» (стр. 38). Русскою сказкою навеян, несомненно, только знаменитый пролог поэмы; но он написан много позже самой поэмы.

Много еще можно бы отметить в разбираемой книжке, но, полагаю, в этом нет надобности. И сказанного — думается мне — достаточно, чтобы сказать:

Если эта книжка г-жи Цомакион попадет в руки школьника где-нибудь вне школы, можно будет только пожалеть, что ему не попалось что-либо лучше; раздачи же такого торопливого, мало обдуманного сочинения в школе, в юбилейный день, от имени городского управления, с санкцией министерства — полагаю — прямо допускать не следует.

Определено: Согласно с мнением докладчика, признать рассмотренную брошюру непригодною для раздачи учащимся и сообщить вышеизложенный отзыв о ней г. попечителю Одесского учебного округа, о чем представить на благоусмотрение его превосходительства г. товарища министра.

Председатель ученого комитета А. Георгиевский.

Отзыв члена особого отдела ученого комитета министерства народного просвещения А. Г. Филонова о полном собрании сочинений А. С. Пушкина, издание товарищества И. Д. Сытина. Москва, 1899 г. — 31 марта 1900 г.[1]

Полное собрание сочинений А. С. Пушкина. С биографией А. С. Пушкина. С портретами и многими иллюстрациями акад. К. Лебедева. М. 1899. Типогр. товарищества И. Д. Сытина. Стран. 580 (в первой части) и 399 (во второй). Ц. 1 р. 50 к.

Директор народных училищ Владимирской губ. просит г. попечителя Московского учебного округа разрешить выдать в награду ученикам городских училищ, окончившим курс, вышеозначенную книгу. Попечитель округа при своем представлении его превосходительству г. министру просит разрешить такую выдачу. Его превосходительство г. министр передал это дело на рассмотрение учебного комитета.

Книга «Полное собрание сочинений А. С. Пушкина» в издании товарищества Сытина состоит из двух частей: в первой части напечатаны стихотворные произведения Пушкина, а во второй — прозаические его творения. Текст напечатан по последним изданиям сочинений Пушкина почти без пропусков и снабжен множеством рисунков, исполненных академиком Лебедевым. Цена весьма недорогая: рубль пятьдесят копеек за книгу, состоящую почти из тысячи страниц...

Но рассматриваемую нами книгу нельзя допустить в учебные заведения по следующим причинам:

1. В ней много эротических мест, нескромных, таких мест, которые обыкновенно всегда исключаются из книг, предназначенных для юношества. Здесь мы разумеем места, напечатанные на стр. 55 («Наездник»), на 65 (Наина), 68 (петух), 79 (упоительная отрава), 80 (девы ведут Ратмира[2] в великолепную русскую баню), на той же стр. (Ратмир и девы ночью), 83 (Киприда), 88 (дева на свидании), 91 (любовь и жажда наслаждений): это все в поэме «Руслан и Людмила». Есть нескромные эротические картины в «Кавказском пленнике» (стр. 101 и 106), в

[1] Ученый комитет министерства народного просвещения, журналы особого отдела за 1900 г., лл. 1083—1098.

[2] В подлиннике ошибочно: «Руслана».

«Бахчисарайском фонтане» (112 и 113), в стихотворениях «Кольна» (147 и 148), «Евлега» (149), «Оскар» (150), «Орланд» (151), «Домовой» (158), в романе «Евгений Онегин», целиком здесь помещенном (170), «ножки», 171 «ночное свидание», 172, 182, 190, 199 «Зизи — кристалл души моей», 229 «вдова», «о пакостном романе», 230—231 («о вы, которые любили без позволения родных»). Здесь помещена вся поэма «Граф Нулин» (235 и пр.), описывающая соблазнительную картину вторжения графа в спальню замужней женщины и получившего за дерзость пощечину. В этой книге напечатаны «Анджело» (253), «Дон-Жуан» (308), «Пир во время чумы» (317), «Монолог Изабеллы», говорящий о неверности супруги (331), «К молодой актрисе» (463), «К живописцу» (475), Щербинину (491), и все это исполнено страстных описаний.

Что всего хуже, в книге напечатан отрывок из соблазнительного сочинения Пушкина, носящего название «Девственница» (стр. 155). Здесь читаем следующие стихи:

«Я признаюсь, вечернею порой
Милее мне смиренная девица,
Послушная, как агнец полевой.
Иоанна же (т. е. Иоанна Дарк) была душею львица».

Много эротического элемента находится и в отделе «Проза». См. «Выстрел» (стр. 8), «Барышня-крестьянка» (35, 37, 38), «Пиковая дама» (51, 53 «свидание в полночь в спальне барышни»), «Летопись Горохина» (112), «Арап Петра Великого» (123), «Капитанская дочка» (159, 162), «Египетские ночи» (230 «Клеопатра и ее любовники», «Кто меж вами купит ценою жизни ночь мою») и др.

В книгах, назначенных для чтения юношеству, обыкновенно выпускаются любовные картины, на описание которых не был скуп наш поэт даже в образцовых своих произведениях, как «Капитанская дочка» и «Евгений Онегин». А в разбираемой книге нигде не выпущены нескромные сцены, о чем нельзя не пожалеть.

2. В разбираемой книге напечатано без разбору много сатирических произведений и резких отзывов поэта о разных предметах. Здесь целиком напечатаны резкие эпиграммы Пушкина на Карамзина, Жуковского, Полевых, на кн. А. Н. Голицына, гр. Аракчеева, гр. Воронцова, архимандрита Фотия и других (см. стр. 386—395). На Карамзина такая, между другими, напечатана эпиграмма:

«На плаху истину влача,
Он показал нам без пристрастья
Необходимость палача
И прелесть самовластья» (стр. 388).

Еще:

«В его истории изящность, простота,
Доказывают нам без всякого пристрастья
Необходимость самовластья
И прелести кнута» (стр. 388).

На князя А. Н. Голицына, бывшего тогда министром духовных дел и народного просвещения:

«Вот Хвостовой покровитель,
Вот холопская душа,
Просвещения гонитель,
Покровитель Бантыша.

Напирайте бога ради
На него со всех сторон...
Не попробовать ли сзади:
Там всего слабее он» (стр. 388).

Такие же колкие эпиграммы написаны на Фотия, Жуковского (стр. 389), Аракчеева (389), на Воронцова (389) и других. Эти эпиграммы, написание которых сам Пушкин признавал «необдуманным», не должны быть допускаемы до юношества. Да они и для взрослых долго были запретным плодом.

Сказка Пушкина, известная под названием «О купце Остолопе», в разбираемой книге заменена сказкою «О попе и работнике Балде». Она так начинается здесь:

«Жил был поп,
Толоконный лоб» (стр. 12 и пр.).

Неудобны для юношества и следующие стихотворения и места из них: «Сказка о золотом петушке» (стр. 22, здесь выведен скопец), «Сват Иван» (29), «Русалка» (38, выведен монах), описание жертвы Киприды (236), рассуждение о наших женщинах (234), стихи о Петре (251, что он вздернул Россию на дыбы); неудобна программа комедии (331, выведены по фамилиям тогдашние артисты в неправильном виде), все стихотворение «Андрей Шенье» (334 — за это стихотворение много было огорчений поэту)[1], выражение о том, что рассудок в России плох («Желание», стр. 479), стихотворение Кривцову при посылке «Вольтеровой поэмы» (491), стихотворение «Помянуть» (518), отзыв о Екатерине Великой (521).

В отделе прозы неудобны для чтения юношества письма Марии Шонинг (стр. 256, ее казнили за мнимое детоубийство), Русские странности (стр. 259, учитель и ученик), Русский Пелам (260 и др., о русских боярах: Шереметьеве, Орлове, Завадовском, Долгоруком и др.); в материалах для истории Петра Великого дает поэт самые резкие отзывы о государе, называя указы его жестокими, тиранскими (330), говоря, что указы его писаны кнутом (стр. 331, столб. 1)... Отрывки из «Путешествия» Радищева, в разбираемой книге (помещенные стр. 384—388),— книге запрещенной во времена императрицы Екатерины Великой,— тоже должны принадлежать к числу статей, неудобных для чтения юношеству...

3. Наконец, к числу недостатков рассматриваемой нами книги относится неудовлетворительно составленная биография Пушкина, помещенная в начале книги. Воспитание Пушкина названо «проклятым» (этот эпитет мог быть выпущен, без ущерба делу). Не сказано в биографии, что на поэта имела большое влияние при воспитании в нем национального духа бабушка его Ганнибал; опущен из виду и тот важный факт детства Пушкина, что священник Беликов, кроме закона божия, преподавал будущему поэту и русский язык (см. «Материалы для биографии Пушкина» у П. В. Анненкова, этого лучшего жизне-

[1] Часть этого стихотворения (44 стиха), посвященная описанию французской революции, не была пропущена цензурой, но распространялась в рукописных списках. В связи с тем, что некоторые списки снабжались надписью «На 14 декабря», Пушкин был привлечен к специальному следствию и должен был доказывать, что этот отрывок из его произведения не имеет в виду событий 14 декабря. См. подробнее статью П. Е. Щеголева, «Пушкин в политических процессах 1826—1828 гг.»—«Пушкин и современники», т. XI, 0(199).

описателя поэта)[1]. Сказано, что в лицее преобладала «зубристика» (стр. 10), сведение ни на чем не основанное. Сказано, что в лицее бывали «попойки», что лицеисты ухаживали за горничными... Не стоило и сообщать такие плачевные подробности в книге, предназначаемой для юношей городских училищ. Заметим одно, что товарищи Пушкина впоследствии были знаменитыми государственными людьми России (барон Корф, кн. Горчаков — государственный канцлер наш, знаменитый адмирал Матюшкин, посол Ломоносов); об этом в биографии ни слова... В биографии приведена сорвавшаяся с уст Пушкина фраза: «Свет — это гадкая лужа грязи» (стр. 12). И эта фраза неуместна в биографии поэта, которая должна сообщать только характеристические черты. На стр. 15 говорится о политической реакции в царствование Александра I, на стр. 16 — о реакционно настроенных властях; и этого рода сведения совсем не нужны для юношества, которому необходимы положительные знания о протекших временах. На стр. 15 находим такие сведения о Пушкине: он подает графу Воронцову «шуточное четверостишие», «во всеуслышание критикует образ действий начальства», «пишет злые эпиграммы», «перехваченное письмо, где Пушкин неосторожно коснулся религиозного вопроса, послужило поводом к прекращению его служебной деятельности». Эти сведения, как исключительные, не должны входить в биографию поэта, если смотреть серьезно на дело. На 16 стр. встречаем следующие строки из посвящения «Кавказского пленника»: «я — жертва клеветы и мстительных невежд»,— но не сказано, что во многих изданиях «Кавказского пленника» нет этих резких слов «посвящения». На стр. 13 приведены резкие строки из запрещенного в свое время стихотворения «Вольность»: «Куда ни брошу взор, везде бичи, везде железы, законов гибельный позор, неволи немощные слезы» и на следующей странице прибавлено известие, требующее еще исторической проверки, известие о том, что Пушкина хотели сослать в Соловецкий монастырь, даже в Сибирь... Удивительно, что сделали из биографии Пушкина новейшие его жизнеописатели! А далее (стр. 17) сообщается, что Пушкин, водворенный в Михайловском после пребывания на юге России, сам просит у высших властей перевода в крепость вместо жизни с отцом в Михайловском... Самыми черными красками изображена личность Пушкина в разбираемой книге. Он обдумывает планы бегства за границу (стр. 18); он говорит государю Николаю I, что он, Пушкин, в мятеже 14 декабря стал бы на ряду с мятежниками (стр. 18); он бросается в водоворот жизни, силясь найти забвение в картах, вине и разгуле (стр. 20); он без разрешения уезжает в Эрзерум (стр. 20,— хотя известно из «Путешествия в Арзрум», гл. 2, 4 и 5, что Пушкину дано было позволение следовать за действующей армией и сам Паскевич предлагал ему и дальше следовать за боевою армиею); говорится в биографии, что Пушкин «эксплуатирует Емельку Пугачева (стр. 21), что работа эта («История Пугачевского бунта») предпринята в финансовых соображениях и не соответствует таланту поэта-художника (стр. 22); сообщается, что молодежь требует от Пушкина «не звуков сладких и молитв», а суровой поэзии пророка, призванного «глаголом жечь сердца людей» (стр. 22). Сверх всего этого, почти на каждой странице биографии встречаешь рассказы о дуэли, о дуэлях...

[1] См. Собрание сочинений Пушкина, издание П. В. Анненкова. СПБ 1855—1857, и в отдельном издании — «А. С. Пушкин. Материалы для его биографии и оценки его произведений». Издание 2. СПБ 1873.

При печатании этой биографии П. В. Анненкову пришлось внести ряд изменений, так как первоначальный текст ее вызвал возражения цензуры. Не помогли и обещания Анненкова, что он укажет в этой биографии «примерное религиозное и нравственное направление Пушкина во второй половине его жизни». (См. Главное управление цензуры, 1853 г., д. № 150402).

Повторяем, что сказали в начале доклада: рассмотренную книгу нельзя допустить ни в одно учебное заведение[1] и нельзя не удивляться, что директор народных училищ Владимирской губ. ст. сов. Флеров, предварительно своего ходатайства пред г. попечителем Московского учебного округа о разрешении раздачи сего издания сочинений Пушкина учащимся в городских училищах, вероятно, ознакомившийся с ним, доносит окружному начальству, что он «признавал бы желательным выдать названную книгу ученикам, окончившим в настоящем году курс городских училищ».

А. Филонов

Заключение особого отдела ученого комитета:

Определено: Согласиться с вышеизложенным мнением и заключением действительного ст. сов. Филонова о вышеизложенном издании сочинений А. С. Пушкина, сообщив его в копии управлению Московского учебного округа[2].

Заключение особого отдела ученого комитета представить на благоусмотрение его превосходительства г. товарища министра.

Резолюция товарища министра народного просвещения Н. А. Зверева: «Согласен. 11 мая».

Из отзыва члена особого отдела ученого комитета министерства народного просвещения А. Г. Филонова о книге «А. С. Пушкин. Жизнеописание и сборник стихотворений». Издание издательского комитета Харьковского общества трезвости. Харьков. 1899.— 15 сентября 1900 г.[3]

Издательский Комитет Харьковского общества трезвости.

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнеописание и сборник стихотворений. К столетию со дня рождения (1799—26 мая — 1899 гг.) Харьков. 1899. Стр. 173.— Цена не означена...

В ...книжке заключается жизнеописание Пушкина и 30 его стихотворений и стихотворных отрывков (Бориса Годунова, Евгения Онегина) и даже целые поэмы помещены (Полтава, Медный всадник, Кавказский пленник).

Жизнеописание Пушкина составлено в приподнятом тоне, а не просто рассказано. Здесь встречаются выражения: «Вырвавшись из лицейского затворничества» (стр. 17), «Пушкин мог быть чем угодно, только не хорошим чиновником» (стр. 22), «посланный увез Пушкина (в Москву) с такою поспешностью, что он едва успел одеться» (стр. 30) и пр.

В жизнеописании есть много лишнего, например: о представлении Пушкина графу Милорадовичу, у которого он написал все свои запретные стихи (стр. 18), о поединках Пушкина в Кишиневе (стр. 22), о разговоре императора Николая с Пушкиным в Москве во время коронации, причем государь будто бы сказал Пушкину: «довольно ты дурачился, надеюсь, теперь будешь рассудителен» (стр. 31); излишним мы считаем и резкий отзыв составителя жизнеописания о графе Воронцове, бывшем начальнике Пушкина в Одессе (стр. 22), а также сведение о том, что Пушкин перед смертью своею велел подать себе какую-то рукопись и заставил сжечь ее (стр. 37).

---

[1] Остальная часть доклада приписана другим почерком. Здесь первоначально стояла подпись Филонова и дата После добавления к докладу подпись его поставлена вторично.

[2] В 1906 г. особый отдел ученого комитета без возражений допустил собрание сочинений А. С. Пушкина в издании И. Д. Сытина. М. 1905.

[3] Ученый комитет министерства народного просвещения, журналы особого отдела за 1900 г., лл. 1627, 1630, 1634.

Сочинитель жизнеописания, г. Фаусек, справедливо говорит, что не все стихотворения одинаково доступны и понятны для всех; потому он и сделал выборку из них в предлагаемой книжке. Этот выбор довольно удовлетворителен; некоторые поэмы помещены вполне и с надлежащими об'яснениями (стр. 90, 91, 92, 96, 98, 105, 107, 132; 133 и пр.). Небольшие стихотворения представляют или историческое содержание (Песнь о вещем Олеге, Пир Петра Великого, К тени полководца, В надежде славы и добра), или описание нашей родной природы (Крым, Кавказ, Зимняя дорога, Зимний вечер), или разные духовные настроения человека (Безумных лет угасшее веселье, Брожу ли я вдоль улиц шумных), или черты нашего народного быта (Бесы, Жених, Песня девушек).

Одобряя вообще выбор произведений Пушкина, в разбираемой книжке предложенный, мы находим, что напрасно издатели поместили в ней стихотворения: Воевода (стр. 142 — убийство изображающее в своем содержании), Будрыс и его сыновья (стр. 144 — помещение полячек представляющее), Сестра и братья (стр. 149 — Павлиха зарезала коня, сокола заколола, ребенка своего заколола, и другие ужасы есть здесь, стр. 151). Эти стихотворения, резко противоречащие всей поэзии Пушкина, чувства добрые пробуждающей, и всей разбираемой книжке являются каким-то противоречием (диссонансом).

Несмотря на указанный недостаток, мы признаем возможным допустить разбираемую книжку в ученические библиотеки и народные читальни, но с тем, чтобы недостатки были исправлены...

А. Филонов

Заключение особого отдела ученого комитета:

Определено: Первую из вышеозначенных книжек допустить в ученические библиотеки низших училищ и в бесплатные народные читальни и библиотеки с условием исправления ее, при следующем издании, согласно замечаниям ученого комитета (кои сообщить просителю в копии).

Резолюция товарища министра народного просвещения Н. А. Зверева: «Согласен. 24 сентября».

Отзыв члена особого отдела ученого комитета министерства народного просвещения А. Г. Филонова о книге «Сочинения А. С. Пушкина». Редакция Ч. Ветринского. СПБ. 1899.—18 мая 1902 г.[1]

Редакция Ч. Ветринского. Сочинения А. С. Пушкина. Общедоступное чтение со вступительным очерком о Пушкине Ч. Ветринского, историко-литературными примечаниями и об'яснительным словарем, с приложением стихотворений Лермонтова и Кольцова на смерть Пушкина, портрета Пушкина и снимков с картин: Наумова «Дуэль Пушкина» и Ге — «Пушкин в селе Михайловском».— СПБ. 1899.— Стран. 272 и I — XII.— Ц. 50 коп.

В этом сборнике помещены мелкие произведения Пушкина — все наиболее доступное и художественное, а из больших произведений великого поэта — отрывки, характерные, с изложением содержания всего творения. Напечатана биография Пушкина, указано значение его поэзии и приложен азбучный словарь для об'яснения малопонятных слов в сочинениях Пушкина.

---

[1] Ученый комитет министерства народного просвещения, журналы особого отдела за 1902 г., лл. 2305—2309.

Мы можем сделать следующие замечания по поводу этого весьма хорошего сборника по своему содержанию и направлению:

I. В биографии, со знанием дела написанной, следовало бы исключить сведения о деде Пушкина, из ревности уморившем свою жену и повесившем французского учителя (стр. IV), описание безобразия жизни родителей поэта (IV), предположение о ссылке поэта в Сибирь или Соловки (X) о дуэлях Пушкина в Кишиневе из-за карт и женщин (XI), о цензурных «передрягах» (XVII), отрывок из письма Пушкина, читающийся так: «Чорт догадал меня родиться в России с душею и талантом» (XVIII), сведение о «травле» влиятельных людей на Пушкина и «подлых» слухах о жене его (стр. XIX) [1].

II. В самом сборнике произведений Пушкина следовало бы выпустить места: о порочном дворе царей (стр. 1), о диком барстве (2), о самовластьи и тиране (10), о хладном скопце (19), о честности, как «трын-траве» и краже дров (в стихотворении «На смерть Лукулла», стр. 38), в примечании об Уварове, как «заклятом враге» Пушкина (39). Надо, по моему мнению, исключить все стихотворение «Воевода» из Мицкевича, проникнутое идеями мщения, не соответствующими главному направлению поэзии Пушкина (стр. 54—55) [2], следует исключить всю сказку Пушкина «О попе Остолопе» (76 и др.), заменив эту редакцию общепринятою. В стихах Лермонтова «На смерть Пушкина» необходимо выпустить заключительную строфу (резкие строки об иностранцах (стр. 267 и 268).

Рисунок дуэли Пушкина (после стр. 272) тоже следует исключить.

На стран. XII ошибочны инициалы: написано О. С. Осипова, а следует: П. А. Осипова.

Ввиду прекрасного выбора стихотворений и умных замечаний о многих произведениях Пушкина (напр.: об Евгении Онегине — стр. 174 и 191, о Галубе — стр. 196 и др.) «Сочинения А. С. Пушкина», в редакции г. Ветринского можно допустить, согласно прошению, в народные читальни и библиотеки.

А. Филонов

Заключение особого отдела ученого комитета:

Определено: Допустить условно вышеозаглавленную книгу в бесплатные народные читальни и библиотеки с тем, чтобы при следующем издании были приняты к руководству вышеизложенные замечания о книге, кои сообщить просителю в копии.

Резолюция врем. исполняющего обязанности товарища министра народного просвещения И. К. Ренара: «Согласен. 29 июня 1902 г.».

---

[1] Далее в отзыве первоначально находились следующие строки, зачеркнутые впоследствии самим Филоновым: «и стих в «Памятнике» Пушкина «в жестокий век восславил я свободу» заменить прежнею редакциею этого стиха, которая начертана на памятнике поэта в Москве в 1880 г. В лучших изданиях Пушкина, одобренных ученым комитетом, читается прежняя редакция стиха».

[2] Предложение исключить стих. «Воевода» в докладе зачеркнуто карандашом. На полях около него поставлен вопросительный знак. Однако в заключении ученого комитета никакой оговорки по поводу предложения Филонова не сделано.

Ода „Вольность“ А. С. Пушкина в войсках царской армии

Ода «Вольность» написана была Пушкиным в 1817 или 1819 гг. Во время трехлетнего пребывания в Петербурге (1817—1820) после окончания лицея Пушкин сблизился со многими членами «Союза благоденствия» — будущими декабристами. В это же время он участник «Зеленой лампы» — тайного филиала «Союза благоденствия», где велась пропаганда свободомыслия.

Эти годы стали решающими в формировании политических взглядов Пушкина, который под влиянием знакомства с Н. И. Тургеневым, П. Я. Чаадаевым, а позднее с Пестелем расширил свой горизонт и до конца жизни не отказался от вольнолюбивых мечтаний юности.

В атмосфере декабристских настроений были написаны ода «Вольность», проникнутая революционным воодушевлением, затем стихотворение «Деревня».

«Вольность» вскоре же стала широко распространяться в рукописях и послужила вместе с другими стихотворениями того времени («Деревня», эпиграммы на Аракчеева и др.) поводом для высылки Пушкина из столицы.

«Над здешним поэтом Пушкиным,— писал Карамзин 19 апреля 1820 г. И. И. Дмитриеву,— если не туча, то, по крайней мере, облако, и громоносное. Служа под знаменами либералистов, он написал и распустил стихи на вольность, эпиграммы на властителей и проч. и проч. Это узнала полиция etc... Опасаются следствий. Хотя я уже давно истощил все способы образумить эту беспутную голову, предал несчастного Року и Немезиде, однакож, из жалости к таланту замолвил слово, взяв с него обещание уняться. Не знаю что будет».

Александр I хотел сначала сослать Пушкина за стихи в Сибирь, но после просьбы Карамзина и др. передумал и выслал поэта на юг. «Пушкина надо сослать в Сибирь,— говорил Александр.— Он наводнил Россию возмутительными стихами; вся молодежь наизусть их читает».

И, действительно, политические стихи Пушкина, в том числе и «Вольность», стали не только агитационным орудием в деле пропаганды декабристов, но и источником просвещения самых широких масс. Штабс-ротмистр Паскевич, арестованный по делу декабристов, показал: «Первые либеральные мысли заимствовал я прошлого 1825 года, частью от попавшихся мне книг и от встречи с людьми такого мнения, а более от чтения вольных стихов господина Пушкина». Студент Харьковского университета Владимир Розалион-Сошальский показал: «что же касается до сочинений вольных Пушкина, или выданных под его именем, то они у редкого студента не находятся»[1].

Николай I и правительство, напуганное декабрьским восстанием, усиленно следили за «неблагонадежными» элементами среди общества, среди военных и студентов, чтобы искоренить все «остатки» вольномыслия. В итоге поисков было обнаружено широкое распространение стихов Пушкина и прежде всего оды «Вольность», как среди военных, так и среди чиновничества и разночинной интеллигенции. Так, юнкер Зубков, арестованный в 1826 г., написал, подражая пушкинской оде «Вольность», стихи, в которых прозвучал смелый революционный протест против деспотизма Николая I[2]. В 1827 г. во Владимире в присутственных

[1] «Голос минувшего», 1917, № 7—8, стр. 97.
[2] «Красный архив», 1926, т. 3 (16), стр. 194 и др.

местах какой-то семинарист разбрасывал стихи под названием: «К Николаю. Ода. Свобода». Расследование установило, что революционный смысл последней оды и защита интересов народа, проведенная в этой оде, имели источником пушкинскую оду «Вольность»[1].

Публикуемые здесь впервые документы иллюстрируют факты широкого распространения этой оды Пушкина. Помимо известных случаев обнаружения ее в бумагах декабристов (известен упрек Жуковского Пушкину: «в бумагах каждого из действовавших (декабристов) находятся стихи твои»), среди полковых офицеров армии, помимо случаев нахождения ее в слоях дворянской интеллигенции и студенчества, вновь печатаемые материалы указывают на известность ее юным кадетам (Белову и Агибалову), простым прапорщикам (Бобятинскому, Васильеву, Гринькову), и, наконец, нижним чинам (из вольноопределяющихся) и рядовым.

Красичков — рядовой Киевского гренадерского полка достал оду, не вернув ее текст помещику Ахлебинину, и привез его в полк. Все попавшиеся по этому делу — и прапорщики и рядовой — оправдывали себя тем, что якобы не знали, что «сочинение сие противузаконное».

Что же могло их привлекать в оде Пушкина? Несомненно, революционный пафос и призыв к борьбе:

«Тираны мира! Трепещите!
А вы мужайтесь и внемлите,
Восстаньте, падшие рабы!» —

в годы начавшейся николаевской реакции привлекли симпатии этих людей.

Одни документы говорят о том, что событие произошло в 1829—1830 гг. Другие документы датируются 1827 г. Все это вполне понятно. После разгрома декабристов, хотя надежды на возможность политической борьбы и рухнули, однако лучшие люди той поры продолжали дело декабристов. Революционные идеи продолжали находить себе друзей и сторонников. Вполне справедливы в этом отношении следующие слова декабриста, барона В. И. Штейнгеля, который писал из Петропавловской крепости Николаю I в 1826 г. следующее:

«Кто из молодых людей, несколько образованных, не читал, не увлекался сочинениями Пушкина, дышущего свободою, кто не цитировал басни Дениса Давыдова «Голова и ноги»? О государь! Чтоб истребить корень свободомыслия, нет другого средства, как истребить целое поколение людей, кои родились и образовались в последнее царствование».

Зная это, правительство Николая I упорно искало следов и отголосков декабризма,— и сочинения Пушкина и чаще всего его ода «Вольность», как показали опубликованные ранее и публикуемые здесь материалы, были источниками неугасавшего и под ударами реакции политического свободомыслия среди лучших людей того времени.

Публикуемые документы хранятся в Центральном военно-историческом архиве в ф. главный штаб военных поселений. 1827 г., д. № 64/48 (о прапорщике Бобятинском) и 1829 г., № 61 (о воен. рядовом Красичкове).— Документы подготовлены к печати М. М. Семиным и И. С. Назиным.

Н. Бельчиков.

I

Предписание начальника главного штаба гр. Дибича начальнику штаба военных поселений ген.-ад'ют. Клейнмихелю, 28 июля 1827 г., № 836[2].

28 Егерского полка 3 батальона прапорщик Васильев 3-й об'явил, что 3 батальона 25 Егерского полка у прапорщика Бобятинского были

[1] «Каторга и ссылка», 1930, № 5 (65), стр. 47—49.
[2] ЦВИА, главный штаб военных поселений, 1827 г., св. II, д. № 64/48, л. 101.

вольнодумственные стихи, а того ж батальона поручик Ландсберг должен знать и о прочих, кои таковые стихи у себя имели.

По сему предписываю вашему превосходительству, во-первых, отобрать показания от поручика Ландсберга и прапорщика Бобятинского, имеют ли они вольнодумные стихи, от кого оные получили, на какой конец, кому показывали, или давали читать, где оные хранятся, чьего сочинения и какого именно содержания, и, во-вторых, узнать о сих двух офицерах, какого поведения и нравственности, с кем более знакомы из товарищей своих и какие имеют связи другие, с кем из служащих и неслужащих и какой обнаруживают образ мыслей. О последующем же ваше превосходительство имеете мне донести.

Начальник главного штаба Дибич.

Рапорт старшего ад'ютанта главного штаба по военным поселениям майора Крапухина начальнику штаба военных поселений ген.-ад'ют. Клейнмихелю, 19 августа 1827 г., № 3[1].

Исполняя повеление вашего превосходительства от 3 августа за № 58, я осматривал все бумаги служащего в 3 батальоне 25 Егерского полка прапорщика Бобятинского, в числе коих сочинений противных правительству не оказалось, исключая стихов, помещенных в двух тетрадях, при сем к вашему превосходительству представляемых, в первой ода «На свободу», сочинение Александра Пушкина и во второй — стихи на свободу же сочинения кадета Романовича. Тетради сии, как показал прапорщик Бобятинский, принадлежали кадетам Белоги и Ашбалову, но по какому случаю при выезде его из С.-Петербурга попались они между его бумаг, ему неизвестно. Касательно же Тарутинского пехотного полка штабс-капитана Ландсберга, то хотя у него и были вольнодумные стихи, полученные им в декабре месяце прошлого года от помещика Валковского уезда Пашинского, но оное командиром того батальона майором Фреем от него отобраны и слабодско-украинским гражданским губернатором представлены к г. генерал-ад'ютанту Бенкендорфу, а следственное дело, произведенное по сему предмету от командовавшего слободско-украинским отрядом военного поселения, генерал-майора Кнаппа, представлено к вашему превосходительству 12 марта сего года; более же никаких неблагонамеренных сочинений в бумагах у содержащегося под арестом штабс-капитана Ландсберга не оказалось.

Донеся о сем вашему превосходительству и представляя в подлиннике отношение бывшего командующего 3 батальона Тарутинского пехотного полка майора Фрея и командира 3 батальона 25 Егерского полка майора Боршевского с показаниями штабс-капитана Ландсберга и прапорщика Бобятинского, имею честь присовокупить, что по разведываниям моим означенные офицеры нравственности и поведения хорошего, в неблагонамеренных поступках замечены не были и никогда не обнаруживали мыслей, противных правительству. За найденные же в квартире прапорщика Бобятинского вышеозначенные сочинения он до разрешения вашего превосходительства будет содержаться под арестом.

Старший ад'ютант майор Крапухин.

г. Чугуев.

Рапорт начальнику штаба военных поселений ген.-ад'ют. Клейнмихеля начальнику главного штаба гр. Дибичу, 30 августа 1827 г., № 67[2].

Ваше сиятельство от 28 минувшего июля за № 836 предписать мне изволили: отобрать показания третьих батальонов: Тарутинского пехот-

[1] ЦВИА, главный штаб военных поселений, 1827 г., св. II, д. № 64/48, лл. 108—109.
[2] Там же, л. 148.

ного полка от штабс-капитана Ландсберга, и 25 Егерского прапорщика Бобятинского, имеют ли они вольнодумственные стихи, от кого оные получили, на какой конец, кому показывали или давали читать, где оные хранятся, чьего сочинения и какого именно содержания, узнать о сих двух офицерах, какого поведения и нравственности, с кем более знакомы из товарищей своих и какие имеют связи другие, с кем из служащих и неслужащих и какой обнаруживают образ мыслей.

По сему предписанию я командировал в военное поселение Слободско-Украинской губернии старшего ад'ютанта главного штаба его императорского величества по военному поселению, майора Крапухина, и, основываясь на его рапорте, честь имею донести:

1. У штабс-капитана Ландсберга никаких вольнодумственных сочинений не найдено, и он отвечал, что не знает, кто бы имел у себя подобные сему сочинения.

2. У прапорщика Бобятинского найдены две тетради стихотворений: в первой, между прочими, есть на 3-й странице «Ода на свободу», сочинения Александра Пушкина; а во второй, на 13-й странице, стихи на свободу же, подписанные кадетом Романович. Бобятинский показывает, что первая тетрадь принадлежит кадету Московского корпуса Белаге; а вторая — находившемуся вместе с ним, Бобятинским, в дворянском полку, кадету Ашбалову, уже умершему, которая, не знает по какому случаю, осталась между бумагами его Бобятинского. Он же сих тетрадей никогда не читал, и не знал, какие заключаются в оных сочинения. Кадета Романович он не знает, и в каком он корпусе находится, ему неизвестно.

3. Ландсберг и Бобятинский, как по разведываниям майора Крапухина, равно и по отзывам о первом бывшего командира 3 батальона Тарутинского пехотного полка, майора Фрея, а о втором — командира 3 батальона 25 Егерского полка майора Боршевского, в поведении и нравственности одобряются, но Ландсберг замечен ветреным. Непозволительного образа мыслей в них не примечено. Ландсберг в дружеской связи только с одним помещиком Слободско-Украинской губернии Волковского уезда Пашинским, а Бобятинский более знаком одного с ним батальона с прапорщиком Жиглинским.

Вышеозначенные две тетради, показания Ландсберга и Бобятинского. и отзывы майоров Фрея и Баршевского честь имею представить при сем, и донести, что Бобятинский содержится под арестом впредь до повеления.

Начальник штаба Клейнмихель[1].

Донесение ген.-майора А. Маркевича начальнику штаба военных поселений ген.-ад'ют. Клейнмихелю, 23 сентября 1827 г., № 1064[2].

На отношение вашего превосходительства от 20 сего сентября за № 80 честь имею вашего превосходительства уведомить, что у прикомандированного к Дворянскому полку для научения порядка военной службы, Московского кадетского корпуса кадета Александра Белаго освидетельствованы все бумаги и не найдено никаких неблагонамеренных или неблагопристойных. В рассуждении же стихов на свободу сочинения Александра Пушкина, то он по допросу, ему сделанному, показал, что получил их в прошлом году по приезде из Москвы в Дворянский полк от товарища своего Московского кадетского корпуса

[1] Сбоку приписано: «Высочайше повелено: прапорщика Бобятинского простить, а о кадетах Белаге и Романовиче узнать, где они». — «1 сентября 1827 г.».

[2] ЦВИА, там же, л. 154.

кадета Дурнова, выпущенного в нынешнем году июня 25 числа, в Малороссийский Кирасирской полк в корнеты, и полагает, что оные стихи были писаны рукою Московского же кадетского корпуса кадета Ельчанинова[1], который и ныне находится в Московском кадетском корпусе. Означенный кадет Белаго по донесению батальонного командира, поведения хорошего и ни в чем дурном замечен не был.

Андрей Маркович.

Опись

стихам неблагонамеренного содержания, найденным 3 батальона 25 Егерского полка у прапорщика Бобятинского[2].

1. В тетради под № 1, на 3-й странице помещена ода: Свобода. Сочинение А. Пушкина[3].
2. В тетради под № 2, на 13-й странице помещено четырестишие подозрительного образа мыслей. Сочинение Романовича[4].

Старший ад'ютант майор Крапухин.

Оглавление

альбома, отобранного у прапорщика 25 Егерского полка Бобятинского[5].

	Стр.	Имя гг. сочинителей
1. Амурова ошибка	1	Яковлев
2. К музам	2	Бар. Дельвига
3. Свобода	3	Ал. Пушкина
4. Горная дорога	10	Жуковский
5. Послание к N N	12	Ал. Пушкина
6. Экспромт	13	Ал. Пушкина
7. К К. Б.	12	Ал. Пушкина
8. Слеза	14	Ал. Пушкин
9. Привидение	15	Батюшков
10. Меланхолик (подражание французскому)	19	Дмитриев
11. В альбом малютке	20	Ал. Пушкин
12. К домовому	20	Ал. Пушкин
13. Элегия	23	Загорский
14. Умершая красавица	25	Плетнев
15. К Морфею	26	Ал. Пушкин
16. К Хлое	27	Вердеревский
17. К Лизе	26	Бар. Дельвиг.

---

[1] Сбоку приписано: «Уведомить обо всем цесаревича». — «24 сентября».
[2] ЦВИА, там же, л. 103. Заголовок подлинника.
[3] Тетрадь № 1 состоит из 28 страниц.
[4] Тетрадь № 2 содержит 22 страницы. Она, повидимому, принадлежала офицеру или кадету 25 Егерского полка. В ней в числе прочих стихов вписано стихотворение П. Романовича. Приводим его целиком:

«Свобода родины нам милой
Да будет цель в делах твоих.
Об ней старайся... и с могилой
В пути, проси детей своих».

[5] Там же, л. 114.

II.

Предписание начальника штаба военных поселений ген.-ад'ют. Клейнмихеля старорусскому военному полицеймейстеру майору Манджосу, 10 августа 1829 г., № 67[1].

Старший ад'ютант 2 поселенной гренадерской дивизии штабс-капитан Цыбульский довел до сведения моего, что в 1825 году какой-то молодой человек читал ему неблагонамеренное сочинение «Вольность», творение А. Пушкина.

Поручаю вам, г. майор, узнав от штабс-капитана Цыбульского, кто имеет у себя таковое сочинение, получить оное скромным образом и представить ко мне[2].

Рапорт старорусского военного полицеймейстера майора Манджоса начальнику штаба военных поселений ген.-ад'ют. Клейнмихелю, 12 октября 1829 г., № 15[3].

Старший ад'ютант Цыбульский об'явил мне, что сочинение А. Пушкина «Вольность» было ему читано во время нахождения его в г. Калуге, около 5 лет назад, и что читавший ему оное здесь не находится, да и сам он сего сочинения не имеет.

Исполнение в точности повеления вашего превосходительства от 10 минувшего августа за № 67, секретно мне данного, обязывало меня принять возможные меры к отысканию сего сочинения, но все они доныне остаются без успеха.

Майор Манджос.

Рапорт старорусского полицеймейстера майора Манджоса начальнику штаба военных поселений ген.-ад'ют. Клейнмихелю, 30 октября 1829 г.[4].

Последствие розысканий моих доставили мне список сочинения А. Пушкина «Ода на вольность»[5]. Имею честь представить оное к вашему превосходительству во исполнение секретного повеления от 10 августа сего года за № 67[6].

Военный полицеймейстер майор Манджос.

Рапорт старорусского полицеймейстера майора Манджоса начальнику штаба военных поселений ген. Клейнмихелю, 9 ноября 1829 г., № 17[7].

Узнав от штаб-лекаря Киевского гренадерского полка Сосье, что сочинение А. Пушкина «Ода на вольность» ходит между офицерами того полка, я поручил отыскать оное брату моему полковому ад'ютанту означенного полка поручику Манджосу, который и доставил мне оное, получив сам от прапорщика Гринькова; откуда же достал его прапорщик Гриньков, — ни мне, ни брату моему неизвестно.

О сем честь имею донести вашему превосходительству в силу секретного поведения за № 76[8].

Военный полицеймейстер Манджос.

---

[1] ЦВИА, главный штаб военных поселений, 1829 г., св. I, д. № 61.
[2] Подпись отсутствует.
[3] ЦВИА, там же, л. 2.
[4] ЦВИА, там же, л. 3.
[5] К делу приложены 2 экземпляра стихотворений Пушкина «Ода на вольность». Один экземпляр (стр. 10—11), написанный вольноопределяющимся Киевского гренадерского полка Красичковым, другой (стр. 4—5), переписанный прапорщиком того же полка Гриньковым.
[6] Сбоку написано рукой Клейнмихеля: «Испросить, у кого и как получено».
[7] ЦВИА, там же, л. 7.
[8] Сбоку рукой Клейнмихеля написано: «Уведомить кн. Шаховского. 19 ноября».

Запрос штаба военных поселений командиру поселенного гренадерского корпуса кн. Шаховскому, 15 ноября 1829 г., № 78 [1].

Дошло до сведения, что некоторые из гг. офицеров Киевского гренадерского полка имеют у себя запрещенное сочинение Александра Пушкина под названием: «О д а н а в о л ь н о с т ь». Сочинение сие именно было в руках прапорщика того полка Гринькова.

По воле ....., я имею честь донести о сем вашему сиятельству о том, что не угодно ли вам будет приказать обратить на сей случай особенное внимание и о последующем уведомить его сиятельство [2].

Рапорт командира поселенного гренадерского корпуса кн. Шаховского управляющему главным штабом графу Толстому, 13 декабря 1829 г., № 33 [3].

Начальник 2 поселенной гренадерской дивизии, вследствие сделанного ему запроса по рапорту начальника штаба военных поселений от 15 минувшего ноября за № 78, представляя ко мне при донесении своем от 2 сего декабря № 99 запрещенное сочинение Александра Пушкина «Ода на вольность», об'ясняет, что стихотворение сие находилось не у прапорщика Киевского гренадерского полка Гринькова, но у рядового (из вольноопределяющихся) того же полка 3 фузелерной роты Красичкова, у коего прапорщик Гриньков брал оное только списать копию, для поручика Манджоса, по убедительной просьбе сего последнего, не зная, что ода сия запрещена. К сему генерал-лейтенант Полуектов присовокупляет, что хотя г. Гриньков и об'явил, что, кроме сего, ни он, ни Красичков оды сей никому ни списывать, ни читать не давали, но он секретно поручил полковнику Протасову иметь наблюдение, нет ли еще у кого из гг. офицеров вверенного ему полка сих стихов.

Донеся о сем вашему сиятельству, имею честь представить означенное сочинение Александра Пушкина [4].

Князь Ш а х о в с к о й.

Отношение штаба военных поселений командиру поселенного гренадерского корпуса князю Шаховскому, 19 декабря 1829 г., № 81 [5].

В дополнение представления вашего сиятельства от 13 декабря № 33, имею честь покорнейше просить почтить уведомлением, откуда, когда именно и из какого звания поступил на службу рядовой Киевского гренадерского полка, вольноопределяющий Красичков, у коего прапорщик Гриньков брал для переписки сочинение А. Пушкина «Ода на вольность», доставя и формулярный о службе сего рядового список [6].

---

[1] ЦВИА, там же, л. 8.
[2] Подпись отсутствует.
[3] ЦВИА, там же, л. 9.
[4] Сбоку приписано Клейнмихелем: «Государь император высочайше повелеть соизволил: 1. Рядового Красичкова истребовать в С.-Петербург. 2. Впредь вольноопределяющихся без особого высочайшего разрешения в полки на службу не принимать». 21 декабря 1829 г. Генерал-ад'ютант Клейнмихель».
[5] ЦВИА, там же, л. 13.
[6] Подпись отсутствует.

Предписание штаба военных поселений оренбургскому военному губернатору, 16 января 1830 г., № 4 [1].

В Киевском гренадерском полку у рядового из вольноопределяющихся Красичкова найдено запрещенное сочинение А. Пушкина, под названием: «Ода на вольность».

Рядовой Красичков насчет получения им сего сочинения показал, что во время нахождения его в декабре месяце 1828 года в отпуску, Оренбургской губернии, в Уфимском уезде, по просьбе помещика сего уезда, отставного поручика Ахлебенина, списал для него копию с данной им «Оды на вольность», не зная, что сочинение сие противузаконно; после чего, не возвратив Ахлебенину полученной от него оды, привез оную в полк.

По всеподданнейшему докладу о сем государю императору его императорское величество высочайше повелеть соизволил поставить в известность о сем деле ваше высокопревосходительство, на тот предмет, дабы вы обратили внимание на помещика Ахлебенина и доставили сведения, какого он образа жизни и поведения.

О таком высочайшем повелении имею честь сообщить вам, милостивый государь, для надлежащего исполнения, покорнейше прошу требуемое оным сведение доставить ко мне для доклада государю императору.

Граф Толстой.

Нач. штаба Клейнмихель.

Предписание штаба военных поселений командующему учебным карабинерным полком подполковнику Столповскому, 16 января 1830 г., № 6 [2].

Предписываю вам, г. подполковник, находящегося при 1 учебном карабинерном полку, рядового Киевского гренадерского полка из вольноопределяющихся Красичкова зачислить в командуемый вами полк и за поведением его иметь особенный надзор.

Рядовой сей из Киевского гренадерского полка исключен [3].

Донесение оренбургского военного губернатора Эссена управляющему главным штабом гр. Толстому, 19 февраля 1830 г., № 37 [4].

От 16 минувшего января ваше сиятельство изволили об'явить мне высочайшую его императорского величества волю, об обращении внимания на помещика Ахлебинина и доставлении сведения, какого он образа жизни и поведения.

По сему случаю я вопрошал исправляющего должность оренбургского губернского предводителя дворянства, и какой от него получил отзыв за № 9 [5], оный поспешаю препроводить к вам, милостивый государь, в подлиннике с тем, что хотя предводитель дворянства не находит ничего предсудительного в поведении помещика Ахлебинина, но на основании вышеиз'ясненной высочайшей воли, как ему, так оренбургскому гражданскому губернатору подтвердил я иметь за ним, Ахлебининым, наблюдение, доставляя по временам о образе его жизни сведения оренбургскому военному губернатору [6].

Ген.-от-инфантерии Эссен.

---

[1] ЦВИА, там же, лл. 19, 20.

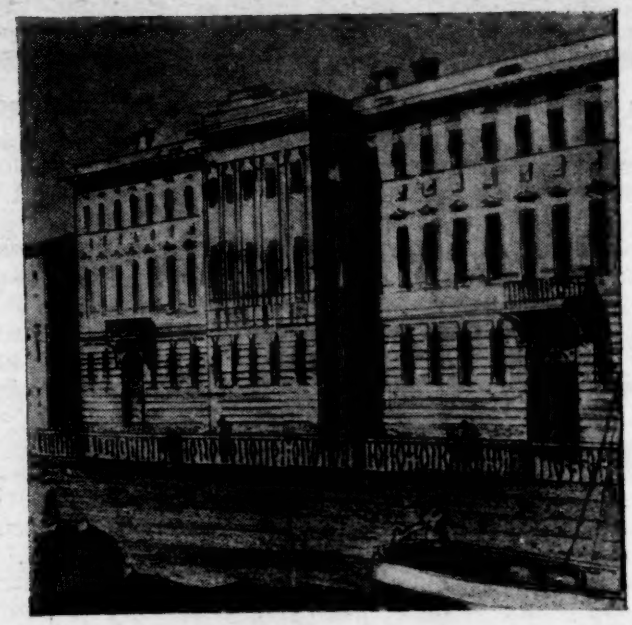
[2] Там же, л. 22.

[3] Подпись отсутствует.

[4] ЦВИА, там же, л. 26.

[5] В отзыве и. д. оренбургского предводителя дворянства читаем: «Ахлебинин... образа жизни и поведения хорошего, почему и пользуется хорошим вниманием дворянства. Крестьян за ним в Уфимском уезде состоит 164 души» (там же, л. 27).

[6] Сбоку написано Клейнмихелем: «Доложено государю императору». 5. IV—1830 г.».



Дом, в котором умер А. С. Пушкин
Из альбома Пушкина

Из записной книжки архивиста

П. А. Вяземский и смерть А. С. Пушкина

В Остафьевском архиве имеется особая папка в синей обложке (№ XXIV) с рядом документов, освещающих события последних дней жизни Пушкина. Документы освещают и отношение к этому событию П. А. Вяземского, близкого и долголетнего друга Пушкина. Здесь есть запрос комиссии военного суда, учрежденной для разбора дела и суда над Дантесом, есть и приказ об образовании такой комиссии, и вопросные пункты комиссии с ответами П. А. Вяземского в виде черновика и в виде копии с беловика.

Мы публикуем неизвестные, в черновом виде, показания Петра Андреевича Вяземского по поводу дуэли Пушкина с Дантесом. Вяземский в своем официальном ответе в комиссию военного суда заявляет о своем полном незнании всей этой «печальной памяти» истории. Несомненно, среди друзей поэта было признано целесообразным умалчивать о каком-либо соучастии в этом деле. Оно и понятно: быть втянутым в такую историю — значило иметь «большие дела» с царем и III отделением. Факт дуэли и смерти стал историей, и лучше замести следы этого дела, так рассуждали многие из современников поэта. Некоторые исследователи поверили этой вынужденной осторожности и пришли к выводу, что такие близкие Пушкину лица, как Вяземский, ничего не знали о дуэли.

Публикуя далее показания Вяземского, твердо заверявшего о том, что он «не знал предварительно ничего о дуэли, про которую в первый раз услышал вместе с известием, что Пушкин смертельно ранен», мы должны их аттестовать, как официальную «легенду», как официальную отписку человека, который хочет, чтобы его «не трогали». Помимо общих соображений, изложенных выше, теперь мы имеем откровенное и несомненно искреннее признание жены Вяземского, Веры Федоровны Вяземской, опровергающее это официальное показание Вяземского. Вера Федоровна написала письмо о смерти Пушкина Екатерине Николаевне Орловой (текст письма опубликован нами в журнале «Новый мир», 1931 г., кн. 12, стр. 183—193).

В этом письме она пишет, что еще 25 января ей именно сам Пушкин признался, что свой вызов (письмо) он послал Геккерену. В тот же вечер она сообщила об этом Мих. Вельегорскому и в 2 часа ночи мужу Петру Андреевичу Вяземскому. Вяземская вскользь указывает, почему они приняли пассивно это сообщение и не предприняли ничего.

Черновой ответ на вопросы комиссии по поводу дуэли Пушкина писан самим П. А. Вяземским, сделавшим ряд поправок. Этот текст и приводится ниже, с сохранением всех особенностей. Копия с этого текста, имеющая ошибки сравнительно с подлинником, не приводится. Беловой текст этого показания по делу военно-судной комиссии опубликован в книге П. фон Кауфмана «Дуэль Пушкина с Дантесом-Геккереном», Спб. 1900, стр. 46—47.

Комиссия военного суда была образована специально для рассмотрения дела о дуэли Пушкина с Дантесом, так как последний был к тому же военным. В архиве П. А. Вяземского сохранился текст приказа о том же, подписанный генерал-ад'ютантом Бистромом

Приказ по отдельному гвардейскому корпусу

В С.-Петербурге. 29 января 1837 года № 14.

Кавалергардского ее имп. величества полка поручика барона Геккерна за бывшую между им и камергером (карандашом неизвестно чьей рукой поправлено: юнкером) двора ее имп. величества Пушкиным, дуэль, предписываю судить военным судом, при лейб-гвардии конном полку арестованного.

Генерал-ад'ютант Бистром.

Упоминание об этом приказе есть в напечатанном у П. фон Кауфмана (в названной выше книге, стр. 18) предписании генерал-ад'ютанта Бистрома, где определены место суда, состав его, срок окончания дела и указаны задачи расследования комиссией.

Комиссия собирала материалы и, естественно, должна была обратиться к П. А. Вяземскому, как близкому другу поэта. На ее запрос и написал публикуемый ниже документ Вяземский, служивший тогда вице-директором департамента внешней торговли.

Здесь сначала даем текст подлинника вопросного пункта, а затем текст на копии чернового ответа П. А. Вяземского.

Директору департамента внешней торговли господину генерал-майору и кавалеру Языкову комиссии военного суда, учрежденной при лейб-гвардии Конном полку.

Рапорт.

Сия комиссия честь имеет представить при сем к вашему превосходительству составленный оною вопросный пункт, покорнейше просит приказать вице-директору вверенного управлению вашего превосходительства департамента, камергеру князю Вяземскому, противу оного сделав об'яснение, возвратить в сию комиссию прямо от себя в возможной скорости.

Флигель-ад'ютант
полковник Греверн

Аудитор Маслов.

№ 4-й

С. Петербург, февраля 1837

На документе карандашом положена резолюция: «К исполнению. Г. вице-директору кн. Вяземскому».

За этим в деле сохранился черновик ответа, писанный рукой П. А. Вяземского. «Вопросного пункта» в деле Остафьевского архива нет. Публикуемый текст черновика не расходится с напечатанным у Кауфмана, но мы воспроизводим по черновику следы обработки текста П. А. Вяземским.

«На вопросный пункт, сделанный мне комиссиею военного суда, учрежденной при лейб-гвардии Конном полку, имею честь ответствовать нижеследующее:

Реляции о бывшей дуэле между Кавалергардского ее величества полка поручиком бароном Д. Геккереном и камер-юнкером Пушкиным у меня нет, но есть[1] письмо[2] виконта Даршьака, секунданта[3] барона Геккерена, и вот по какому поводу ко мне писанное[4]. Не знав предварительно ничего о[5] дуэли, про которую в первый раз услышал я вместе с известием[6], что Пушкин[7] смертельно ранен[8], я при первой встрече с г. Даршь-

[1] После слова: «есть» зачеркнуто «ко мне».

[2] После слова: «письмо» зачеркнуто «ко мне писанное».

[3] Слова: «виконта Даршьяка секунданта» переправлены из первоначально написанных слов: «виконтом Даршьяком секундантом».

[4] Слова: «поводу ко мне писанное» заменили первоначальный текст: «случаю писанное».

[5] Зачеркнуто: «помянутой» после предлога: «о».

[6] Слова: «про которую в первый раз услышал я вместе с известием» поставлены вместо предварительной редакции этого места: «и услышав о ней в одно время с тем».

[7] После: «Пушкин» вычеркнуто слово: «лежит».

[8] Изменено из слов: «раненый»; и далее зачеркнуты слова: «у себя дома»

яком просил его рассказать [9] о том, что было [10]. На сие г. Даршьяк вызвался изложить в письме все случившееся, прося меня при том [11] показать письмо г. Данзасу для взаимной проверки и засвидетельствования подробностей помянутой дуэли. Между тем письмо его [12] доставлено мне было уже по от'езде г. Даршьяка за границу, и следовательно [13], не могло быть прочтено и поверено вместе обоими свидетелями [14] и получить в глазах моих ту достоверность, которую я желал иметь в сведениях о несчастном происшествии, лишившем меня человека, столь близкого сердцу моему. Вследствие того я отдал письмо сие г. Данзасу, который возвратил мне оное с письмом от себя: прилагаю у сего то и другое [15]. Из вышесказанных слов уже [16] положительно усматривается, что я ничего не знал о дуэли до [17] совершенного окончания ее, что [18] подтверждаю и теперь. Равномерно не слыхал я никогда ни от А. С. Пушкина, ни от барона Геккерна о причинах, имевших последствием сие несчастное происшествие. При сем покорнейше прошу возвратить мне по миновании надобности письма сии [19] совершенно частные и к делу не принадлежащие».

Изданный П. фон Кауфманом окончательный текст ответа Вяземского имеет дату: 8 февраля 1837 г.; в черновике даты нет.

Н. Бельчиков.

---

[9] После слова: «рассказать» зачеркнуто слово: «мне».

[10] Первоначально было: «происходило»; это слово зачеркнуто и заменено словом: «было».

[11] «Прося меня при том» поставлены вместо первоначальной редакции: «и при том просили меня».

[12] Вместо: «его» сначала было написано: «сие».

[13] После «следовательно» первоначально было написано и зачеркнуто: «не могло, достигало в глазах, могло иметь».

[14] Вместо: «вместе обоими свидетелями» первоначально было так: «поверено обоими сторонами и».

[15] Вся фраза первоначально была написана так: «Вследствие того я отдал г. Данзасу письмо сие, сделавшееся для меня совершенно бесполезным и неудовлетворительным».

[16] После слова: «уже» первоначально было написано и зачеркнуто: «ясно сказывается».

[17] После предлога: «до» первоначально было написано и потом зачеркнуто: «получения известия, что Пушкин ранен».

[18] После «что» было первоначально написано: «повторяю» частью зачеркнуто и переделано в слово: «подтверждаю».

[19] Письмо виконта Даршиака 1 (13) февр. 1837 г., о возвращении которого просит Вяземский, в печати известно; оно напечатано в книге А. Амосова «Последние дни жизни и кончина А. С. Пушкина. Со слов бывшего его лицейского товарища и секунданта Конст. Карлов. Данзаса». Спб. 1863, стр. 60—62 (перевод дан на стр. 62—64); затем исправнее в книге П. фон Кауфмана «Дуэль Пушкина с Дантесом-Геккереном», Спб. 1900, стр. 54—55; указания на неточности в публикации см. у М. А. Цявловского в сборнике «Новые материалы о дуэли и смерти Пушкина», изд. «Атеней», 1924, стр. 94. Письмо К. Данзаса к Вяземскому 6 февраля 1837 г., о котором пишет Вяземский, также напечатано у А. Амосова, стр. 64—67; и у П. фон Кауфмана, стр. 54—55 (перевод на 58—60 стр.).

СОДЕРЖАНИЕ

Александр Сергеевич Пушкин. Статья *Е. Чернявского* 5
Неизданные автографы А. С. Пушкина . . . . . —
I. Деревня 13
II. Автографы лицейских стихотворений А. С. Пушкина . 21
Лицейские лекции (по записям А. М. Горчакова). Вводная статья *Б. Мейлаха* 75
Молодость Пушкина. Неизданная статья *В. Брюсова* 207
Произведения Пушкина и царская цензура (По архивным материалам). Вводная статья *Л. Полянской* 217
Ода «Вольность» А. С. Пушкина в войсках царской армии. Вводная статья *Н. Бельчикова* 240

ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ АРХИВИСТА

П. А. Вяземский и смерть А. С. Пушкина 248

Редакционная коллегия

Сдано в производство 1/I 1937 г. Подписано к печати 23/II 1937 г. Статформ. Б. 176×250. 15¾ п. л. 60 480 зн. в п. л. С.-Э. (п.) № 6. Зак. 124. Уполномоченный Главлита Б — 31106. Техред-выпускающий А. Налимов. Тираж 6260.

18-я тип. треста «Полиграфкнига», Москва Шубинский пер., 10.